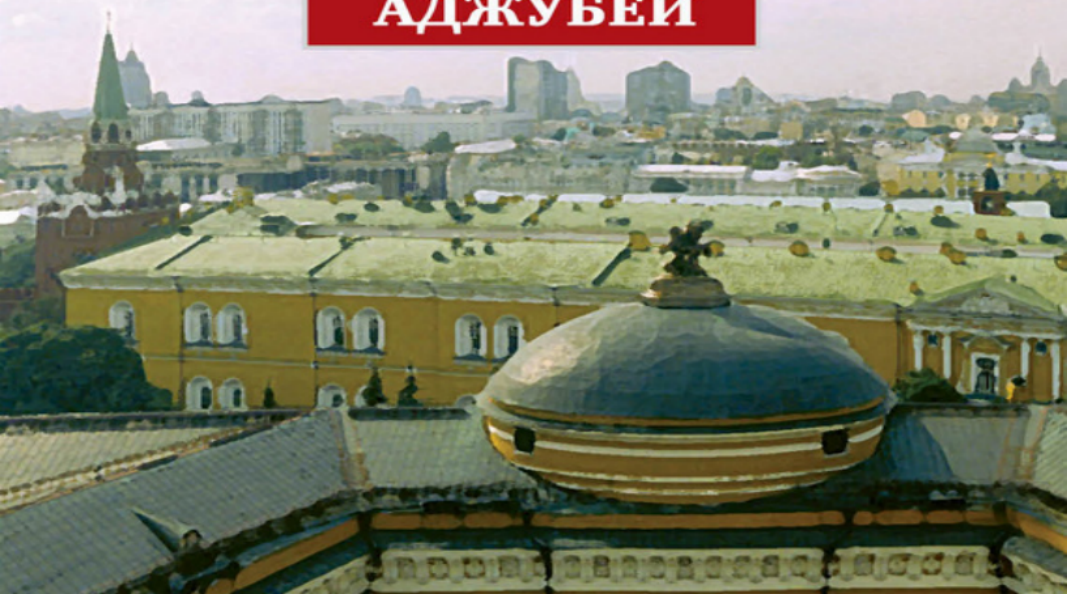
НАСЛЕДИЕ КРЕМЛЁВСКИХ ВОЖДЕЙ

Я БЫЛ ЗЯТЕМ ХРУЩЁВА

АЛЕКСЕЙ АДЖУБЕЙ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

– …Я не писал политическую биографию Хрущева – это занятие для историков. Хорошо, что такая биография при жизни Никиты Сергеевича у нас в стране не появилась – вряд ли она была бы правдивой. Я не вступаю в спор ни с кем, ибо каждый имеет право на собственную точку зрения. Мера порядочности и ответственности тоже сугубо индивидуальна. Когда думал над тем, как выстраивать повествование о теперь уже далеких годах, мне показалось важным не столько следовать хронологическими ступенями или пытаться чертить точную схему событий, во всем их объеме и разнообразии, – да мне и не под силу такая работа, – сколько составить картину из штрихов и фактических зарисовок о людях, событиях, о радостном и горестном, не только о Хрущеве…

Алексей Аджубей, муж Рады Никитичны Хрущевой, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия». Мемуары о своем тесте и его нелегком времени Аджубей решился опубликовать только в разгар перестройки.

- Алексей Аджубей
  - ○
  - ○
  - ○ Предварение
  - ○ Рядом со Сталиным
  - ○ Те десять лет
  - ○ «Нам надо дать дорогу другим – молодым…»

Алексей Аджубей
Я был зятем Хрущева

© Аджубей А. И., 2014
© ООО «Издательство Алгоритм», 2014

* * *

Посвящаю моей жене Раде

Предварение

11 сентября 1971 года в Москве, в Кремлевской больнице, не успев сказать близким прощальных слов, умер Никита Сергеевич Хрущев – персональный пенсионер союзного значения. В семье знали, как тяжко болел в последние месяцы Никита Сергеевич. Но смерть всегда неожиданна. Через три дня появилось в газете официальное сообщение в несколько строк, набранных самым мелким шрифтом, – подводили черту под историей жизни человека и политического деятеля, с именем которого связаны драматические события, потрясшие не только нашу страну.

Брежнев и его приближенные могли вздохнуть с облегчением. Даже отставной Хрущев, сломленный угрозами, оставался опасным, нежелательным свидетелем минувших и текущих дней. Он хорошо знал тех, кто сменил его, и бог знает, о чем он думал в последние годы жизни, как оценивал своих недавних коллег, что мог поведать о них и о себе.

Незадолго до кончины, диктуя воспоминания, Никита Сергеевич заметил: «Сейчас я, как вольный казак, ничем не занят. Удел пенсионера – доживать свой век… Сейчас я имею возможность оглянуться, выразить более смело свои соображения и высказаться о недостатках».

Смерть Хрущева, казалось, снимала явные и тайные опасения. Еще одна глава истории партии и государства, на этот раз связанная с именем Хрущева, закончилась.

Уже в первые годы правления Генерального секретаря Брежнева антихрущевские страсти зашли так далеко, что в открытую говорили и писали о необходимости отменить решение XX съезда партии о культе личности Сталина. Брежнев, хитрый и ловкий аппаратчик, несколько остудил пыл ближайших советчиков. Он бросил фразу: «Я участвовал в работе XX съезда, голосовал за его решения и не отменю их!» Эти слова, как показала действительность, предназначались скорее на экспорт. Фигура Сталина вновь поднялась над страной, сталинские клевреты вздохнули свободно, жизнь возвращалась к прежним берегам.

В эту пору «сталинского ренессанса» случилось событие, вернувшее на короткое время имя Хрущева из небытия. В Соединенных Штатах Америки вышла книга «Хрущев вспоминает» – два увесистых тома, с большим количеством фотографий, многие из которых никогда не видели даже в его семье. Никита Сергеевич, вызванный в ЦК после появления книги, где с ним состоялся резкий разговор, утверждал: он никому не

передавал своих материалов.

Однако факт этой публикации давал возможность «проучить» Хрущева, добиться от него прекращения работы. Нажимали не только на Никиту Сергеевича. В один и тот же день и час в ЦК вызвали Хрущева, его сына Сергея и меня. В разные кабинеты, на разных этажах: Никиту Сергеевича на «верхний», а нас пониже. Сергея предупредили о переводе из Конструкторского бюро академика В. Н. Челомея в несекретный институт, который не имел отношения к ракетной технике, а меня с семьей отсылали в областную газету: сначала предложили поехать в Благовещенск-на-Амуре, поближе к китайской границе, а затем – в Тамбов. Я наотрез отказался куда-либо уезжать. К этому времени я уже около пяти лет работал в журнале «Советский Союз».

Вечером, узнав о проработке Никиты Сергеевича в ЦК, мы поняли, что тройное давление направлялось к одной цели: Хрущев должен замолчать!

И Хрущев прекратил работу над своими воспоминаниями…

В конце лета 1988 года к нам в дом пришла американская супружеская пара – Грегори Фрейдин и Виктория Боннел. В Москве они были в командировке, работали в библиотеках, архивах. Преподаватели Калифорнийского университета интересовались нашей историей и литературой: Гриша – поэзией Мандельштама, а Вика – русским революционным движением. Оба они хорошо знали русский язык, и разговор касался самых различных тем. Наконец, дошли до главного. Моя жена спросила, нет ли какой-либо особой причины, вызвавшей желание побывать у нас? Ответил Гриша: «Хотелось рассказать вам, что я был переводчиком второго тома воспоминаний Никиты Сергеевича, часами слушал запись его голоса, вникал в суть, улавливал интонации. Мой визит – дань уважения вашему отцу. Надеюсь, его размышления будут опубликованы на Родине, ведь Хрущев, конечно, хотел этого. Его диктовка – уникальный политический и человеческий документ, редкий для нашего сложного времени. В нем не чувствуется ни субъективных, ни объективных форм давления, и он привлекает своей искренностью».

Наш гость рассказал немало подробностей. Голос звучал на фоне птичьего щебета, иногда слышался шум самолетных двигателей: диктовал Никита Сергеевич на даче. Здесь он жил практически безвыездно, а в московской квартире в Староконюшенном переулке, близ старого Арбата, за все отставные годы переночевал всего несколько раз. Но главное, на что обратил внимание переводчик, – странные пробелы, паузы в диктовке Хрущева. Грегори Фрейдин считал их неслучайными. Пленка, оказавшаяся в Америке, была предварительно

процензурована. Идет рассказ о каком-либо эпизоде, и там, где по смыслу ждешь деталей, перечисления имен, звук исчезает на полуслове. Минута за минутой идет пустая пленка, а потом голос Хрущева возникает вновь.

С пленки текст перепечатали, перевели на английский язык, несколько сократили. В 1971 году вышел первый том, в 1974-м – второй.

Книга издана на 16 языках, и размышления Хрущева, политика и человека, итожившего пережитое, стали достоянием широкой мировой общественности. Пленки и другие материалы переданы на хранение в фонд Гарримана. Они доступны, с ними продолжают работать все, кого интересует советская история. И хотя до сих пор остаются таинственными обстоятельства «переброски» пленок Хрущева в Америку, хотя сам факт выхода мемуаров за рубежом укоротил жизнь Никиты Сергеевича, не умалишь и другого – книга существует…

Хрущев в руках ее никогда не держал.

Я вошел в семью Хрущева сорок лет назад, в 1949 году, женившись на его дочери Раде. Ей было двадцать, мне двадцать пять лет. Мы учились в Московском университете, готовились стать журналистами. По молодости не заглядывали далеко вперед. Мог ли я предположить, что из молодежной «Комсомольской правды» перейду в солидную, официальную газету «Известия», на должность главного редактора?! И уже вовсе нелепой показалась бы мне мысль о возможной работе вблизи Никиты Сергеевича.

Во время частых поездок Хрущева по стране и за границу его обычно сопровождала небольшая группа журналистов. В Москве, когда возникала необходимость в подготовке и редактировании речей Никиты Сергеевича, обработке его диктовок, к помощникам присоединялись секретари ЦК партии Ю. В. Андропов, Л. Ф. Ильичев, В. И. Поляков, политический обозреватель «Правды» Г. А. Жуков, заведующий отделом науки ЦК В. А. Кириллин, некоторые другие товарищи. Был среди них и я.

Иногда этой небольшой рабочей «команде» приписывалось влияние, чуть ли не выше органов партии и правительства. В действительности же было далеко не так. Выполняя поручение Никиты Сергеевича, каждый понимал, что «пробивать» свои вопросы, пользуясь близостью к «первому», – занятие безнадежное. Если кто-нибудь и решался затеять нужный ему разговор, Хрущев обычно прерывал: «Напишите в ЦК».

Само собой разумелось, что вклад каждого в общую работу не выпячивался, дело было ответственное, общее и в известной мере деликатное.

Я видел Никиту Сергеевича в семье, на отдыхе. Теперь у меня появилась возможность наблюдать его в работе в самых разных обстоятельствах…

Отставка Хрущева мгновенно отразилась и на моей карьере журналиста. Сказать по правде, я понимал, что так случится, и не воспринял это трагически. «Все к лучшему в этом лучшем из миров…» – утешал я себя, вспоминая Вольтера.

В последний раз я исполнил обязанности главного редактора газеты «Известия» 13 октября 1964 года.

В этот день в Москву с официальным визитом прилетел президент Кубы Освальдо Дортикос.

В полдень самолет, на борту которого находился президент Кубы, приближался к Москве. По протоколу, как главный редактор газеты «Известия», я должен был быть среди тех, кто встречает гостя. Ехать не хотелось. К этому времени уже не первый час шло заседание Президиума ЦК партии. Смещали Хрущева. Я знал, что никакой обратный ход невозможен. По-видимому, задержка происходила из-за каких-то деталей. Позвонил в МИД заведующему отделом печати Леониду Замятину. Он, конечно, догадывался о том, что происходит. Спросил его: «Стоит ли мне ехать на аэродром?» Он ответил: «Обязательно, я тебя прихвачу!»

Мы были с Замятиным в добрых отношениях, и его слова приободрили. «В самом деле, отчего мне заранее изображать обиженного?».

На аэродроме из большого начальства еще никого не было. Замятин исчез, я встал чуть в стороне от главного прохода, чтобы не искушать тех, кто предпочтет не встречаться со мной, ведь я становился опальным.

Самолет с президентом на борту уже минут сорок барражировал над Шереметьевом. Летчики, да и президент, видимо, не понимали, почему их держат в воздухе. Наконец появилась первая машина. Приехал Геннадий Иванович Воронов, член Президиума ЦК, Председатель Совета Министров РСФСР. Вошел в зал. Демонстративно подошел ко мне, пожал руку. Через минуту хлопнули дверцы еще одного лимузина. Появился Подгорный. Плащ нараспашку. В руке сигарета. Возбужден. Лицо свекольного цвета. Громко бросил: «Сажайте самолет!» Двигаясь к выходу на летное поле, произнес: «Все, доломали Хрущева!» Несколько человек подобострастно ловили на ходу, пожимали его руку. Выстраивался хвост новоприближенцев.

Власть сменилась.

Я видел, как Подгорный обнял Дортикоса, затем отвел его от толпы встречающих и что-то зашептал на ухо. Теперь и Дортикос

был в курсе дела. Кавалькада машин двинулась в город. На холодном ветру плескались советские и кубинские флаги. Прохожие останавливались, провожая взглядами черную ленту автомобилей.

Хорошо, что я попросил своего известинского шофера приехать за мной. Замятин так и не появился.

Едва я вернулся в редакцию, как последовал звонок секретаря ЦК партии Л. Ф. Ильичева, ведавшего идеологией. Он попросил немедля приехать к нему. Нетрудно было догадаться, о чем пойдет речь. Впрочем, беседа заняла всего несколько минут. Ни тени смущения не промелькнуло на лице Ильичева, когда он сообщил мне, что я освобожден от обязанностей главного редактора «Известий». Я ни о чем не спрашивал, не требовал объяснений, понимая, что Ильичеву не до меня. Его собственная судьба висела на волоске: как-никак он был явным выдвиженцем Хрущева и со страхом думал о реакции Суслова по поводу собственной персоны.

Кстати, Ильичев вскоре был отправлен в МИД на вполне приличную должность заместителя министра (до ЦК он заведовал отделом печати МИДа), где и проработал более двадцати «застойных» лет. Такие «пароходы» тонут редко: у них многослойная обшивка корпуса, и если пробоина не глубока, подлатавшись, они вновь пускаются в плавание, хотя бы каботажное.

Вернулся в газету. Странное чувство облегчения овладело мной. Я еще не знал никаких подробностей, когда мне позвонила жена и передала разговор с отцом. Он сказал, что вопрос с ним решен. Подбодрил тем, что на заседании Президиума ЦК отметили рост подписки на газету «Известия» (с 400 тысяч в 1959 году до почти 9 миллионов на октябрь 1964 года) и что мне, как было сказано, «подыщут соответствующее журналистское занятие».

Мои заместители, Гребнев и Ошеверов, видимо, о чем-то догадывались. Я не стал томить их и коротко рассказал о случившемся. Сидели в кабинете втроем. Телефон молчал, хотя было самое горячее газетное время. Вот-вот должно было появиться сообщение ТАСС о моем освобождении. Я поручил подписать газету Ошеверову. К этому времени мы проработали с ним вместе почти пятнадцать лет, начинали еще в «Комсомольской правде». Алексея Гребнева я знал больше четырех лет, только по «Известиям»: он работал заместителем у прежнего главного редактора, Губина, и остался на этом посту, когда я пришел в газету.

Мизансцена, возникшая после моего сообщения о визите в

ЦК, отчетлива в моей памяти. Постепенно, даже не осознав этого, замы отвели от меня глаза, потом перестали смотреть друг на друга, как бы боясь выдать нечто, таившееся в их душах и, возможно, видимое со стороны. Я понял, что им тяжело, что они растеряны и обескуражены, и, не испытывая моих коллег дольше, попрощался. Попросил своего помощника Артура Поднека оформить приказ о моем уходе в очередной отпуск и получить отпускные. Пятьсот рублей, за вычетом подоходного налога и прочих удержаний. Поднеку я сказал, что все вопросы – завтра.

Остался в кабинете один. Вот и пришел момент прощания. В этой большой комнате на пятом этаже известинского здания я проводил времени куда больше, чем дома. До мелочей был знаком пейзаж, видный сквозь круглые окна, расположенные почти под потолком, – крыши домов на площади Пушкина. Кабинет был просторен. Никакой пышной мебели, книжных шкафов с декоративным рядом книг классиков марксизма-ленинизма, которых в подобных кабинетах никто не читает. Не было в нем и портретов руководителей. Большой рабочий стол без ящиков, еще больший – для заседаний редакционной коллегии. На одной из стен – монтаж из нескольких фотографий: Маяковский, Горький, Барбюс, Шолохов и кто-то еще – теперь не помню. Такой интерьер мне нравился.

Почему-то вспомнилось, как в конце 1959 года сюда ворвался сухонький, небольшого роста человек и стал взволнованно говорить, горячась и размахивая руками.

Это был один из архитекторов здания «Известий», Михаил Григорьевич Бархин. Он проектировал здание вместе с отцом – известным советским зодчим Григорием Борисовичем Бархиным – и был очень обеспокоен, как бы во время капитального ремонта мы не нарушили стилистику и облик их детища, ведь это – образец конструктивизма конца 20-х годов. Я успокоил его. Никаких наружных работ проводить не предполагалось, крушили и перестраивали только «начинку» здания. К этому времени я дважды побывал в Соединенных Штатах Америки, видел, как организован труд журналистов в тамошних газетах, и пытался воспользоваться их опытом. Вместо крошечных кабинетов, в которых, как в норах, прятались репортеры, сделали несколько общих залов, где каждый сотрудник был на виду, запаслись новой оргтехникой, поощряли тех, кто сам пользуется пишущей машинкой, даже ввели курсы машинописи. По моде тех лет окрасили стены в разные цвета, чтобы веселее работалось.

И вот теперь все, что связывало меня с этим домом, с коллегами, пришло к финалу. Я понимал, конечно, что найдется немало людей, которые расценят мое спешное увольнение по-

своему: Аджубей занимал свой пост по протекции, его карьера зависела от родственных связей. Честно сказать, сам я так не думал: кое-что смог и успел сделать в журналистике.

На следующий день, 14 октября, на Пленуме ЦК, освободившем Хрущева, Брежнев удостоил меня короткой реплики. Суть ее сводилась к тому, что мне будет предоставлена возможность работать по специальности…

Правда, очень скоро я понял (и это подтвердили последующие десятилетия), как легко и эффектно бросает Брежнев подобные фразы, как старается выглядеть гуманным и внимательным. Сидевшие на просцениуме Свердловского зала Кремля члены Президиума ЦК, поддержавшие Брежнева в его заговоре против Хрущева, не знали, конечно, что в эти же минуты решается их собственная судьба и очень скоро один за другим они, как и Хрущев, будут отправлены на пенсию, посланы за границу, а то и вовсе займут второстепенные должности на дальних заводах и фабриках. Сделает это Брежнев тихо, без скандалов, по-семейному, как бы любя. Всему этому еще предстояло быть. Как выразился известный журналист Александр Бовин, советник Брежнева и составитель его речей, сам испытавший на себе капризную перемену брежневской любви: Леонид Ильич обладал «чувством власти». Я бы уточнил: властолюбием. Интрига составляла самую сильную, хоть и не очень видимую часть натуры этого человека, ставшего в октябре 1964 года главой партии. Позже станет ясно, что Брежнев старался уходить от решения острых вопросов, откладывая «на потом».

Через месяц, в ноябре, состоялся еще один Пленум ЦК. Брежнев был объявлен Генеральным секретарем (Хрущев назывался Первым). Так был заложен кирпичик в фундамент того здания, которое выстраивалось Брежневым и для Брежнева.

На этом Пленуме в спешном порядке отменили многие хрущевские новации. Ликвидировали совнархозы, возродили министерства в их прежнем «классическом» виде, отменили разделение обкомов на сельский и промышленный. Все эти вопросы никак не обсуждались, никто не выступал в прениях. Вел себя Брежнев на заседании пленума легко, весело, подчеркивая всем своим видом: ну вот, друзья, мы возвращаемся к стабильному упорядоченному образу жизни, работы; все хорошо, давайте жить дружно!

Пленум уже закончился, все встали, и тут к Брежневу обратился Суслов. Сказал ему несколько фраз вполголоса. «Одну минутку, товарищи, – усадил всех Генеральный. – Есть предложение вывести Аджубея из состава ЦК, поскольку он уже

не является главным редактором газеты «Известия»».

Все последующее заняло не более получаса. Перед голосованием я попросил слова. После маленькой заминки Брежнев сказал: «Кстати, Аджубей проявил недисциплинированность, опоздал на заседание».

Не знаю, зачем ему понадобилась неправда. Просто поначалу меня и не собирались приглашать в этот зал, потом передумали. Я извинился перед членами ЦК за поздний приход, сказал, отчего так получилось, коротко доложил о своем пути в журналистике, о том, что смог и чего не смог сделать в газете. Обернулся к Суслову: «По-видимому, вы лучше знаете, кто и в какой мере повинен в раздувании культа личности Хрущева. Газету «Известия» вряд ли можно упрекнуть в некритичности, беззубости, и я не могу принять подобные утверждения только на свой счет. Тут каждый должен отвечать за себя».

В зале была абсолютная тишина. Я разглядывал лица. Жесткие, смущенные, испуганные, безразличные…

Пока готовили бюллетени для голосования, я стоял на маленькой площадке лестницы. Курил. Подошел министр тяжелого и транспортного машиностроения Кожевников. Мы жили с ним в одном доме. Спросил, сколько мне лет. «Сорок?» Мне послышалось в его тоне успокоение: дескать, все перемелется, все еще впереди…

В сорок у человека действительно есть некоторый запас времени. Выйдя из Кремля, я прежде всего подумал, что теперь мне необходимо искать работу…

В конце ноября позвонили Хрущеву, приглашали явиться в ЦК, чтобы оговорить его новый статус. Как рассказывал Анастас Иванович Микоян, он до последней минуты боролся за то, чтобы смещение Хрущева выглядело хотя бы «цивилизованно». По его настоянию, поначалу было решено не выводить Никиту Сергеевича из состава Президиума Верховного Совета СССР. Микоян говорил, что партии целесообразно по достоинству оценить то положительное, что сумел сделать Никита Сергеевич, и отметить это в соответствующем сообщении наряду с недостатками. Видимо, верх взяли иные соображения. Во всяком случае, чем дальше отодвигался визит Хрущева в ЦК – а в октябре он тяжело заболел гриппом и не смог явиться по вызову, – тем все сильнее и резче обозначалось раздражение против Хрущева, урезались его пенсионные блага, забывались данные обещания о сохранении квартиры, дачи и т. д. Когда Никита Сергеевич после болезни получил аудиенцию, на него уже кричали. И, как ни странно, даже Косыгин. Он заявил примерно следующее: «Если бы вы появились сейчас на улице, вас бы растерзали». Хрущев с

горечью вспоминал эту фразу. Он относился к Алексею Николаевичу с уважением. Именно его считал самым подготовленным и опытным человеком в том руководстве, которое сложилось после октябрьского Пленума ЦК. Кстати, очень скоро стало видно, как не «вписывается» Косыгин, его жизненные установки в брежневский стиль.

Хрущев не мог уже защищать свое достоинство. В эти первые недели отставки он очень сдал. Нина Петровна с болью говорила, что никогда не видела Никиту Сергеевича таким раздавленным и приниженным. Случалось, он плакал. Как знать, может быть, боялся за себя, за семью. Его беспокоило и то, как сумеет Нина Петровна распорядиться теми четырьмястами рублями пенсии, которые ему положили. Она его успокаивала. Этих денег хватало с избытком, так как потребности Никиты Сергеевича и Нины Петровны всегда были очень скромными.

Нину Петровну попросили освободить дачу. Хрущевым отвели деревянный дом в Петрово-Дальнем – поселке в 30 километрах от Москвы. Предложили переехать из правительственного особняка на Ленинских горах, предоставив квартиру в Староконюшенном переулке. Новая охрана, приставленная к Хрущеву, подчеркивала иные, чем прежде, обязанности, главной из которых становилось стеречь.

Нет, конечно, это не был домашний арест, однако изоляция Никиты Сергеевича выстраивалась довольно плотно. Только спустя какое-то время он, придя в себя, стал более активно противостоять напористым требованиям своих охранников сообщать заранее, куда и по какому поводу он хочет поехать.

Все было в порядке вещей. В нашей истории борьба за власть, как известно, принимала куда более жесткие варианты.

Вполне возможно, что Хрущев в ту пору вспомнил телефонный звонок к нему Кагановича в июне 1957-го, разделившего участь разбитых на Пленуме фракционеров – Молотова, Маленкова, Ворошилова и других. Он просил не поступить с ним так, как поступал в подобных ситуациях Сталин. Проще говоря, не уничтожать.

После нескольких недель неопределенности наконец-то нашелся редактор, который соглашался взять меня на работу. Под разными предлогами отказывались многие. Главный редактор журнала «Советский Союз» Н. Грибачев, побеседовав с членами редколлегии, сказал: «Пусть приходит». Так я стал заведовать отделом публицистики данного издания, выходящего на 20 языках в ста странах мира.

«Заведовать» – это, пожалуй, громко сказано. Весь штат отдела состоял… из меня одного. Впрочем, такой вариант в ту

пору меня вполне устраивал. Очень скоро Грибачев предложил взять псевдоним. Так я стал А. Родионовым.

Однако «распознали» и Родионова. Пришлось уйти в «подполье». Договоры на те или иные журналистские работы заключали мои друзья, я выполнял заказ, они получали деньги и отдавали мне. Непростое занятие помогать таким способом своему собрату, и я очень ценю тех, кто шел на подобный риск. В это время я написал сценарии к нескольким документальным фильмам – об академиках Ландау, Прохорове, Несмеянове. Союз журналистов, к созданию которого я имел некоторое отношение в 1958 году, не выступил в защиту моих профессиональных прав, впрочем, как и других журналистов.

Однажды я чуть было не провалил «секретную операцию». Картина об академике Ландау «Штрихи к портрету» была смонтирована, но актер, который должен был читать дикторский текст, на запись не явился. Поздно ночью я решил сам озвучить фильм. Редактор Галина Кемарская согласилась: «горел» план. Картина вышла, но нашлись доносчики, узнавшие мой голос, и факт этот стал предметом строгого разбирательства. Работать в документальном кинематографе стало невозможно.

Постепенно я отучился писать от своего имени. Не заготавливал записок в «стол», про запас, в надежде, что наступит время, когда они смогут понадобиться. Завидовал тем, кто способен на такой гражданский подвиг. Знал, как тяжки их судьбы, как жестко обходились с неугодными литераторами, отправляя их по диссидентским маршрутам.

И червь сомнения – да нужно ли кому-нибудь мое писание? – и страх за семью, детей, и внутренний цензор – все вместе взятое никак не вдохновляло.

Если бы не апрель 1985 года, этой книги не существовало бы. Когда мое имя появилось в журнале «Знамя», читательские письма показали, что из людской памяти ничто не уходит и при всей разноречивости оценок тех или иных лет они займут в нашей истории определенное место.

Я не писал политическую биографию Хрущева – это занятие для историков. Хорошо, что такая биография при жизни Никиты Сергеевича у нас в стране не появилась: вряд ли она была бы правдивой. За рубежом интерес к фигуре Хрущева восполнялся немалым количеством разных исследований – от серьезных до спекулятивных. Наконец-то имя Хрущева замелькало и на страницах наших газет и журналов. Я не вступаю в спор ни с кем, ибо каждый имеет право на собственную точку зрения. Мера порядочности и ответственности тоже сугубо индивидуальна. Когда думал над тем, как выстраивать повествование о теперь уже

далеких годах, мне показалось важным не столько следовать хронологическими ступенями или пытаться чертить точную схему событий во всем их объеме и разнообразии – да мне и не под силу такая работа, – сколько составить картину из штрихов и фактических зарисовок о людях, событиях, о радостном и горестном, не только о Хрущеве, в семье которого прошла вся моя сознательная жизнь, но и о наших с женой друзьях, товарищах по работе, людях, близких нам по духу и убеждениям. Мы с Радой никогда не отмечали юбилеев по случаю «летия» совместной жизни. Если доживем, может быть, отметим золотую свадьбу, до нее – всего ничего, какой-нибудь десяток лет. Но не в юбилейных торжествах крепость и смысл верности. В этих записках немалый труд моей жены, и я благодарен ей за поддержку.

Рядом со Сталиным

Возвращение имен

Новый, 1966 год мы с женой встречали у близких друзей. Окна их квартиры выходят на Фрунзенскую набережную Москвы-реки. Перед нами открывалась панорама заснеженных ледяных аллей Парка культуры имени Горького, по которым скользили фигурки конькобежцев. Гирлянда разноцветных лампочек, светящийся круг «чертова колеса»… Все это буйство красок и света обрамлял не по-городскому темный Нескучный сад. И то, и другое – свет и чернота, – как сказка о добре и зле, вполне соответствовало нашим настроениям в ожидании двенадцатого удара курантов.

По стальным пролетам Окружного моста тяжело ухали темные эшелоны. Я всегда испытываю сочувствие к работающим в праздник людям. У газетчиков тоже часты такие дежурства. В тот вечер мои коллеги в «Известиях» несли на подпись полосы другому редактору. Праздничные вечера и ночи были у меня давно свободны.

Почти под утро появились новые гости – знаменитый актер с женой и военный в высоком чине. «Мы познакомились с генералом только что, но еще в прошлом году – на новогоднем приеме в Кремле. Прошу любить и жаловать». – Актер назвал имя и отчество военного и тем исчерпал, по всей вероятности, свои сведения о нем.

Надо отдать должное генералу, поддавшемуся на уговоры «гулять всю ночь напролет». Его, по-видимому, не очень стесняло, что он оказался в незнакомом доме. В Новый год все люди кажутся добрыми, умными и как бы приятелями. Гостю сразу понравился хозяин дома – его гренадерский рост, сочный бас, добродушное умение вести стол, поддерживая дух и азарт притомившейся компании, подобно опытному костровому, следящему, чтобы угли не потеряли жара…

Сколько промелькнуло в жизни таких вечеров, сколько слов истрачено в многозначительных разговорах, за которыми часто не было ничего, кроме малореальных желаний, пошедших ко дну под бременем житейских обстоятельств. А мы все говорим и говорим и не можем остановиться, хотя понимаем, что водопад слов и Ниагара – разные вещи.

Вот и та новогодняя «ночь слов» ушла бы, наверное, из памяти, если бы не генерал. Я не уловил, в какой момент беседа

его с хозяином взлетела на верхние ноты. По обрывкам фраз можно было понять, что речь шла о смещении Хрущева.

– А я говорю, что это было потерянное, проклятое десятилетие нашей истории, – почти кричал генерал, – и ты забудь его поскорее, а то станешь просить прощения, а тебе не поверят!

Хозяин возражал гостю, тот сердился, начал застегивать китель, тормошил за плечо актера: «Поехали! Тоже мне веселая компания…»

Казалось, актер дремлет. Ладонями тонких рук он прикрыл глаза, но я видел, как у него напряглись и заходили скулы. Я знал его, взрывного и резкого, – мы учились вместе в школе-студии Художественного театра – знал, что сейчас он вспыхнет и тогда может случиться всякое.

К моему удивлению, он, поднявшись, очень спокойно, вежливо, «по системе Станиславского», проговорил: «А я, генерал, считаю это десятилетие великим. Мы с вами расходимся в оценках. Каждый человек имеет право на собственную точку зрения, а вы почему-то не разрешаете иметь ее даже нашему хозяину…»

Каким же оно было, это переломное десятилетие нашей жизни – от года 1954-го до 1964-го? Десять лет труда и жизни громадного государства, миллионы человеческих судеб в миллиардах различных столкновений и обстоятельств? Отчего и зачем кто-то с удивительной настойчивостью изымал его из нашей памяти, будто за этими годами стояла какая-то вина? Ведь не просто же так, не по воле одного или двух, пусть самых всемогущих, людей вырезали из книг и фильмов имена и факты, цифры и сопоставления?

Молчание вокруг имени Никиты Сергеевича Хрущева было не только полным, но, я бы сказал, злым. Наивные люди полагали, что в его основе – негативная оценка партийной и государственной деятельности Хрущева. Главное, однако, в ином. Ему «ничего не простила» та административно-бюрократическая система, которую он посмел потревожить. Это она проводила своеобразную «демонстрацию силы» да и предупреждала на будущее: «Не троньте нас!»

Никакой самый совершенный компьютер не выведет бесспорной оценки тех не очень спокойных и не очень простых лет. Нелепо и само желание окунать кисть либо в черную, либо в розовую краску, воссоздавая не только те десять, но и все семьдесят лет нашей истории.

Час разумных размышлений приблизился настолько, что грех не ответить на естественное желание всех без исключения

здравомыслящих людей вернуть народу его историю. Так и случится. Стараниями многих – историков, экономистов, статистиков, обществоведов, очевидцев и участников событий. В этом процессе самоосознания, будем надеяться, найдется место для объективного анализа «десятилетия Хрущева».

Минувшее опасно искажать. Мы поняли, что «забвение» и «застой» – слова одного порядка и сломать то, что стоит за ними, можно и нужно непременно. Не обойтись здесь без кипения страстей, без потерь и боли, но и обретения тоже будут. Радость и тревога соседствуют в наших днях так же, как соседствовали они в давние уже годы после XX съезда партии. С решением этого съезда связано многое в жизни моего поколения, и большинство друзей не изменили взгляд. Среди них Нателла Георгиевна Лордкипанидзе и Виктор Васильевич Сажин. Знаю, что верен дням молодости Олег Николаевич Ефремов, тот самый актер, который «прихватил» с собой к Нателле и Виктору «свадебного» генерала с кремлевского приема.

Друзья наши по-прежнему живут на Фрунзенской набережной. Выросла их дочь Наташа, у нее у самой уже взрослая дочь, стали взрослыми и три наших сына. В тот новогодний вечер они мирно спали, не ведая о споре, который вели старшие.

Возвращаясь памятью к пережитому, я не корю себя за то, что не вел подробных записей и дневников. Перед читателем – записки журналиста, чья работа – сначала в «Комсомольской правде», а затем в «Известиях» – пришлась на годы, о которых у нас долго не было принято писать.

Мои «дневники» – память и подшивки газет и журналов. В них – круг моих взглядов и интересов. Наивно было бы утверждать, что мне удастся избежать субъективных оценок, во всяком случае, буду стараться исходить из фактов.

«Факт должен въедаться в плоть газетчика, подобно шахтерской пыли, – учил молодых репортеров «Комсомолки» писатель и опытный журналист Борис Николаевич Полевой. – Во время первых выборов в Верховный Совет СССР в 1937 году, – рассказывал он, – мне дали задание написать о ленинградском рабочем, кандидате в депутаты. Поехал в Питер, долго и обстоятельно говорил с человеком. Гонял чаи в его доме, познакомился с семьей, а когда очерк напечатала «Комсомольская правда», отправил экземпляр с дарственной надписью. И получил такой ответ: «Вы все верно описали, товарищ журналист, но только зачем же поставили меня перед зеркалом причесываться. Разве вы не заметили, что я лысый?» Братцы мои, – патетически восклицал Борис Николаевич, – не превращайте расческу в шанцевый инструмент нашей профессии!»

Я считаю важным соблюсти еще одно правило. Нельзя судить прошлое мерками наших нынешних представлений, забывая, что события происходили там и тогда, а не здесь и теперь, и что нет ничего бесплоднее мечтательных вздыханий: «Ах, если бы…» Когда многие из нас почувствовали, что взрывная сила XX съезда идет на убыль и что топтание на месте вот-вот приведет к шагам назад, можно было догадаться о причинах. Просматривалась целая цепь зависимостей. Винить ли нам себя, то есть тех, кто горой стоял за дело XX съезда, или сказать честно, что не хватило смелости отстоять свои взгляды? Отнести ли кое-что за счет проклятой привычки к конформизму, жизненным удобствам? А может быть, списать все на «волюнтаризм и субъективизм» Первого секретаря ЦК Н. С. Хрущева? Это самый простой вариант, удобный в том смысле, что каждый волен многозначительно пожимать плечами.

Убережемся от этих приемов. Теперь, когда гласность резко увеличила не только значимость, ответственность, но и поток слов, увы, легки и скоры на провозглашение истин чаще всего те, кому ни в какие времена не пришлось нести существенных потерь.

Моим сыновьям я говорю: да, мы виноваты. Мы виноваты, ибо были разобщены и в силу интеллигентских самоограничений не действовали так, как иезуитски сколоченная прослойка бюрократии. Я часто напоминаю им изречение: «Не кори тех, кто не успел или не смог сделать чего-то, не мешай тому, кто заканчивает работу, а, главное, успей сделать то, что надлежит сделать тебе самому».

Весной 1987 года, в день, когда отмечалось семидесятилетие «Известий», я был приглашен на торжественное заседание, да еще в президиум. Перерыв в двадцать лет сделал для меня это событие праздником. В тот вечер я вновь увидел тех, с кем когда-то работал. В многотиражной газете «Известинец» были помещены короткие заметки бывших сотрудников газеты, в том числе и моя. Вот что я писал:

«То, с чем читатели газеты познакомятся завтра, газетчики знают уже сегодня. Их жизнь состоит из постоянных упреждений, и поэтому тратится куда быстрее, чем хотелось бы. В этот праздничный для «Известий» срок я думаю о тех, кого нет с нами и кто вполне заслуживает того, чтобы оставаться в нашей памяти по совести и по делу. Я взялся было перечислять имена, но осекся: список был бы тяжел и длинен.

Я не работал в газете вместе с Александром Бовиным, но вполне разделяю его мысли: либо ОНИ, либо МЫ, и третьего не

дано, а тем, кто думает отсидеться в запасном батальоне, не испытать счастья профессионального журналиста. Говорю об этом потому, что та «первая попытка», на которую почти тридцать лет назад вышли «известинцы», не была вовсе бесплодной. Быть может, что-то и отодвинуло нас с занятых позиций, но мы поняли, что может газета и какова сила нашей профессии, если стоять на позициях партийной принципиальности, демократизма, гласности и если мы не путаем такие понятия, как служба и служение.

Как не позавидовать тем, кто делает «Известия» сегодня! Есть опыт атак, и есть время, которое не простит вялости и промедления!»

В политике, общественной жизни движение вспять начинается иногда с малого, незаметного. Позже, когда ничего нельзя изменить, понимаешь, что это долгий отлив и по срокам, отпущенным богами, на него может не хватить и целой человеческой жизни. Примеры – в нашей собственной истории. XX съезд вернул честь и достоинство тысячам невинных жертв сталинского произвола, но им, павшим, было уже все равно. Как все равно, поставим ли мы обещанный памятник. Он ведь тоже нужен прежде всего нам, во исполнение нашей воли, утверждения идеалов.

В заключительной речи на XXII съезде КПСС Хрущев говорил: «В Президиум съезда поступили письма старых большевиков, в которых они пишут, что в период культа личности невинно погибли выдающиеся деятели партии и государства, такие верные ленинцы, как товарищи Чубарь, Косиор, Рудзутак, Постышев, Эйхе, Вознесенский, Кузнецов и другие.

Товарищи предлагают увековечить память видных деятелей партии и государства, которые стали жертвами необоснованных репрессий в период культа личности.

Мы считаем это предложение правильным. Целесообразно было бы поручить Центральному Комитету, который будет избран XXII съездом, решить этот вопрос положительно. Может быть, следует соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола».

И что же? Прошло много съездов после XXII, и только теперь встают по стране такие памятники. Будет он сооружен, наконец, и в Москве. Памятники опасно ставить вопреки воле народа, рано или поздно они слетают с пьедесталов.

В тот юбилейный известинский вечер литературный критик Владимир Лакшин сказал: «Нам еще повезло. Мы начали после Двадцатого и, надеюсь, успеем что-то сделать после Двадцать седьмого». И он многое уже успел. Вместе с писателем

Г. Я. Баклановым ведет литературный журнал «Знамя», ставший одним из самых честных и гуманных изданий в пору обновления духовной жизни общества.

Мы знали, что все будет непросто. Есть ведь и такие, кто досадует: жаль, не успело уйти «хрущевское поколение». Они все мечтают о «сильной руке», «о сильной власти», в ней видят панацею от всех бед. Ну что ж, и это не ново. И «свадебный» генерал, быть может по недомыслию, говорил нечто подобное.

Выступил в юбилейной известинской многотиражке и Мэлор Стуруа. В 1959 году он был среди активных, как говорят, фонтанирующих идеями журналистов. Мы вместе, главный редактор и литературный сотрудник, не чинясь, бегали в типографию к талеру менять опостылевшие штампованные заголовки. Ловили любую возможность вырваться из плена серости, скуки, однообразия, разбудить интерес читателей.

Однажды Мэлор по срочному поручению редакции купил в гастрономе на улице Горького, который москвичи по-прежнему называют по имени его бывшего владельца Елисеевским, четыре килограмма черной икры, ночью отвез в аэропорт Шереметьево, уговорил английских летчиков компании «Бритиш Эрвейс» доставить посылку в Лондон. Именно такой гонорар назначил Чарли Чаплин, когда я по телефону попросил его отдать нам для первой публикации главы из его «Автобиографии». Книга вот-вот должна была появиться в продаже, через неделю отрывки собиралась печатать лондонская «Санди таймс».

Он пояснил, что дает большой прием в связи с выходом книги, икра будет очень кстати.

«С ума сойти, – сказал Чаплин нашему собственному корреспонденту в Англии Владимиру Осипову, когда тот привез в отель огромный сверток – кастрюлю из известинской столовой, набитую льдом, который выпросили у мороженщиц, с четырьмя килограммами икры. – Эти парни поставили меня в тупик», – и отдал рукопись.

Чарли Чаплин умел держать слово.

Наш корреспондент, получив рукопись, сел за телефон и с ходу перевел, продиктовал стенографистке отличный отрывок из книги на целую газетную полосу. В тот же день мы опубликовали его. Радовались читатели необычному материалу, во врезке было рассказано и о том, как он получен; радовались и мы: «воткнули перо» западным газетам и в особенности «Санди таймс». Дело в том, что в «Известиях» незадолго до этого побывал главный редактор этой газеты и не без апломба пытался учить нас оперативности и находчивости.

У сановитого редактора, когда он увидел «Известия»

с отрывком из книги Чаплина, хватило характера пошутить: он позвонил нам в редакцию и попросил разрешения прислать своего сотрудника на стажировку в Москву.

Кстати, радовался и наш бухгалтер. Эта публикация не стоила ни одной валютной копейки. Икра тогда, в 1960 году, шла по 22 рубля за килограмм. У нас. Мы не уточняли, сколько она стоила в Англии. Наверное, дороже.

Это – давние времена. Вернемся в год 1987-й. Вот что писал М. Стуруа в упоминавшейся уже юбилейной многотиражной газете «Известинец».

«Вспоминается одно редакционное бдение. Было это в начале шестидесятых годов. Главный редактор Алексей Иванович Аджубей, похожий и внешне и внутренне на шаровую молнию, видимо, проснулся в тот день с чувством какой-то неудовлетворенности. На планерке поделился ею с нами.

– После XX съезда газета сделала шаг вперед, – сказал он. – Но вот идет время, и мы все чаще пробуксовываем, топчемся на месте. Давайте соберемся завтра после выхода номера и обсудим этот второй шаг. Приглашаются все. Время ограничивать не будем. Если понадобится, прозаседаем до утра. Соня будет поддерживать нас бутербродами и чаем».

Перебью Мэлора Стуруа. Буфетчица Соня, как и администратор газеты Бронислава Семеновна Жуковская, – известинские знаменитости. Главные редакторы приходили и уходили, а они оставались. Должность Соня занимала выдающуюся: она была хозяйкой спецбуфета. Он помещался под самой крышей. Вопрос о том, кто может пользоваться спецбуфетом, решала сама Соня. Ее номенклатурный нюх был безошибочным. Она пускала к себе на седьмой этаж только тех, кто делал газету и имел в ней вес, а также не имел обыкновения скрупулезно проверять счета. Бездельников и скряг Соня не любила. Эта мощная и красивая женщина играючи носила многопудовые чемоданы, набитые деликатесами того времени. Когда я, затурканный газетной текучкой, просил поджарить яичницу с колбасой, Соня в назидание мне почему-то непременно вспоминала Николая Ивановича Бухарина. Она кормила его, когда Бухарин был главным редактором «Известий» в 1935–1938 годах. Человек вне политики, Соня говорила то, что думала. Детали ее рассказов о том «запретном» времени поражали не только меня. И больше всего – явной симпатией к человеку, который на страницах наших школьных и университетских учебников был заклеймен «врагом народа». Соня присаживалась к нашему столу и неспешно начинала: «А вот как мы собирали Николая Ивановича на охоту…»

Яичницы с колбасой в перечне блюд не было.

Вернусь к цитате из Мэлора Стуруа.

«Мы начали судить и рядить о том, как сделать второй шаг. Стенографистки не поспевали записывать за нами новые идеи, рубрики, разработки и тому подобное. Время шло. День сменил вечер, вечер – ночь. За окнами забрезжил рассвет. И вдруг нас охватила тайная тоска: мы ощутили, что все наши, казалось бы, эвристические предложения ничего общего со вторым шагом не имеют, что по сути дела они сводятся к косметическому бегу на месте. Тоска стала превращаться в пытку. Я не выдержал и взял слово.

– Алексей Иванович, – сказал я, – наше бдение бессмысленно. Газета не может сделать второй шаг, пока его не сделает партия.

Воцарилась гробовая тишина. Взоры всех обратились к главному редактору. Все ждали, что шаровая молния взорвется и поразит дракона-святотатца. Но ничего похожего на галактические протуберанцы не произошло.

– Давайте расходиться, Мэлор Георгиевич прав, – сказал Аджубей тихим и усталым голосом…»

В октябрьские дни 1964 года, когда жизнь нашей семьи круто переменилась, мы условились с женой не отыскивать в бесплодных разговорах правых и виноватых, не записывать в памяти обид и нелепиц. Хорошо помню, что уже в один из первых дней после отставки ее отца Рада сказала: «Ты знаешь, это, конечно, горько и незаслуженно, но, может быть, и к лучшему».

Это «к лучшему» вбирало в себя надежду на то, что жизнь – в широком, общественном смысле слова – вновь обретет исчезавший динамизм и последовательность. Не только мы, многие надеялись, что пришел срок «второго шага».

Теперь, когда позади почти четверть века, возвращение к пережитому естественно по многим причинам. Плохо, когда незнание выносит скорый суд. Те самые десять лет имели, конечно, свою предысторию.

Снова в Москве

Заканчивался 1949 год. Месяца через два студенты 3-го курса отделения журналистики МГУ, сдав очередную сессию, должны были начать практику в газетах. Мы с Радой готовились к экзаменам в московской квартире ее отца Никиты Сергеевича Хрущева. Он тогда работал на Украине.

Дом на улице Грановского, известный московским старожилам как 5-й дом Советов, прежде принадлежал графам

Шереметевым. Был он построен по проекту архитектора Александра Мейснера в конце XIX века. До революции в этом аляповатом П-образном здании с небольшим въездным скверико снимала квартиры богатая публика.

В 20–30-х годах дом заселили члены правительства, крупные военные и партийные деятели. Получил здесь квартиру и Н. С. Хрущев – переехал из «дома на набережной». В 1938 году Никиту Сергеевича избрали кандидатом в члены Политбюро и направили на Украину Первым секретарем ЦК. Приезжая в Москву в командировки – из Киева ли, с фронта во время войны, – он жил здесь. Полупустая, обставленная в стиле тех лет квартира – без ковров, горок, хрустальных люстр, без картин и гравюр. Настольные лампы на гранитных постаментах с колпаками из матового стекла и оторочкой «под бронзу» напоминали большие грибы. Тяжелая, скучная мебель – стулья и диваны в полотняных чехлах, кровати, столы, книжные шкафы, тумбочки. По-видимому, так же было и в других квартирах этого дома, поскольку на то существовал неписаный стандарт. Тогда еще высокопоставленные лица не занимались «интерьером».

Позже я понял происхождение вкусов того времени. В такой «казенной» обстановке жил Сталин. На юге, в Москве, в Подмосковье, на квартире и дачах все у него было точно таким же. Дерево на полу, потолке, стенах. Минимум мебели, никаких картин. Мебель изготавливалась на одной фабрике по шаблону.

Хозяева квартир – во всяком случае, так было у Хрущевых – не считали себя собственниками домашней утвари. Там, где они жили, им фактически ничего не принадлежало. На простынях и полотенцах стояли синие клейма «5-й дом Советов» либо другие учрежденческие знаки. К столам, стульям, диванам были привинчены металлические инвентарные жетоны. Время от времени в квартире появлялись строгие мужчины, чтобы сверить инвентарные номера с записями в тетрадях, как будто кто-нибудь из жильцов мог покуситься на это добро.

В квартире Хрущева было особенно гулко и пусто. Большая семья постоянно жила в Киеве. Никита Сергеевич приезжал в Москву нечасто и вовсе не обращал внимания на мебель и обстановку.

В тот поздний вечер, когда мы с женой дочитывали конспекты, в прихожей раздались голоса, кто-то прошел в комнаты. Оказалось, приехал Никита Сергеевич, с ним Ванда Львовна Василевская и Александр Евдокимович Корнейчук. Рада пошла на кухню помочь домашней работнице, и вскоре все сидели за столом. Перебивать разговоры старших не полагалось, и лишь по ходу беседы мы узнали, что Никита Сергеевич только

что был у Сталина. Возвращаясь домой, прихватил из гостиницы приехавших по своим делам в Москву Василевскую и Корнейчука.

В тот вечер Хрущеву, видимо, были просто необходимы собеседники, которые поймут его душевное состояние. Он сказал, что едет в Киев сдавать дела, так как теперь будет работать секретарем Московского обкома партии.

Ванда Львовна заплакала: «На Украине вас будет очень не хватать, Никита Сергеевич». Слова эти тронули Хрущева. Он знал, что Ванда Львовна говорит искренне. Польская писательница, интернационалистка. После оккупации Варшавы фашистами жила на Украине. В годы войны ее произведения часто печатались в газетах, журналах, с Хрущевым она встречалась на фронте. Повесть Василевской «Радуга», вышедшая в 1942 году, была награждена Сталинской премией, ее называли сражающейся книгой.

И Василевская, и Корнейчук дорожили расположением Хрущева. Александр Евдокимович был известным драматургом: его пьесы «Гибель эскадры», «Платон Кречет», «Фронт» шли по всей стране. Был момент, когда Никита Сергеевич решительно защитил Корнейчука, автора либретто к опере Данькевича «Богдан Хмельницкий». Этой оперой открывалась в Москве летом 1951 года Декада украинской литературы и искусства. «Правда» напечатала статью, в которой критиковались «националистические» мотивы спектакля. Обвинение было резким и по тому времени опасным, ведь совсем недавно вышло постановление ЦК по музыке и литературе: «ждановский каток» прошелся по Ахматовой, Зощенко, Шостаковичу. Позже Хрущев рассказывал, что ему с большим трудом удалось погасить гнев Сталина. Автору разрешили самому внести необходимые поправки. Опера «Богдан Хмельницкий» не продолжила список вычеркнутых из жизни произведений литературы и музыки.

Ванда Львовна Василевская умерла в июле 1964 и не узнала о смещении Хрущева. Неизвестно, что думал по этому поводу Александр Корнейчук, но во всяком случае, когда Никита Сергеевич скончался, Нина Петровна не получила от Корнейчука даже коротких слов соболезнования.

Знакомая тема. Как писал Илья Эренбург, «телефон вдруг замолчал…». Медленно, незаметно начинается отлив, и вот уже там, где плескалась вода, сухая земля…

Что стояло за неожиданным решением Сталина вернуть Хрущева в Москву? Теперь никто этого не узнает. Как никто не узнает, о чем говорили между собой эти два человека.

Однако эта «кадровая рокировка», если и выглядела импровизацией, совершалась с учетом следующих ходов.

Казалось, Сталину целесообразнее держать Хрущева на Украине: дела там набирали темп, республика давала стране все больше хлеба, восстанавливался Донбасс, росли энергетические мощности, отстраивались разрушенные города. Хрущев пользовался на Украине авторитетом.

Сталин знал это и все-таки срочно вызвал его в Москву. Здесь уже сняли первого секретаря МК и МГК, председателя Моссовета Г. М. Попова. Говорили, что Сталина насторожило властолюбие Попова, как будто тот сам определил себе все три должности. Думаю, что Хрущев трезво оценивал сложившуюся ситуацию. Его не могло не беспокоить нарастание напряженности и в партии, и в стране в связи с «ленинградским делом». Секретарь ЦК Маленков и министр госбезопасности Абакумов по поручению Сталина жестоко громили ленинградские кадры.

Теперь известно, как и по чьей воле возникло это «дело». Аноним сообщил в ЦК о неблаговидном поступке председателя счетной комиссии ленинградской областной и городской партийной конференции, проходившей в декабре 1948 года, были скрыты точные итоги голосования: коммунистам объявили, что руководители парторганизаций города и области избраны единогласно, а на самом деле это было не так. Против первого секретаря обкома П. С. Попкова – 4 голоса, Г. Ф. Бадаева – 2, Я. Ф. Капустина – 15, председателя Ленгорсовета П. Г. Лазутина – 2.

Что и говорить, обман подобного рода – партийный проступок, но бурная реакция Сталина, как станет ясно позже, шла от иного. Сталин никогда не любил этот город. Не здесь, не в этом городе отстоял он право считать себя вождем партии, не здесь встречал подобострастное поклонение. Он помнил о зиновьевской оппозиции, об убийстве Кирова…

Избранный после войны секретарем ЦК партии А. А. Кузнецов, ленинградец, герой блокадных дней, слишком быстро набирал силу и мог потеснить Берия и Маленкова, зорко следивших за каждым потенциальным соперником. Ленинградцем был и Председатель Госплана Н. А. Вознесенский. Председатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов поддерживал их. Не слишком ли велико влияние ленинградцев в Москве?

И вот повод нашелся. Маленков и Абакумов сделали беспроигрышный ход. Они предугадывали желания Сталина, которые совпадали с их собственными целями.

Репрессии начались в 1949 году, а уже в сентябре 1950-го выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР, рассмотрев дело А. А. Кузнецова, Н. А. Вознесенского, М. И. Родионова, П. С. Попкова, Я. Ф. Капустина, П. Г. Лазутина

по обвинению в измене Родине, контрреволюционном вредительстве, участии в антисоветской группе, приговорила их к высшей мере наказания. В то время в СССР смертная казнь была отменена, но, пока велось следствие, ее ввели снова.

На суде, прощаясь с живыми, А. А. Кузнецов сказал: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает». Как часто в наши дни возникают из небытия такие трагические, исполненные веры слова! И можно ли простить тех, кто во имя своих карьерных целей угодливо готовил для мнительного и мстительного вождя списки «заговорщиков»? История не только оправдывает, но и обвиняет.

Я часто видел Г. М. Маленкова. Разве мог подумать тогда, что этот мягкий, обходительный человек, любящий семьянин и отец, способен к жуткой, безжалостной интриге, которая унесет жизни многих партийных и советских работников, что в ссылку будут отправлены их жены и дети: им судьба тоже уготовит участь «врагов народа» по родственным признакам.

А министр госбезопасности Абакумов? Получив указание или даже намек на чье-то мнение, он готов был на любую грязную работу. А вот в смертный час, когда справедливо приговорили его к высшей мере наказания, он попросил во имя гуманности хотя бы взглянуть на своего новорожденного ребенка…

В тот вечер, когда Хрущев угощал чаем Василевскую и Корнейчука, заметно было, что он нервничал; уговаривал гостей не торопиться. Наверное, не хотел оставаться без собеседников. Дело для него состояло не только в том, как сложатся отношения со Сталиным: тут Хрущев, по-видимому, рассчитывал на поддержку. Но ведь он уехал из Москвы в 1938 году, бывал здесь только наездами и вот теперь врывался в плотные ряды соратников вождя. Каждый из них внимательно и ревниво следил за другими, за тем, как и сколько раз обращался к кому-либо из них Сталин, кого звал или не звал на вечерние обеды-заседания, приглашал на отдых, как и над кем подшучивал в благостном расположении духа.

Все было расписано очень точно. Даже где, когда отдыхать семьям руководителей. Звонил генерал Власик, начальник охраны Сталина, назначал место отдыха. Так распорядился Сталин.

Летом 1949 года Нина Петровна сказала: «Едем в Ливадию». Огромный царский дворец считался тогда сталинской дачей. Во флигеле для свиты отдыхала семья Хрущева, во дворце – Светлана Сталина и ее второй муж Юрий Жданов. Никакого общения между нами не было. Семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра.

У всех, кто был близок к «хозяину», соприкасался с ним, он

все больше вызывал чувство панического ужаса. Его действия, решения, умозаключения порой не находили каких-либо разумных объяснений. Хрущев как-то вспомнил такой эпизод. Во время одного из застольных заседаний Сталин встал: «Пойду попрошу у Мао Цзэдуна 20 миллионов долларов взаймы», – и вышел. В ту пору между Москвой и Пекином существовала прямая правительственная связь, и можно себе представить, как десятки людей спешили соединить две братские столицы, как напряглись переводчики, получившие указание переводить слова Сталина и ответы Мао Цзэдуна.

Все в молчании ждали. Сталин вернулся. Медленно отодвинул стул. Не любил, чтобы ему помогали. Сел. Сказал: «Деньги дает, но брать не будем!»

…Хрущеву было что принять в расчет, вновь возвращаясь в Москву. Он только казался простоватым человеком. Случалось, наигрывал простодушие. Но я часто видел, какими холодными, отчужденными становятся в гневе его маленькие темные глаза.

Он знал правила игры, жестокие ее варианты. Сталин держал всех в напряжении. И Хрущева тоже. В начале 1947 года вождь сместил его с поста первого секретаря Компартии Украины, но из Киева не убрал, назначил Председателем Совета Министров республики. «Первым» был прислан Л. М. Каганович. Перемещение последовало после того, как Хрущев доложил Сталину, что на Украине тяжелейший голод, есть случаи людоедства, вымирают села, республике крайне важно получить немедленную помощь. «Положил телефонную трубку, – вспоминал Никита Сергеевич, – думал, все. Сталин ничего мне не сказал, я только слышал его тяжелое дыхание».

Украина получила некоторое количество зерна. Новый звонок Сталина – и новая накачка. Сталину стало известно, что Евгений Оскарович Патон, знаменитый ученый, инженер, демонстративно покинул одно из многочисленных совещаний, которые для «наведения порядка» проводил Каганович, да еще хлопнул дверью.

«Ваши националисты никак не успокоятся», – сердито проговорил Сталин и повесил трубку.

Никита Сергеевич вызвал Евгения Оскаровича, попросил рассказать подробности. Совещание касалось сельских проблем, и, послушав с полчаса выступавших, Патон понял, что ему здесь присутствовать необязательно. «Вы же знаете, Никита Сергеевич, я не терплю пустой траты времени, а что касается хлопанья дверьми, так это потому, что я глуховат».

Хрущев доложил Сталину, как было дело. Сталин выслушал, ни о чем не переспрашивая. Верховный Главнокомандующий

хорошо знал Патона, называл его «великим сварщиком». Во время войны Патон наладил серийное производство танков Т-34. Никто в мире не умел тогда сваривать стальную броню.

В конце 1947 года Кагановича отозвали в Москву, и Хрущев занял прежний пост первого секретаря ЦК Компартии Украины.

И вот теперь, в декабре 1949 года, он снова в Москве.

Через несколько дней в газетах было объявлено, что Н. С. Хрущев избран секретарем ЦК и первым секретарем МК партии. Он должен был осуществлять общее руководство областью и городом. Текущими делами горкома занимался секретарь МГК Иван Иванович Румянцев, авиационный инженер, молодой еще человек, обаятельный, энергичный. С Никитой Сергеевичем у них были хорошие отношения. Городские и областные проблемы решались совместно. Никита Сергеевич по воскресеньям со своей дачи в Огарево часто уезжал в дом отдыха МК и там прогуливался с товарищами. На прогулку отправлялись семьями, с детьми и женами; шутили, смеялись, случалось, возникал и деловой разговор.

И. И. Румянцев исчез мгновенно. Могу только утверждать, что его исчезновение не связано было с отношением к нему Хрущева, а решалось где-то выше. Всякое могло быть тогда при таких внезапных акциях. Ивану Ивановичу повезло. Он вернулся директором на авиационный завод, где работал до начала партийной карьеры. Повторения «ленинградского дела» в Москве не произошло.

«Ленинградское дело» было, конечно, звеном сталинской жестокости, жажды репрессий, свертывания тенденций свободомыслия и демократизации общественной жизни, возникших в связи с победой в Великой Отечественной войне. Сталин, видимо, готовился снять еще один слой «чересчур самоуверенных». «Закручивание гаек» по всему фронту общественной жизни, загадочные убийства (например, знаменитого еврейского актера Михоэлса), организация «мингрельского дела», когда пали тысячи невиновных партийных работников Закавказья, идеологический прессинг Жданова. Вот что ждало страну и народ после великой Победы над фашизмом…

В тот год, о котором идет речь, наступала середина XX века. Ощущение рубежа возникло у меня еще и потому, что в конце 1949-го я единственный раз видел Сталина достаточно близко, не из студенческой колонны на демонстрации, а в Большом театре, где шло торжественное заседание, посвященное его семидесятилетию.

Сталин сидел в центре длинного, во всю сцену, стола. Рядом

– Мао Цзэдун. Хрущев как секретарь МК и распорядитель вечера – слева от юбиляра. Казалось, Сталин совсем не реагирует на потоки приветственных слов, которые лились с трибуны.

Юбилейный вечер шел много часов. На стол президиума ложились все новые букеты, казавшиеся особенно яркими и нарядными в этот зимний месяц. Наступил момент, когда фигура Сталина скрылась за холмом из цветов, я спросил жену: «Почему Никита Сергеевич не отодвинет цветы?» – «Но он же его не просит», – ответила Рада. Может быть, Сталина устраивала такая необычная ширма, отделявшая его от зала?

Наконец речи кончились. Все встали, и овация, но без выкриков и скандирования, как и полагалось при таком составе публики, долго гремела в зале. Встал и Сталин. Невысокий щуплый человек повернулся спиной к залу, чтобы уйти, – и тут меня поразил большой круг лысины. Знаменитый посеребренный бобрик, который с такой тщательностью выписывали художники и «прорабатывали» на фотографиях ретушеры, оказался редким венчиком. Я ничего не сказал Раде, наверное, от испуга, что мне стало известно нечто сверхсекретное. Сталин медленно уходил со сцены, не останавливаясь и не разговаривая с почтительно расступившимися людьми, прижав к боку согнутую в локте левую руку. Говорили, что она у него подсыхала, укорачивалась, и он инстинктивно сгибал ее, чтобы на это не особенно обращали внимание.

Странная жалость пронзила меня тогда. Он на миг предстал обыкновенным человеком, как все. Да и много ли нам известно о нем как о человеке даже сегодня? Долго мы довольствовались самым минимумом. Ну, например, тем, что он любил набивать трубку табаком из папирос «Герцеговина флор»…

Дочь Сталина Светлана Иосифовна написала в своей книге «Двадцать писем к другу» об отце с достаточной степенью откровенности. Но все ли?

У этой книги странная и путаная судьба, как путана и трагична она и у самой Светланы. Не берусь ни винить, ни оправдывать эту женщину, ей, по-видимому, тяжело и перед собственным судом. Каким оказался бы гнев Сталина, если б он смог предположить судьбу дочери! Да и всей семьи… Жена покончила жизнь самоубийством, сын загубил себя пьянством, дочь покинула Родину. Страшно.

Много позже узнали мы подробности семейной хроники Сталина. Бегство Светланы за границу, сказать мягче, ее невозвращение из Индии, куда летом 1967 года она отправилась захоронить урну своего третьего мужа, индийского ученого и журналиста Раджи Бриджа Сингха, поразило общественное

мнение. Никита Сергеевич, пока об этом не объявили официально, отказывался верить слухам. Заметка телеграфного агентства коротко сообщала, что Светлана Иосифовна Аллилуева пожелала продлить сроки пребывания за границей. Это ее личное дело, – говорилось в сообщении. Дмитрий Петрович Горюнов, Генеральный директор ТАСС, рассказывал, что ему удалось «пробить» эти несколько строк для печати с большим трудом. Наверху не хотели никаких сообщений.

Светлана уезжала в Индию по личному разрешению Алексея Николаевича Косыгина, так что, по-видимому, Председателю Совета Министров пришлось испытать на себе раздражение Брежнева. История эта мало украшала престиж государства, казалась необъяснимой. Имя Сталина в брежневскую пору поминалось все чаще и чаще…

Хрущев вспоминал свои встречи со Светланой и Василием Сталиным. Он принимал их после смерти отца. Знал, что нелегко брату и сестре определить новый образ жизни. Светлана стойко отнеслась к перемене в своей судьбе. Иное дело Василий. На фоне непрерывных пьянок после похорон Сталина у него появилась маниакальная жажда мести, он угрожал какими-то разоблачениями. По Москве поползли слухи, что Сталина отравили.

Никита Сергеевич пытался усовестить Василия, помочь ему. Предложил пойти учиться в академию, сохранив звание генерал-лейтенанта. На какое-то время Василий успокоился. Светлана поблагодарила Хрущева за брата.

В том, как сложилась жизнь членов этой семьи, не было особой неожиданности для Хрущева. Он помнил Василия безнадзорным мальчиком, пропадавшим целыми днями в гараже Кремля. Шоферы и механики отмечали его любовь к технике, желание копаться в моторах. Мальчиком научился управлять автомобилем.

В первые годы после самоубийства жены Сталин заботливо относился к детям, они чувствовали его любовь. Позже стали раздражать. Он грубо вмешивался в их жизнь. Развел дочь с мужем – Григорием Морозом. Конечно, ему не хотелось, чтобы этот акт рассматривался общественностью как антисемитский, но многие поняли истинную причину. Знали, чувствовали настроения Сталина на этот счет. Детей видел редко, приезжали они только с его разрешения; внуков – считанные разы. Семья для него ушла в прошлое…

После разговора с Хрущевым Василий крепился недолго. Вновь запил, бросил академию. Никакие предупреждения уже не действовали. Его отослали в Казань. Там все и пришло к финалу.

Очередной приступ белой горячки закончился трагически. Василий умер, не дожив до пятидесяти лет.

На Новодевичьем кладбище неподалеку от памятника Надежде Сергеевне Аллилуевой лежит серая бетонная плита с надписью: «Василий Васильевич Сталин, 1949–1972». Я не знаю, от которой из жен Василия родился этот, так рано умерший мальчик. Помню, в 1949 году одновременно с нами в Ливадии отдыхала Екатерина Васильева, тогдашняя жена Василия, известная пловчиха, рекордсменка. Одна уходила к кромке пляжа, уплывала далеко в море. Чекист из охраны бросался в лодку, сопровождал на расстоянии, подстраховывал бесстрашную пловчиху.

Подробности невозвращения Светланы из Индии мы с женой узнали случайно. В тот год вместе с нашими мальчиками проводили отпуск в Эстонии, в курортном городе Пярну. Золотисто-белые дюны пярнуского пляжа обрамлены плотной стеной соснового леса. Мелкий залив в ту пору был чист, река выносила в него мягкую, с коричневым отливом воду, настоянную на хвое.

В компании друзей мы познакомились с сотрудником советского посольства в Индии, очевидцем этих событий. Коротко суть сводилась к тому, привычному для нашей жизни обстоятельству, когда грубость, запреты, нелепые требования вынудили Светлану к протесту и, возможно, к необдуманному решению.

Светлана жила в Индии уже несколько месяцев, навестила родные места мужа, подружилась с его семьей. Виза кончилась. Попросила продлить ее. Получила отказ и категорическое требование о немедленном возвращении. Посол Бенедиктов был смущен, передавая Светлане указания Москвы, но ничего поделать не мог.

Однажды вечером Светлана ушла из посольской квартиры и не вернулась.

Началась ее скитальческая жизнь.

Посол Бенедиктов был отправлен в отставку. Председателя КГБ Семичастного отстранили от должности и послали в Киев заместителем Председателя Совета Министров Украины.

Светлана нашла прибежище в Америке. Вновь вышла замуж. Родила дочь. Клялась в любви к обетованной земле, а потом вдруг вернулась в Москву.

Здесь ее ждали ставшие взрослыми сын и дочь от первых браков.

Максимум внимания проявляли к ней в Грузии, в Тбилиси, где она жила со своей четырнадцатилетней дочерью Ольгой.

Хорошая пенсия, квартира, преподаватель русского языка для девочки. Говорят, она выучила его очень быстро.

Жизнь вроде бы вошла в берега. А потом вновь, уже в 1986 году, эта неспокойная натура сорвалась, взвинтив до предела окружавших ее близких и друзей, и улетела в Америку…

У нас о ней не вспоминают. Что человек? Песчинка. А я помню ее. Красивую, с яркими рыже-золотыми волосами, умным спокойным взглядом больших серых глаз. В одной из своих книг она по-доброму помянула мою маму, нашла какие-то слова для меня, пожалев за несложившуюся судьбу. Но тут она ошиблась.

Все это я вспоминаю теперь, и пережитое, естественно, видится с иных жизненных рубежей. Как и наши товарищи по университету, мы мало знали и мало интересовались в ту пору, как и что происходит там, «наверху». Круг интересов очерчивался строго, болтовня и сплетни, которыми так грешат в наши дни, считались недопустимыми, да и были занятием небезопасным. Комсомольские организации действовали по строго заведенному порядку, выполняли поступавшие к ним директивы, ограничиваясь главной заботой – учением, устройством быта студентов и тем минимумом развлекательных мероприятий, которые сосредоточивались в клубе МГУ на улице Герцена.

Студенты отделения журналистики (тогда существовало только отделение, и наш набор – 30 человек, в большинстве прошедших фронт, – был первым) устраивали иногда собственные небольшие вечера на Стромынке, в тесных комнатушках студенческого общежития. Танцевали под патефон, пели и, конечно, читали друг другу стихи собственного сочинения. Вряд ли какая-нибудь другая человеческая обитель, кроме Московского университета того времени, собирала под свой кров такое количество поэтов. Писали стихи филологи и физики, юристы и историки. Конечно, в общежитии теснота, скученность, бытовая неустроенность, шум и гам, всепроникающие запахи кухни, и все же молодое товарищество Стромынки навсегда осталось в нашей памяти.

Мы держались не просто дружно, хорошо знали друг друга. Костяк нашей группы – фронтовики: Сергей Стыкалин, Владимир Парамонов, Авенир Захаров, Владимир Петушков, Юрий Берников, Михаил Иванов. Староста нашей группы – фронтовичка Клавдия Брунова – любые сложности во взаимоотношениях с деканатом разрешала с решительностью офицера запаса.

У наших товарищей по-разному складывались годы студенчества. Михаила Иванова заставили в 1948 году сдать югославские ордена, полученные им за бои под Белградом, и, конечно, он попал в разряд не слишком благонадежных. Одна из

лучших студенток, Рая Ученова, девочкой была два года на оккупированной территории в Одессе, и ее лишили права получать повышенную Сталинскую стипендию. Елена Иванова жила во время войны в Америке, где ее отец занимался закупкой транспортного оборудования, и это тоже вызывало настороженное отношение. Феликс Тамаркин, мягкий, милый человек, воспитывался в семье известного революционера Карпинского, и мы даже не знали в ту пору, что отца его репрессировали. Только сейчас понимаешь, под каким дамокловым мечом жил он все годы ученья. И почему не получил работу после окончания факультета…

Так что при всем нашем молодом оптимизме сложности жизни тех лет не миновали многих.

Смещение секретаря МК и председателя Моссовета Попова нас особенно не тронуло. Но вслед за этим в комсомольских организациях начали «прорабатывать» порочные методы руководства тогдашнего секретаря МГК комсомола Красавченко. Правда, в чем его обвиняли, я уже не помню.

Надо сказать, что молодежь отнюдь не была безразлична к общественной жизни. Рассказывали, что смещение секретаря МК комсомола Николая Сизова проходило не очень гладко. Комсомольская конференция не отдавала его, не желала переизбирать и требовала более убедительных доводов. Пришлось Никите Сергеевичу Хрущеву ехать на конференцию и по-отечески внушать заупрямившимся комсомольцам, что раз партия говорит «надо» – значит, надо.

Я вспоминаю этих людей – Попова, Румянцева, Красавченко, Сизова, – чтобы подчеркнуть нежелание Хрущева идти на поводу мнительности Сталина, заваривать в Москве политическую кашу. Думаю, что такая позиция давалась Никите Сергеевичу непросто, в ней была большая доля риска. Не только Сталин, но и другие могли в любой момент воспользоваться «либерализмом» Хрущева, обвинить его в заигрывании с кадрами, настроить против него вождя.

Уже после смерти Сталина, когда встал вопрос о выдвижении молодых партийных кадров на высокие посты в органы внутренних дел и государственной безопасности, Хрущев одобрительно отнесся к предложению назначить Сизова начальником московской милиции, а затем и заместителем председателя Моссовета. Развеивалась легенда о личной неприязни Никиты Сергеевича к Сизову по прежним комсомольским делам. Легенды о разного рода приязнях и неприязнях, мнениях и соображениях Хрущева чаще всего

оказывались напраслиной и подбрасывались для обсуждения теми, кто умело использует политические сплетни в своих целях.

В повести «Зубр» Даниил Гранин рассказывает, как таким же образом – со ссылкой на «мнение» Хрущева – Петру Леонидовичу Капице запретили пригласить на семинар в его институт Тимофеева-Ресовского. Нажим на П. Л. Капицу был таким сильным, что иной на его месте сдался бы. Но «консультанты» не знали характера Капицы и меры его человеческой и гражданской независимости и достоинства. Он позвонил Хрущеву и стал доказывать целесообразность выступления Тимофеева-Ресовского.

Хрущев ответил, что это право Петра Леонидовича – приглашать в институт, кого он считает нужным, и проводить семинары с любым докладчиком. Стало ясно, что Никита Сергеевич и слыхом не слыхал о Тимофееве-Ресовском, о его предполагавшемся выступлении у Капицы и тем более не запрещал его. Факт, приведенный Граниным, документален. Когда в конце 60-х годов в доме у академика Олега Георгиевича Газенко мы с женой познакомились с Тимофеевым-Ресовским, он сам рассказал об этом эпизоде.

Как бы в подтверждение того, что наука живет своей собственной жизнью и над ней не властны никакие, даже самые высокопоставленные лица, Тимофеев-Ресовский вспомнил и свои молодые годы. Дело было в Дании. У Нильса Бора, где он тогда работал, было обыкновение устраивать раз в неделю несколько церемонный файф о'клок с точно выдержанным ритуалом. Никто не имел права опаздывать, а до первой чашки чая не велось никаких разговоров. Тимофеева-Ресовского предупредили на этот счет, и уже без пяти пять он сидел на отведенном ему месте. Оно оказалось за столом Нильса Бора. Минуты через три после того, как в абсолютной тишине началось чаепитие, дверь со скрипом отворилась, и маленький человек в тяжелых прогулочных ботинках, смущенно пригнув голову, прошмыгнул к свободному месту. Нильс Бор с гневом оглядел опоздавшего и демонстративно отвернулся. «Кто это?» – спросил Тимофеев-Ресовский хозяина. «Это король, – раздраженно ответил Бор, – вечно он опаздывает, я предупрежу его в последний раз и больше не стану приглашать».

В начале 1950 года в Москву переехала с семьей Нина Петровна. Дом на улице Грановского ожил. Младшая сестра жены, Лена, ее брат Сергей, Юля – дочь старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида, погибшего под Смоленском в воздушном бою, – все школьники, и все требовали внимания. Нина Петровна вела дом не без некоторой назидательности. Ровная со всеми

домочадцами, она создавала строгую атмосферу, которая подкреплялась и сдержанностью самого хозяина. Никакого сюсюканья. Младшие видели отца практически только по воскресеньям, да и то он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих знакомых: профессора Лорха (выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране), селекционера сирени Колесникова, садовода-мичуринца Лесничего. Люди сельского труда, «волшебники земли» вызывали у Никиты Сергеевича чувство уважения. Он всегда ценил яркие способности, таланты. Поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо. Яблоки Лесничего, сирень Колесникова, торфокомпост Лысенко, мульчирование почв, предложенное учеными Тимирязевской академии, гидропоника, торфоперегнойные горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже – кукуруза, убежденность в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое, многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за дело, то естественно, что не все и не всегда оказывалось приемлемым, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал, но берусь утверждать: единственной его целью было улучшить жизнь.

Хрущев призывал все считать. Сколько в хозяйствах имеется скота на 100 гектарах пашни, сколько потрачено кормовых единиц на производство тонны мяса, молока, какова их себестоимость и т. д. В то время это было важной экономической новацией.

Теоретические и другие обоснования уходили на второй план и могли даже раздражать Хрущева. Во время различных совещаний Никита Сергеевич охотно разговаривал прямо с трибуны с множеством людей, присутствовавших в зале. Дело было не только в том, что он обращался к ним по имени и отчеству, эту нехитрую науку усвоить несложно. Он обращался к каждому конкретно, по существу текущих дел, забот, спорил, в чем-то убеждал и радовался, когда слышал дельные реплики.

Я видел, как загорались его глаза, когда он узнавал о высоких урожаях кукурузы, пшеницы, надоях, привесах, переносил достижения одного колхоза, бригады, звена на обширные поля страны. Ему казалось, что такое распространение опыта лучших поможет решить все продовольственные проблемы. Задача оказалась куда сложнее.

Хрущев, конечно, был прагматиком, но, как справедливо отметил писатель Анатолий Стреляный, и последним

романтиком на таком высоком посту.

Вновь начав работать в Москве, он, конечно, вынужден был вести себя «осмотрительнее», чем на Украине, где контроль был не столь пристальным.

Украина навсегда осталась в его сердце. Смешно рассказывал иногда о своих поездках по украинским колхозам. Вспоминал такой случай. Как-то в первый послевоенный год заехал он к одному своему знакомому председателю колхоза (Хрущев хорошо знал сельских тружеников, с ними ему было легко и просто). К вечеру, когда осмотрели хозяйство, председатель пригласил на ужин и, уже сильно захмелев, стал выпрашивать ящик гвоздей. «Товарищ Хрущев, – все настойчивее говорил он, – достаньте ящик гвоздей, ведь наш колхоз носит ваше имя. – Поняв, что дело швах, хватил еще рюмку и выложил самый сильный, с его точки зрения, аргумент. – Товарищ Хрущев, достаньте, я вас прошу. Учтите, вы носите имя нашего колхоза!»

Какое-то время Рада и я жили у ее родителей «на Грановского». Для меня все здесь было непривычно, особенно пуританизм тещи. Я воспитывался совсем в иной семье. Моя мать, Нина Матвеевна Гупало, считалась одной из лучших московских закройщиц-модельеров, одеваться у нее мечтали многие женщины, главным образом актрисы, жены известных писателей. В иных случаях деловые отношения переходили в дружеские – с Еленой Сергеевной Булгаковой, Мариной Алексеевной Ладыниной и некоторыми другими. Знала мою мать и Светлана Сталина. Видимо, ее отцу нравилось, как одевается дочь. Однажды он увидел на ней платье не по возрасту и сказал: «Что это ты так обтянулась? Носи то, что шьет Гупало, а это сними». Не знаю, откуда Сталину было известно, кто одевает его дочь, но так писала сама Светлана.

Теперь, когда нет в живых ни Нины Матвеевны, ни Нины Петровны, я по-иному определяю их место в своей жизни, в жизни моих детей. Моя мать редко бывала в доме Хрущевых. У нее на этот счет существовали свои принципы. Она воспитывалась в монастырском приюте, там, у монахинь, стала первоклассной белошвейкой, и, быть может, там сложился ее характер – строгий и независимый. Моя мать и теща, такие разные по взглядам, привычкам, вкусам, были в чем-то схожи: никого ни о чем не любили просить.

Когда Нина Петровна скончалась и мы хоронили ее рядом с Никитой Сергеевичем на Новодевичьем кладбище, у могилы я сказал несколько прощальных слов этой мудрой женщине. Как и моя мать, Нина Петровна ничего не рассказывала детям о себе, и только потом, уже после похорон, от старых друзей мы узнали о ее юности, работе в подполье, в Красной Армии. Я говорил тогда у могилы, что мне бы хотелось, чтобы дети наши больше были похожи на деда и бабок, чем на родителей.

Жизнь им досталась тяжелее нашей, куда меньше в ней было земных радостей, без которых теперь вроде бы и жизнь не в жизнь. Идейность, с точки зрения этих людей, была самым главным достоинством личности. Их поступки тесно связывались с общественными потребностями времени. Так вырабатывались их нравственные устои, которым они остались верны до смертного часа.

Как-то Рада попросила свою маму написать о себе. Нина Петровна ничего не ответила.

Разбирая после ее смерти оставшиеся бумаги, Рада увидела автобиографические страницы. Нина Петровна успела написать очень немного. Вот что рассказала она дочери:

«Родилась я 14 апреля 1900 года в селе Василёв, Потуржинской гмины (волости), Томашовского уезда, Холмской губернии… У меня был брат на три года моложе меня. Население Холмской губернии было украинское, в селах говорили по-украински, администрация же в селе, в гмине и выше была русская. В школах обучали детей на русском языке, хотя в семьях по-русски не говорили. Вспоминаю, что в первом классе начальной сельской школы, где я училась, учитель бил линейкой по ладоням учеников за провинности, в том числе за плохое понимание объяснений учителя по-русски (дети не знали русского языка). Это называлось «получить лапу».

Мама – Екатерина Григорьевна Кухарчук (девичья фамилия Бондарчук) – вышла замуж в 16 лет и получила в приданое один морг земли (0,25 га), несколько дубов в лесу и сундук (скрыню) с одеждой и постелью. В селе такое приданое за невестой считалось очень приличным. Вскоре после свадьбы отец ушел по призыву на военную службу.

Отец – Петр Васильевич Кухарчук – происходил из более бедной, чем моя мать, семьи, у них был неделимый надел 2,5 морга (3/4 га) земли, старая хата, маленький сад со сливовыми деревьями и одна черешня на огороде. Лошадей у них не было.

Мой отец был старшим в семье. Когда умерла бабушка Домна, его мать, то отец получил в наследство землю и должен был выплатить сестрам и братьям по сто рублей (большая сумма тогда). Думаю, что война 1914 года помешала завершить эту выплату.

Село наше Василёв было бедное, большинство жителей ходило на заработки к помещику, который платил за световой день по 10 копеек женщинам на свекле и мужчинам на косьбе по 20–30 копеек. Помню немногое из той жизни: я должна была заготовлять крапиву и большим ножом нарезать ее для свиньи, которую выкармливали к пасхе или к рождеству. Нож часто попадал не на крапиву, а на палец, и до сих пор у меня остался шрам на указательном пальце левой руки.

Мы с мамой, Екатериной Григорьевной, жили в ее семье: хата у бабушки Ксении была просторнее, да и отец отбывал в это время воинскую службу в Бессарабии, а потом, в 1904 году, воевал с Японией. Обедали все из одной миски не за столом, а за широкой скамьей. Малых детей матери брали на руки, а мне и другим детям постарше места не хватало, еду надо было доставать из миски через плечи взрослых. Если проливали,

получали ложкой по лбу. Почему-то дядька Антон постоянно высмеивал меня, обещал, что я выйду замуж в многодетную семью, дети будут сморкатые, и мне придется есть с ними из одной миски и добывать еду через их головы и т. п.

В 1912 году отец положил на подводу мешок картошки, кусок кабана, посадил меня и отвез в город Люблин, где его брат, Кондратий Васильевич, работал кондуктором на товарных поездах. Дядя Кондратий устроил меня учиться в Люблинскую прогимназию (4-классная школа), три года до того я уже проучилась в сельской школе. Учитель в селе внушил моему отцу, что я способная к наукам, надо отвезти меня учиться в город, и отец его послушался.

В Люблине я училась один год. На следующий год дядька поступил вахтером в Холмское казначейство и меня перевел в такую же школу в городе Холме.

Первая мировая война застала меня на каникулах в селе Василёве, ученицей второго класса Холмской прогимназии.

Осень 1914 года. К нам в село проскочили австрийские войска, стали безобразничать – грабить, уводить девушек… Мама уложила меня за печкой, не велела выходить, а солдатам говорила, что у меня тиф. Те, конечно, сразу уходили. Скоро положение изменилось, австрийцев из села вытеснили русские войска, и нам приказали эвакуироваться, куда и как – неизвестно. Лошадей у нас не было, взяли с собой то, что могли унести, и пошли из дома с торбочками. Шли туда, куда все люди шли… Помню, мама долго несла примус, предмет ее хозяйской гордости, а керосина не было, пришлось бросить и примус. Долго и тяжело мы шли впереди наступавших австрийских войск и на какой-то станции набрели на отца, который служил в частях «ратников» – это были вспомогательные войска.

Отец доложил своему командиру о встрече с семьей, и тот разрешил нам остаться при части. Мама стала работать кухаркой у командования части, а мы с братом передвигались на подводе отца и кое в чем помогали. Мне было 14 лет, брату Ване – 11.

Во время затишья на фронте командир позвал отца, дал ему письмо к холмскому епископу Евлогию и велел отвезти меня в Киев. Там епископ Евлогий возглавлял какую-то организацию помощи беженцам. Он устроил меня учиться на казенный счет в Холмское Мариинское женское училище, эвакуированное из Холма в Одессу. В этом училище в Одессе я жила в интернате и училась до 1919 года, закончила 8 классов.

Несколько слов о епископе Евлогии и об училище. Холмский епископ Евлогий был важным оплотом самодержавия в Польше и ярым проводником русификаторской политики. Он готовил

русификаторские кадры из детей местного населения, из западноукраинских сел. Если бы не его вмешательство, никогда бы я не смогла попасть на учебу на казенный счет в это училище – туда не принимали детей крестьян. Учились там дочери попов и чиновников по особому подбору. Я попала туда в силу особых обстоятельств военного времени, описанных выше.

По окончании училища я работала некоторое время в канцелярии училища, выписывала аттестаты, разные бумаги переписывала: машинки пишущей не было.

В начале 1920 года в подполье я вступила в партию большевиков и стала работать по поручениям партии в городе и в селах Одесской губернии. В июне 1920 года шла мобилизация коммунистов, и я попала на польский фронт. Меня взяли сначала агитатором при военной части как знающую украинский язык и местные условия, и я ездила по селам, рассказывала о Советской власти. Со мною ездил красноармеец, тоже агитатор. Когда сформировался ЦК Компартии Западной Украины, меня взяли заведовать отделом по работе среди женщин; мы уже были в городе Тернополе. Как известно, осенью 1920 года нам пришлось уйти из Польши. Вместе с секретарем ЦК КПЗУ т. Краснокутским и другими я приехала в Москву и получила командировку на учебу в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова, на шестимесячные курсы, созданные недавно Центральным Комитетом партии большевиков.

Летом 1921 года получила направление в Донбасс, в город Бахмут (теперь Артемовск), в губернскую партийную школу, преподавать историю революционного движения на Западе. До приезда будущих курсантов меня использовал губком партии на работе секретаря губернской комиссии по чистке рядов партии. Там же и я прошла свою вторую чистку – первая у меня была на фронте, в Тернополе.

Как известно, после X съезда партии была отменена продразверстка и открылись рынки, на которых появились разные товары, были бы деньги. Я с двумя преподавательницами тоже ходила на рынок за хлебом, и заразились мы втроем сыпным тифом. Одна из нас (Абугова) умерла, а мы двое долго болели сыпняком, потом прибавились еще возвратные тифы, но молодость преодолела болезни, выздоровели. В больницу не брали, лечили в школе. Подкармливала больных Серафима Ильинична Гопнер, работавшая тогда завагитпропом Донецкого губкома партии. Она доставала нам шахтерские пайки через ЦПКП (Центральное правление каменноугольной промышленности); руководил этим учреждением Пятаков, будущий троцкист. Летом 1922 года Серафима Ильинична

устроила меня на работу на губернские курсы учителей, организованные в Таганроге, на берегу Азовского моря. Там я выздоравливала после тифа.

Осенью 1922 года получила направление в Юзовку (теперь Донецк) – преподавателем политической экономии в окружную партийную школу. Там я встретилась с Никитой Сергеевичем Хрущевым, который учился на рабочем факультете в Юзовке. В 1924 году мы с ним поженились и дальше работали вместе на Петровском руднике Юзовского округа. Район наш назывался Петрово-Марьинский, он объединял шахты Петровского рудника и сельскохозяйственные угодья Марьинки и прилегающих сел. Райисполком Совета рабочих и крестьянских депутатов находился в селе Марьинка, а районный комитет партии – на Петровке. Секретарь райкома жил на Петровке, а председатель райисполкома – в Марьинке.

Еще раньше, в конце 1923 года, меня послали пропагандистом райкома партии на рудник Рутченковка. Здесь жили родители и дети Н. С. (от первой умершей жены), его сестра с семьей, здесь он работал заместителем управляющего рудоуправлением, отсюда пошел учиться в Юзовку на рабфак. Я вела занятия с шахтерами по политической грамоте, читала лекции в клубе на политические темы, выполняла разные поручения райкома по текущей работе. Поселилась я в доме для приезжих (что-то вроде гостиницы рудоуправления) напротив клуба – перейти дорогу. Но после дождя перейти эту дорогу было очень трудно, сапоги оставались в грязи, ноги «выходили» из сапог. Надо было подвязывать сапоги особым способом. Меня пугали перед поездкой на Рутченковку грязью, а сапог у меня не было; пришлось найти частника, который сшил сапоги. Когда я читала лекции в клубе, то приходило много женщин. Оказалось, что их интересовала я как жена их приятеля Никитки Хрущева: какую такую он нашел не на руднике, а на стороне…

Когда Н. С. кончил рабфак, то его послали секретарем Петрово-Марьинского райкома партии, а меня перевели с Рутченковки на Петровку, тоже пропагандистом райкома партии. Интересная деталь: пропагандистов оплачивали тогда из центральных фондов, а секретарей райкомов – из местных. Одно время я получала больше, чем Н. С.

Тогда существовала еще безработица, среди коммунистов-шахтеров тоже. После занятий в политшколе на шахте мои слушатели провожали меня домой и, случалось, упрекали, что я работаю и муж мой работает, а мой собеседник ходит без работы, а дома большая семья… Но постепенно жизнь налаживалась, безработные на шахтах исчезали…

В январе 1924 года умер Ленин. Н. С. ездил в Москву на похороны в составе донецкой делегации. По призыву ЦК много рабочих вступило в партию. Это был ленинский призыв. Работы пропагандистам прибавилось, надо было обучать малограмотных рабочих основам политической грамоты, это было трудно. Приехали новые пропагандисты из Москвы, мобилизованные ЦК из состава окончивших разные вузы студентов.

В конце 1926 года Н. С. перешел на работу в окружной комитет партии, где стал заведовать организационным отделом, а я поехала в Москву повышать квалификацию – в Коммунистическую академию им. Крупской. Здесь я училась на отделении политической экономии до конца 1927 года. По окончании курсов меня направили в Киевскую межокружную партийную школу преподавателем политэкономии. Читать надо было на украинском языке, так как слушателями были подпольщики из Западной Украины.

За год моей учебы в Москве Н. С. успел поработать в Харькове в ЦК КП(б)У и к осени 1927 года уже работал в Киевском окружкоме заворготделом (секретарем был т. Н. Демченко, впоследствии невинно репрессирован). Поэтому меня и направили в Киев, хотя очень настаивал товарищ из отдела распределения кадров ЦК, чтобы я поехала в Тюмень…

В Киеве в 1929 году родилась Рада. В том же году Н. С. уехал в Москву в Промышленную академию, а летом 1930 года мы приехали к нему и поселились в общежитии академии на Покровке, № 40. У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Леня и Матреша – няня, найденная Н. С. к нашему приезду».

Прерву записи Нины Петровны.

От первой жены, Ефросиньи Ивановны, у Никиты Сергеевича было двое детей – Юлия и Леонид. В 1918 году, спасаясь от немцев, Ефросинья Ивановна перебралась с донбасского рудника в Успенке, где они жили с Хрущевым, в его родную деревню Калиновку Курской губернии. Никита Сергеевич был на фронте. Он получил разрешение навестить жену. Приехал в печальную минуту: Ефросинья Ивановна лежала в гробу – умерла от тифа. Хрущев похоронил ее, а малых детей – Юлию двух с половиной лет и восьмимесячного Леонида – оставил на попечение родителей. О первых самостоятельных шагах в жизни, о приобщении Хрущева к революционному движению мне рассказывала Анна Ивановна Писарева, младшая сестра Ефросиньи Ивановны. Семнадцатилетним пареньком вошел он в 1911 году в их шахтерский дом, а в 1914 году Никита и Ефросинья стали мужем и женой.

Нина Петровна продолжает:

«Меня направили работать на Электрозавод, в партийный комитет: сначала организовала и заведовала совпартшколой, через год выбрали меня в партком, и стала я руководить отделом агитации и пропаганды партийного комитета завода.

Парторганизацию на заводе составляли около 3000 коммунистов, завод работал в три смены, у меня работы было очень много – уходила из дома в 8 часов, а возвращалась позже 10 часов вечера. А тут еще несчастье: Радочка заболела скарлатиной, положили в больницу, рядом с заводом. По вечерам я бегала смотреть через окно, что делает дитя, и видела: дали ей миску с кашей, большую ложку, а няня ушла к подругам поболтать. Рада была маленькая, немного больше года; вижу, ребенок стал ногами в миску с кашей и плачет, а няня не идет, и ничем помочь нельзя… Забрали ребенка под расписку досрочно, еле выходили.

На Электрозаводе работала я до середины 1935 года, то есть до рождения Сережи. Выполнила первую пятилетку в два с половиной года, получила Почетную грамоту от заводских организаций. Проходила на заводе очередную, третью в моей партийной жизни чистку партии. Познакомилась с большим кругом актива, с литераторами, старыми большевиками и политкаторжанами, приходившими на завод по поручению своих организаций, с подшефными колхозниками. Те годы считаю наиболее активными годами своей политической и вообще общественной жизни.

Н. С. не дали окончить Промышленную академию, взяли его на партийную работу – сначала секретарем Бауманского, а затем Краснопресненского райкома партии. Тогда шла жестокая борьба партии с правыми. Н. С. был делегатом XV съезда партии от Донецкой организации в 1927 году, а в 1930 году – делегатом от Московской парторганизации на XVI партсъезде. К 1932 году Н. С. работал уже секретарем Московского горкома, а затем и обкома партии. В 1934 году он был делегатом XVII съезда ВКП(б) и был избран членом ЦК партии. В 1935 году Л. М. Каганович, бывший до того первым секретарем МГК, уходит на транспорт наркомом, а Н. С. Хрущева избирают первым секретарем Московской городской партийной организации. Тут он работает до отъезда на Украину в начале 1938 года, куда его направили на должность секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков Украины. В Киеве он встретил начало войны в июне 1941 года.

В Москве Н. С. много сил положил на строительство первой очереди метро, набережных Москвы-реки, создание хлебопекарной промышленности (приспосабливали старые

круглые помещения. Так требовалось по технологии). Надо было организовать городское хозяйство, бани, туалеты на улицах, электроэнергию для предприятий Москвы и особенно области… Надстраивали малоэтажные здания, чтобы увеличить жилплощадь, и многое другое…

В этот период, когда у нас уже были квартира в Доме правительства на Каменном мосту (4 комнаты), к нам переехали родители Н. С. Тогда продукты распределяли по карточкам, мой распределитель находился недалеко от завода, а распределитель Н. С. – в теперешнем Комсомольском переулке. Отец Н. С., Сергей Никанорович, ездил в эти распределители за картошкой и за другими продуктами и носил их «на горбу» (на спине), другой возможности не было. Однажды с таким грузом он спрыгнул с трамвая на ходу, да еще в обратную от хода сторону; хорошо, что не убился насмерть. Он же носил Радочку в ясли на 11-й этаж нашего дома, когда лифт не работал… Рада очень любила дедушку.

Бабушка, Ксения Ивановна, больше сидела в своей комнате или брала табуретку и садилась на улице возле подъезда. Возле нее обязательно собирались люди, которым она что-то рассказывала. Н. С. не одобрял ее «сиденья», но мать его не слушала.

Ранней весной 1938 года мы уехали в Киев, и мне пришлось оставить работу; все, что я делала с этого времени, была работа по поручениям райкома партии. В киевский период я преподавала историю партии в районной партийной школе (при Молотовском райкоме г. Киева), выступала с лекциями, учила на вечерних курсах английский язык. Дети маленькие (трое), часто болели, требовали внимания».

Любопытное отступление. «Не помню даты, к сожалению. Когда В. М. Молотов стал наркомом иностранных дел, то ему построили дачу по специальному проекту, с большими комнатами для приема иностранных гостей, и в какой-то день было объявлено, что правительство устраивает прием для наркомов и партийных руководителей Москвы на этой даче. Работники приглашались вместе с женами, так и я попала на этот прием. Пригласили женщин в гостиную, там я уселась у двери и слушала разговоры московских гостей. Все собравшиеся женщины работали, говорили о разных делах, о детях…

Позвали в столовую, где были накрыты столы буквой «П». Усадили по ранее намеченному порядку. Я оказалась рядом с Валерией Алексеевной Голубцовой-Маленковой, напротив – жена Станислава Косиора, которого только что перевели на работу в

Совет Народных Комиссаров СССР. Уже было известно, что на его место секретарем ЦК Украины поедет Н. С. Хрущев. За ужином я стала спрашивать жену Косиора, что из кухонной посуды взять с собой. Она очень удивилась моим вопросам и ответила, что в доме, где мы будем жить, все есть, ничего не надо брать. И действительно, там оказалась в штате повариха и при ней столько и такой посуды, какой я никогда даже не видела. Так же и в столовой… Там мы начали жить на государственном снабжении: мебель, посуда, постели – казенные, продукты привозили с базы, расплачиваться надо было один раз в месяц по счетам.

Вернусь к приему, где для меня все было очень любопытно. Когда гости сели, из двери буфетной комнаты вышел И. В. Сталин и за ним члены Политбюро ЦК и сели за поперечный стол. Конечно, их долго приветствовали аплодисментами. Не помню точно, но, кажется, сам Сталин сказал, что недавно образовано много новых наркоматов, назначены новые руководители, в Политбюро решили, что будет полезно собрать всех в такой дружеской обстановке, познакомиться ближе, поговорить…

Потом говорили многие, называли свои учреждения, рассказывали, как представляют себе свою работу. Дали слово женщинам. Валерия Алексеевна Голубцова-Маленкова говорила о своей научной работе, за что была осуждена женщинами. В противовес ей молодая жена наркома высшего образования Кафтанова сказала, что будет делать все, чтобы ее мужу лучше работалось на новом ответственном посту, чем вызвала всеобщее одобрение.

За этим ужином я узнала, что у т. Косиора два сына. Жена Косиора произвела на меня очень приятное впечатление; я впоследствии часто вспоминала ее, когда через годы узнала, что она была сослана безвинно в лагерь и расстреляна, а резолюцию о расстреле написал единолично В. М. Молотов. Мне об этом рассказал Н. С. при следующих обстоятельствах. Полина Семеновна Молотова встретила меня во дворе дома на ул. Грановского и попросила передать Н. С. просьбу принять ее в ЦК по поводу восстановления в партии В. М. Молотова, исключенного несколько лет тому назад… Н. С. принял Полину Семеновну и показал ей документ с резолюцией Молотова о расстреле жены Косиора, Постышева и других ответственных работников Украины, затем спросил, можно ли, по ее мнению, говорить о восстановлении его в партии или надо привлекать к суду. Это Н. С. рассказал мне, отвечая на вопрос, приходила ли к нему Полина Семеновна и чем разговор закончился.

В 1935–1936 годах предприятия работали на непрерывной неделе: пять дней работали, шестой – выходной, по скользящей

шкале. Очень для меня неудобный был режим – никогда не имела выходных вместе с Н. С., он работал с постоянным выходным. Цель непрерывной рабочей недели была хорошая – чтобы оборудование было загружено полностью, чтобы производительность труда росла, чтобы люди меньше уставали. Но не оправдал себя такой порядок, перешли потом на шестидневную рабочую неделю с выходным днем в воскресенье.

Помню, в те годы секретарем МГК по пропаганде работала Евгения Коган, бывшая жена Куйбышева, помню ее дочку, Галю Куйбышеву. Помню, как я огорчалась, когда т. Коган устраивала походы своих товарищей в театры – это бывало часто, – а я не могла пойти вместе с ними, потому что по воскресеньям работала на заводе. И все другие культурные мероприятия, в которых участвовал Н. С., мне были недоступны из-за «непрерывки».

Секретарем парткома на Электрозаводе работал т. Юров, очень энергичный товарищ. Тогда называли друг друга по фамилии, не особенно интересовались семейными делами. Юров не знал и не интересовался, за кем я замужем. Однажды он позвонил поздно вечером нам на квартиру, я подняла трубку, он отрывисто спросил, кто у телефона, я ответила: «Кухарчук», – автоматически. «А ты что там делаешь, я звоню на квартиру т. Хрущева?» Очень он был поражен тем, что я, оказывается, жена Хрущева. А вопрос у него был срочный: наши подшефные луга были под угрозой вытаптывания военной конницей, и необходимо было вмешательство МГК до утра следующего дня. На следующий день он меня допрашивал, как это я сумела скрыть свои семейные отношения с секретарем МГК. Я ответила, что не скрывала, а информировать товарищей на заводе без вопросов с их стороны не считала нужным. Кстати, с помощью МГК удалось защитить подшефные Электрозаводу луга от военной конницы… Тов. Юров впоследствии был невинно репрессирован и погиб.

Работали мы в партийном комитете Электрозавода много. Как я уже упоминала, уходила я из дома в 8 часов утра и возвращалась не раньше 10 вечера. Ездила на трамвае от Дома правительства до Электрозаводской улицы, дорога отнимала не менее часа. По дороге на работу и с работы читала литературные новинки, запомнилась мне «Как закалялась сталь», прочитанная впервые в трамвае. Завод работал в три смены, и партийная, профсоюзная и комсомольская организации (комитеты) должны были обслуживать все три смены: проводили собрания, политзанятия и пр.

В 50-е годы я еще поддерживала связь с работниками завода через Варю Сыркову, ходила к ней в гости, виделась там с товарищами по работе, а после ее смерти, а потом и смерти т.

Цветкова (бывшего директора лампового завода) живая связь оборвалась, только по телефону передавала приветы через Тамару Тамарину, работницу электролампового завода с 1916 года.

Как мои родители познакомились с Никитой Сергеевичем.

В 1939 году немцы заняли Польшу и приближались к моим родным местам – селу Василёву. Как известно, наши войска в это время двинулись на запад и заняли районы Западной Украины, город Львов и Западную Белоруссию. Н. С. позвонил мне в Киев и сказал, что мое село Василёв и окружающий район отойдут к немцам и, если я хочу, то могу приехать с оказией во Львов, а оттуда меня отвезут в Василёв, чтобы я смогла забрать своих родителей. Еще Н. С. добавил, что организует мою поездку т. Бурмистенко, секретарь ЦК КП(б)У. Тов. Бурмистенко сообщил мне, что по командировке ЦК едут две женщины для работы во Львове и я поеду с ними. Одна, молодая комсомолка, ехала для работы с молодежью, а вторая, партийный работник, должна была работать среди женщин Львова. Нам велели надеть военную форму и дали револьверы. Было сказано, что мы переодеваемся для удобства, чтобы военные патрули меньше останавливали нас по дороге. Ехали более-менее спокойно, но на дороге недалеко от Львова чуть было не попали под (встречный) грузовик: шофер грузовика не спал три ночи и заснул за рулем. Пострадала только комсомолка – ударилась переносицей… Довез нас на своей машине проезжавший мимо командир (проверил документы); девушку отправили сразу в госпиталь на перевязку, а мы вдвоем остались на квартире командования. Командовал войсками Тимошенко Семен Константинович, тогдашний командующий Киевским военным округом, Н. С. Хрущев находился в войсках как член Военного совета. Когда Н. С. и Тимошенко вернулись домой и увидели нас в военном и с револьверами, они сперва расхохотались, потом Н. С. очень рассердился, велел немедленно переодеться в платья. И продолжал бурно возмущаться: «О чем вы думаете? Собираетесь агитировать местное население за Советскую власть, а сами приходите с револьверами? Кто вам поверит? Им десятилетиями внушали, что мы насильники, а вы с вашими револьверами подтверждаете эту клевету…»

Переоделась и поехала в Василёв за своими родителями. Сопровождал меня Божко Василий Митрофанович, один из бойцов охраны Н. С. Доехали спокойно, нашли хату моих родителей. Отец и мать были дома. Сбежалось много народа посмотреть на меня и узнать новости. Никто не хотел верить, что село отойдет немцам, не знали этого еще и младшие командиры в частях. Но мне разрешил т. Тимошенко сказать, почему я приехала за родителями. Ночью во двор отца поставили танк. Всю

ночь в хате толпились военные, грелись, мама их кормила, с ними сидел и В. М. Божко. Под утро приехали представители вновь организованной местной власти, чтобы меня арестовать как шпионку и провокатора. Еле их уговорили Божко и танкисты, что они ошибаются. Утром родители мои и брат с семьей погрузили в полуторку свое имущество и себя, и мы двинулись на Львов. С нами доехал до первой военной комендатуры представитель местной власти. Он хотел что-то узнать поточнее, но в комендатуре не было еще никаких сведений о территории, которая по договору отойдет к немцам.

Привезла я своих родичей во Львов, во дворец воеводы, где квартировал Н. С. Стали они ходить по комнатам, удивлялись всему. Например, покрутил мой отец водопроводный кран и кричит матери: «Подойди, посмотри, вода льется из трубы». Все прибежали, смотрели, ахали, только брат Иван Петрович сказал, что он видел водопровод, когда отбывал военную службу.

Когда вошли в комнату т. Тимошенко и Н. С., отец, указывая на Тимошенко, спросил: «Это наш зять?» Но я не заметила, чтобы он разочаровался, узнав, что зять его – Н. С.».

Записки Нины Петровны прочитали наши дети, нам с женой хотелось, чтобы они узнали о деде и бабке подробнее, об их жизни, их времени.

Взвесив, стоит ли публиковать написанное Ниной Петровной, – ведь она об этом не думала, – Рада и я решили, что стоит: многим, возможно, будут интересны реалии тех лет. Без блеска и широты обозрения, без глубоких, серьезных познаний – в литературе, искусствах, самой истории – складывались биографии многих представителей того послереволюционного поколения. Не вина, а беда этих людей, что они учились урывками и все больше для дела, а дело предъявляло им жесткие требования и властно подчиняло себе.

Нина Петровна оборвала свои записи 1939 годом. Ни сама она, ни Никита Сергеевич не рассказывали своим близким, как складывались их судьбы. Хрущев с первых дней нападения фашистской Германии на нашу страну был на фронте. Вместе с генералом Кирпоносом возглавил оборону Киева и вернулся туда 6 ноября 1943 года, когда город был освобожден советскими войсками.

В конце 60-х, когда имя Хрущева не упоминалось, на торжествах, посвященных годовщине Сталинградского сражения, побывал Зиновий Тимофеевич Сердюк, товарищ Никиты Сергеевича по работе на Украине, член Военного совета 64-й армии генерала М. С. Шумилова, сражавшейся в Сталинграде.

Пришел в мемориальный музей. В самом дальнем углу висел маленький снимок заседания Военного совета фронта. Группа посетителей толпилась у стенда, и кто-то удивился: «Смотрите, тут, кажется, Хрущев, разве он воевал в Сталинграде?»

«Это были взрослые люди, не юноши и девушки, и мне пришлось прочитать им маленькую лекцию, – рассказывал Сердюк. – Они ушли, а я тогда подумал: может ведь случиться, что забудут не только многих, но и многое…»

Университет. Мы – журналисты

В 1987 году уже в поредевшей компании старых товарищей отметили мы 35-летие первого выпуска факультета журналистики МГУ. Жизнь разбросала нас по городам и весям, а многим, увы, не пришлось дожить до этого дня.

Когда сейчас спрашивают о первых послевоенных годах и при этом говорят: «Вам, конечно, было тяжело!» – я отвечаю совсем не так, как того ожидают.

«Нет, – говорю я, – нет! Хотя не скажешь, что то время было простым и легким, все-таки преобладало ощущение счастья. Мы представляли значимость дела, которому собирались служить, хотели как можно лучше и активнее проявить себя. Эти цели перекрывали все остальное в жизни тех лет».

Никто из нас не отважится назвать Московский университет нашего времени островом вольности, как никто не ставит слишком высоко образование, которое мы тогда формально получили. Филологи не прочли доброй половины книг лучших русских писателей, историки западной литературы не знали имен многих литераторов «оттуда». Журналистам мало что говорилось о мировой прессе. Зато мы зубрили латынь и распевали при сдаче экзаменов по древнегреческой литературе: «С ужасом в город вбежав, трояне, как олени младые…» – в усладу нашему милейшему старцу профессору Радцигу. На всю жизнь мы усвоили правила самообразования и наверстывали упущенное в университетских программах с большим упорством.

На экзаменах, стоя перед черной доской, на которой по заданию профессора Галкиной-Федорук (она читала курс истории русского языка) были написаны длинные сложные фразы, не каждый мог быстро определить, где подлежащее и где сказуемое, и Евдокия Михайловна только крякала от досады. Галкина-Федорук не занижала оценок за пробелы в школьных знаниях, ведь между школой и университетом у большинства был фронт и у всех – война, а приглашала обычно прийти к ней домой,

подзубрив предварительно элементарные правила. Принимая дома, сообщала, за каким из двух огромных сдвинутых столов работает она, а за каким ее муж – историк, в ту пору проректор МГУ. При особом расположении Евдокия Михайловна доставала баночку с вареньем, наливала чаю и с ехидцей спрашивала: «А знаешь ли ты, милый товарищ, что перед «а», «но», «да» ставятся запятые и что «бы», «ли», «же» пишутся отдельно?» Чаще всего домашний экзамен оканчивался благополучно.

Евдокии Михайловне нелегко дались «университеты», она начинала с самой черной работы, была даже грузчицей и уже взрослым человеком осваивала азы грамматики. Сам Рабле мог бы позавидовать сочности и яркости ее речевых оборотов, когда она читала лекции о вульгарных словах и выражениях в русском языке. «А ну-ка, заприте двери», – обращалась она к старосте курса… Быть может, оттого что мы слушали эти дерзкие и откровенные лекции Галкиной-Федорук, никто из нас не сквернословил. Нравы в пору нашей молодости были довольно строгие. В те годы все окрашивала Великая Победа.

Она рождала чувство братства, единения. Мы были уверены в том, что лучшее впереди, что все нам по плечу, что человеку не страшен никакой черт. Наверно, это ощущение счастливого будущего шло и от неведения, незнания многого…

Мы не были, конечно, такими уж простодушными бодрячками, Кое-что все-таки настораживало. К примеру, в 1949 году был арестован доцент Пинский – он прекрасно читал историю западной литературы XVIII–XIX веков. Стали «исчезать» с биологического факультета не только преподаватели, но и студенты. После августовской сессии ВАСХНИЛ в 1948 году для всех факультетов был введен курс мичуринской биологии – студенты называли его «лысенкоедение». В Коммунистическую аудиторию, самую большую в университете, однажды явился профессор Презент, главный сподвижник Лысенко, и сообщил, что познакомит с новым важным учением. Он читал лекции зло и как-то надменно, будто поучал своих поверженных противников.

Думаю, что многие студенты-биологи относились к новому учению без почтения, хотя явно выражать это было опасно. Филологи играли на этих лекциях в «морской бой», поскольку их не интересовали проблемы межвидовой борьбы, влияния среды на наследственные признаки и т. д.

Однажды Презент соскочил с кафедры и, подлетев к моему соседу Авениру Захарову, выхватил у него листочек с квадратиками «морского боя». «Чем вы занимаетесь, студент, – закричал он, размахивая перед носом Авенира бумажкой, – чем?!» Захаров, небольшого роста, плотный, как боровичок, в

полинявшем бушлате, поскольку служил в войну на торпедных катерах, спокойно принял бумажку из рук Презента и проговорил: «Профессор, вы разговариваете со старшиной первой статьи советского Военно-Морского Флота, па-пра-шу не кричать. «Морской бой», в который я сейчас играю, – мое профессиональное занятие, оно меня успокаивает и помогает вникать в вашу чересчур сложную лекцию!»

Как ни странно, Презент сник и поспешно вернулся на кафедру. Через минуту ему была передана записка: «Не может ли профессор порекомендовать способ скрещивания клопа и светлячка – это облегчит нашу жизнь на Стромынке?»

Нас, филологов, главные события ждали, однако, впереди.

9 мая 1950 года в «Правде» была опубликована статья грузинского языковеда Арнольда Степановича Чикобавы о некоторых вопросах советского языкознания. Статья эта занимала всю специально для нее предназначавшуюся вкладку и сопровождалась предисловием от редакции, где сообщалось, что открывается свободная дискуссия по проблемам языкознания, направленная на преодоление застоя в этой важной области науки.

Через много лет редактор «Правды» той поры Л. Ф. Ильичев рассказал мне, как появилось это сочинение в газете.

Неожиданно его пригласил Сталин на свою «ближнюю дачу» в Волынское и показал плотную стопку листов, исписанных четким почерком. Усадив за стол, сказал, что один его знакомый из провинции прислал статью. Пусть редактор прочтет ее сейчас и скажет, стоит ли печатать. Редактор понимал, что просто так, из желания посоветоваться, Сталин не стал бы вызывать его. Решение уже принято, нужна лишь видимость его одобрения.

Сталин неслышно ходил по комнате, время от времени наклонялся к столу, брал один из карандашей, лежавших аккуратной кучкой, наклонялся над плечом редактора и вносил какую-нибудь мелкую поправку: ставил запятую, снимал лишний союз… Не знаю, как уж там давалось редактору чтение этой весьма специальной статьи, что смог понять он в языковедческом споре Чикобавы с Марром, наверное, его больше занимал Сталин, мерно шагавший за спиной. Ни вопросов, ни замечаний. Молчание. И даже когда Сталин останавливался и почему-то трогал пальцем редеющую макушку редактора, оглядываться не хотелось.

Шутливый тон этого рассказа (чего не случается, дескать, с газетчиками) никак не вяжется с дальнейшими событиями. Как только статья Чикобавы была напечатана, пошли еженедельные вкладки в «Правде». Дискуссия полыхала вовсю, и студенты-

филологи поняли, что ее огонь подпалит и нас, грешных. Мы учились по Н. Я. Марру, и учили нас его твердые последователи. Деканом факультета был тогда Николай Сергеевич Чемоданов, ярый маррист, жесткий человек, читавший лекции сложно, нисколько не заботясь о том, как их воспринимают студенты. На его экзаменах слабонервные девицы, загнанные в угол неожиданными и малопонятными вопросами, падали в обморок. Нас взволновало свое: не придется ли пересдавать экзамены?

В отличие от сессии ВАСХНИЛ, где Лысенко и его приспешники сразу же начали громить «вейсманистов-морганистов», буквально затаптывать своих оппонентов, открыто переводить научный спор в политическое русло, языковедческая дискуссия сперва была достаточно демократичной.

На Чикобаву резко ополчилась целая группа ученых. Языковеды-марристы чувствовали себя в полной безопасности, так как за ними были не только авторитет Марра, чья точка зрения считалась официально признанной, но и позиция директора Института языка и мышления Академии наук СССР академика Ивана Ивановича Мещанинова. Он был первым языковедом, удостоенным звания Героя Социалистического Труда.

Ученые мужи сначала не поняли, где, в чьем кабинете, из чьих рук были получены странички, которые они так лихо отвергали. В дискуссию вступили те, кто разделял точку зрения Чикобавы. Теория Марра о том, что язык есть надстройка над базисом, начала рушиться. Студентов особенно взбудоражили статьи молодого ученого нашего факультета Бориса Александровича Серебренникова. Он был в ту пору то ли аспирантом, то ли едва успел защитить кандидатскую. Серебренников всегда держался принципиально, независимо, не скрывал отрицательного отношения к построениям Марра. Он был учеником известного лингвиста академика В. В. Виноградова. Академика убрали с факультета, а его ученика ломали на собраниях, семинарах, ученых советах и в конце концов исключили из партии. Студенты считали это несправедливым и обрадовались, когда увидели публикацию Серебренникова в «Правде». Он отстаивал свою точку зрения.

Борис Александрович теперь академик, один из крупнейших советских лингвистов. Его принципиальная позиция, весь последующий путь в науке – пример достоинства и верности своим убеждениям. Для многих студентов той поры это был хороший урок, как можно и должно отстаивать свои взгляды.

Статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании», опубликованная в «Правде» 20 июня 1950 года, расставила все

точки над і. Поверженные каялись, победители торжествовали.

Держу в руках брошюрку, экстренно выпущенную издательством «Правда» с материалами дискуссии, в том числе с ответом Сталина, как было сказано, группе товарищей из молодежи, обратившейся к нему «с предложением высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании». Вновь читаю строки, которые некогда приходилось заучивать наизусть.

Сталин писал: «Дискуссия выяснила прежде всего, что в органах языкознания как в центре, так и в республиках, господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого «нового учения» в языкознании преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания. За критическое отношение к наследству Н. Я. Марра, за малейшее неодобрение учения Н. Я. Марра снимались с постов или снижались по должности ценные работники и исследователи в области языкознания. Деятели языкознания выдвигались на ответственные должности не по деловому признаку, а по признаку безоговорочного признания учения Н. Я. Марра.

Общепризнанно, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики… Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самовольничать и бесчинствовать… Если бы я не был убежден в честности товарища Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству».

Кто не согласится с чеканной мыслью Сталина о том, как должна развиваться наука? Но как нам теперь не поразиться его фарисейству. Будто и не было трагедии великого труженика Николая Ивановича Вавилова и десятков его коллег. Будто не было заушательской, разносной, а точнее сказать доносной, критики со стороны Лысенко. Будто не преследовали тех, кто сомневался в открытии О. Лепешинекой, которая, не выходя из своей квартиры, «разгадала» великую тайну происхождения живого из неживой материи. Она же, кстати, обосновала возможность омоложения содовыми ваннами. В ту пору в аптеках исчез порошок, употреблявшийся ранее как средство от изжоги.

За всем этим – постоянное стремление взвинчивать, предельно накалять общественную атмосферу. Какой-то театр абсурда, нечто за гранью логики… Теперь, спустя тридцать с лишним лет, это представляется сценами из инфернального мира. А мы-то жили в мире реальном и, если говорить о нас в

массе, верили всему, о чем читали в газетах и слышали на собраниях. Или, быть может, принимали на веру. Самоотстранение от сложных процессов общественного бытия было не только защитной реакцией – оно постоянно культивировалось: «Не лезь не в свое дело», «Наверху виднее», «Что, тебе больше других надо?» Психология эта укреплялась в сознании многих.

Это уже после XX съезда партии стало понятнее, зачем так долго и так настойчиво вырабатывалась система низведения личности до положения «винтика»: ведь проще иметь дело с политическими младенцами.

Когда буря языковедческих дискуссий миновала, мой товарищ по факультету Виталий Костомаров вздохнул с облегчением. Ему, правда, влепили строгий выговор с занесением в учетную карточку – он что-то не так сказал на языковедческом семинаре, – но из комсомола не исключили. Чуть позже Костомарова, как идеологически нестойкого, не утвердили на общественную должность машинистки в стенную газету «Комсомолия». Встретившись недавно, мы посмеялись, конечно, над бдительностью своих сокурсников. Виталий сохранил листок многотиражной газеты «Московский университет», где в небольшой заметке студент-журналист А. Аджубей утверждал, что должность машинистки может быть предоставлена В. Костомарову, ибо является чисто технической. После этой заметки я был отстранен от прохождения по Красной площади в студенческой спортивной колонне МГУ и назначен на праздничные дни дежурить по факультету. Виталий Григорьевич Костомаров теперь директор Института русского языка имени А. С. Пушкина…

Строилось новое здание МГУ на Ленинских горах, его открыли через два года после окончания наших занятий – в 1954-м. Темпы возведения были рекордными и для нынешнего времени: всего шесть лет. Колючая проволока, сторожевые вышки, высокие заборы, которые окружали огромную строительную площадку, отъединяли нас, копавших во время воскресников траншеи для укладки труб, переносивших кирпич, убиравших территорию под будущие цветники, от «зеков» (странное дело, до сих пор в университете есть зона «А», зона «Б» и так далее), которые выполняли более тяжелую работу, но это не смущало и не пугало нас. По нашим тогдашним представлениям, за проволокой шло перевоспитание трудом, который мы, вольные, считали тем главным, что лежит в основе человеческого достоинства. О многих километрах колючей проволоки на

холодных северных землях, о миллионах погибших – расстрелянных, умерших от голода, цинги – никто тогда не вспоминал, об этом не говорили и не писали. И если кто-то знал и думал, то только про себя.

Нашим трудом было ученье. Нас не посылали копать картошку, перебирать овощи на базах. Учиться хорошо и отлично считалось исполнением долга и проявлением общественной сознательности.

Ребята, получавшие Сталинские стипендии, вызывали уважение.

В конце 1950 года я проходил практику в газете «Комсомольская правда». В военно-спортивном отделе, которым заведовал Борис Иванов, получил первое журналистское задание – написать о стрелковых соревнованиях на стрельбище «Динамо» в Мытищах. Участники соревнований расположились в белых вылинявших палатках, а выходя на линию огня, палили по таким же простеньким мишеням, какие висели в стрелковом клубе МГУ. Записав все данные о соревнованиях и победителях, я ринулся в редакцию и к вечеру отдал Борису Иванову свое сочинение. «Пойдет», – сказал он, проглядев страничку.

Утром я не отыскал заметку на последней полосе, где обычно печатали спортивную информацию. Прибежав в редакцию, робко постучал в кабинет Бориса Иванова. Он тиснул мою руку и сказал: «Старик, поздравляю с первой публикацией», – наклонился к столу и отчеркнул на газетной полосе крошечный, пять строк, столбик, набранных петитом в подбор с другой информацией. Больше всего я жалел об утере заголовка «Белые палатки, беглый огонь». Но зато меня приятно кольнуло по-доброму сказанное «старик»… В «Комсомолке» тех лет это кое-что значило.

Борис Иванов выложил передо мной пачку писем читателей в редакцию и послал неподражаемо элегантным жестом прощальный привет. Дневная норма для литературных сотрудников была тогда – обработать сорок писем. Я не успевал. День за днем стопка писем росла. Росла и моя тревога: не справляюсь. Рабочий день растягивался до раннего утра. Я начал понимать, как делается газета. Хаотичное мельтешение людей, беготня к дежурному или главному редактору, ворохи оттисков с пометками «отделу информации», «свежей голове», крики по местному телефону снизу, от верстальных столов: «Сократите хвост Семушкину», «Рубаните Чачина» и т. д. Газетные полосы, как известно, не резиновые, и многие статьи приходилось сокращать.

Через какое-то время я стал разгребать почту увереннее и даже готовил подборки писем. Таких подборок становилось все больше, и все больше писем отсылали на мой стол и «зав», и «зам», и даже старший по возрасту, а следовательно, и по положению литературный сотрудник. Роптать не приходилось: практика. За усердие стали чаще давать и репортерские задания.

Как-то само собой получилось, что, когда практика окончилась, я продолжал бегать в «Комсомолку». Однажды Борис Иванов предложил поступить на постоянную работу в отдел. Предвидя вопросы, он разрешил их с убедительной простотой: «Да что ты, не сумеешь окончить университет, работая у нас? Проблем не будет, главный сказал, что сможет договориться насчет свободного посещения лекций (ни заочного, ни вечернего отделений тогда не существовало). И вот в 1951 году я стал «вольноопределяющимся» студентом МГУ и штатным сотрудником «Комсомольской правды». Здесь, не перескакивая ни через одну служебную ступеньку, и довелось пройти весь путь «от» и «до».

Вспоминая «Комсомолку», многие ее бывшие сотрудники называют газету родным домом, дружной семьей, где все были братьями и сестрами. Важнее, мне кажется, другое. Во-первых, ценился и вырабатывался профессионализм, во-вторых, уже в самом начале 50-х больше, чем в других газетах, допускались свобода мнений, спор, поощрялась острая тема. Там приветствовали тех, кто любил письма, шел к теме от реальных историй, от обращения к раздумьям читателя, от факта жизни, а не от схем, какими заполнялись тогда страницы многих газет.

Однако и плата за честь работать в таком замечательном коллективе была высокой. Все интересы – в газете. Все время – газете. (Это без преувеличений: рабочий день длился не менее 12, а часто и 14 часов). Командировки – хоть на край света – по первому слову редакции. А главное – надо было непрерывно снабжать газету находками, отыскивать необычное. Чтобы «вставить фитиль» коллегам из другого издания. «Старик, – слышалось в таком случае в комнате отдела, в лифте, в коридоре, в столовой, – главный одобрил – еду, лечу, встречаюсь…» Как легенды передавались истории о корифеях «Комсомолки», которые добывали материалы в самых невероятных обстоятельствах. Семен Нариньяни, блестящий фельетонист, в 1934 году во время первого физкультурного парада прорвался на Красной площади к Максиму Горькому и с его помощью получил по нескольку строк впечатлений о празднике от всех членов Политбюро, включая Сталина. Когда Нариньяни доложил об этом редактору, тот не поверил. Но тут раздался звонок из высокого

секретариата, и к сказанному на Красной площади было добавлено еще несколько строк.

Читатель нынешней «Комсомольской правды» вряд ли увидит газету начала 50-х, разве что в библиотеке или музее. Тридцать с лишним лет миновало с той поры. Если бы по какой-то странной случайности в его почтовом ящике оказалась та, «наша», «Комсомолка», он, молодой человек конца XX века, наверное, удивился бы и, чего доброго, пожалел бы и прежних читателей, и тех, кто делал газету. «Комсомольская правда» 50-х годов была куда как скромнее, если хотите, проще, суше, чем нынешняя. Две-три маленькие фотографии на четырех страницах, а чаще и без фотографий (на «украшательство» существовал строгий лимит), «слепые» колонки статей, небольшие заголовки, никаких броских аншлагов, минимум рисунков, карикатур – каждый сантиметр площади для дела. Засушивало газету обилие официальных протокольных заметок. Телетайп категорично отстукивал, куда их ставить. «В правый верхний угол второй полосы», «В левый нижний угол третьей полосы»… Случалось, что на «угол» претендовали сразу три материала, и тогда победу одерживало ведомство рангом выше.

Ночь напролет переверстывалась «Комсомолка». Терявшие силы и терпение метранпажи Матвеич или Степаныч (они верстали еще дореволюционную газету «Копейка») охрипшими голосами кляли дежурных по номеру и «верхнюю» редакцию. Оба они были милейшими, добрыми людьми, кладезем всевозможных баек о газетах и газетчиках, и мы относились к ним с великим почтением. Нервотрепка была скорее общим стилем ночной редакции. Газета, выбившись из графика, выходила днем, а то и вечером. В другие города она попадала через несколько суток. Фототелеграфа не существовало, матрицы везли на аэродромы и к поездам, которые, в свою очередь, либо не могли ждать газету, либо сами опаздывали. Как было объяснить читателям, что сообщение о завтраке в честь господина Н. дошло до нас к позднему ужину? Чиновники многочисленных ведомств мало считались с газетами, как, впрочем, и с газетчиками.

Листаю подшивки «Комсомолки». Выветрился запах типографской краски. Желтизна поползла по страницам. Когда белый мех начинает желтеть, скорняки говорят, что он умирает. Как бы ни изменили цвет газетные полосы, цена их только возрастает.

Мы любили свою газету, делали все, чтобы она была другом и советчиком читателя. Впрочем, если быть откровенным, приходилось «подниматься на котурны» чаще, чем хотелось.

Именно в те годы утвердились такие выражения, как «битва за хлеб», «битва за металл». Они шли, конечно, от жизни, ибо бились люди за многое и победы давались тяжело.

При всех издержках этого «вечного боя», когда покой и не снился, он кое-что давал характеру и натуре человека.

Совсем недавно мой друг, как раз из таких, кто знает, как даются журналистам строки, пришел на родной факультет в МГУ, чтобы встретиться со старшекурсниками. В его газете намечались две вакансии, и он хотел подыскать среди выпускников подходящих кандидатов. Мой друг – фантазер и, чтобы дать каждому равный шанс, предложил студентам написать две-три странички на «вольную тему», отметить девизом, а во втором, запечатанном конверте, сообщить фамилию. Газета, в которой он работал, – одна из самых боевых, попасть туда журналисту – все равно что актеру выдержать конкурс у Ефремова. Через месяц, как и было условлено, он вновь пришел на факультет. В деканате узнал, что никто из выпускников не пожелал участвовать в конкурсе.

Уверен, в наши студенческие годы ни один не отказался бы. Должно быть, наше отношение к профессии было более трепетным. Если будущий журналист проявляет безразличие к своей собственной судьбе, вряд ли его взволнует судьба чужая. А может, причина в ином?

В «Комсомолке» авторитет главного редактора был непререкаем. Ум, широта интересов, острота взгляда снискали Горюнову всеобщее уважение. Дмитрий Петрович был строг, почти официален, молодежь побаивалась его гнева, который, впрочем, не возникал без причины. Все знали, что «главный» не злопамятен, способен, если ошибся, изменить свою точку зрения. Он радовался удаче каждого сотрудника – опытного и начинающего, готов был поддержать в трудную минуту, даже если по каким-то обстоятельствам это давалось тяжело. Однажды Борис Иванов, заведующий военно-спортивным отделом, написал для газеты большой материал о канадском хоккее. На «Комсомолку», допустившую пропаганду «космополитизма» (в ту пору такое обвинение могло обернуться как угодно), обрушил гнев сам К. Е. Ворошилов. Канадский хоккей показался ему подозрительным. Почему «канадский»? Низкопоклонство! Газета сразу же стала ратовать за русский хоккей, однако это уже не ослабило нападок.

По поводу канадского хоккея Горюнова непрерывно куда-то вызывали, он возвращался злой, резкий, коридор пустел: никто не желал попадаться на глаза редактору в такую минуту. Затем Борис Иванов был вызван к главному, вся редакция волновалась

за него. Мы так и не узнали, какие и с кем Дмитрий Петрович вел переговоры, но канадский хоккей вместе с Борисом Ивановым реабилитировали; велели, правда, именовать игру «хоккеем с шайбой».

В 1957 году Горюнов попрощался с «Комсомолкой», перешел в «Правду», потом много лет смело, энергично вел ТАСС. Внезапно, а все внезапное по-своему закономерно, Дмитрия Петровича назначили послом в Кению, затем в Марокко. Держали там долго, больше десяти лет, додержали до пенсии и вывели прекрасного журналиста на «заслуженный отдых». В ту пору Брежнев нередко отправлял в длительную командировку за границу «строптивых». Горюнов не был покладистым и не спешил говорить вслед за «слышу» – «слушаюсь». Многие «вышедшие» из «Комсомолки» журналисты считают его своим учителем, в том числе и по этой причине.

Вспоминаю свою первую заграничную поездку.

Июньским вечером 1952 года после дежурства позвонил главный редактор, сказал, что завтра я должен быть в международном отделе ЦК ВЛКСМ, предстоит заграничная командировка. В ту пору такое поручение считалось особенно ответственным, журналисты редко бывали за рубежом, впрочем, как и все советские граждане, – международного туризма не существовало и в помине.

В «железном занавесе» редко открывалась маленькая дверь, и через нее выпускали очень немногих.

В международном отделе я встретился с Петром Машеровым, тогда первым секретарем ЦК комсомола Белоруссии. (Позже он стал первым секретарем ЦК партии республики, кандидатом в члены Политбюро и трагически погиб в автомобильной катастрофе). Путь наш лежал в Австрию, где готовился общенациональный слет молодежи в защиту мира. Выслушав соответствующие наставления, мы засели за подготовку речей, которые предстояло произносить. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Николай Александрович Михайлов принимал нас чуть ли не ежедневно, и уже сам этот факт говорил о серьезности поручения, Машеров, высокий, стройный, рассудительный и спокойный, волновался, по-видимому, как и я, но не подавал виду. Герой Советского Союза, партизан, подпольщик, он «гасил» все страхи наших многочисленных консультантов одной фразой: «Да пусть они меня сами боятся…» Наконец Михайлов, заставив еще раз продекламировать ему наши речи, дал «добро» на отъезд.

Вечером на даче я сказал Никите Сергеевичу, что завтра уезжаю в Австрию. К удивлению, Хрущев выразил явное

неудовольствие и более чем строго начал выспрашивать, «как», «зачем», «почему». После длинной паузы проговорил: «Смотрите, чтобы все было в порядке, а если что – держитесь как подобает…»

Трудно сказать, что он имел в виду, говоря «держитесь как подобает», но эти слова долго не давали покоя.

В Вене нам повсюду мерещились агенты ЦРУ, и, если прохожий разглядывал нас долго, Петр Миронович, едва шевеля губами и не оборачивая головы, шептал: «Это шпик, запоминай его, Алексей, заметаем следы». Неожиданным оказался другой вариант «преследования». Возвращаясь после встреч с молодыми коммунистами и социалистами, мы находили в номере гостиницы антисоветские листовки, брошюры и даже книги. Решили относить «добро» в советскую часть Контрольной комиссии (мирный договор с Австрией еще не был подписан, и страна делилась на оккупационные зоны), но там посоветовали вываливать вечером подброшенное за дверью номера и туда же выставлять ботинки для чистки. Бумажный мусор мы выносили, а ботинки не выставляли. Нам казалось, что советским людям не пристало унижать служащих гостиницы подобной работой. Ботинки мы чистили сами.

Держу в руках «Комсомолку». Номер за 17 июля 1952 года. Отчет о нашей поездке: «Десять дней в Австрии». Прошло столько лет, а я все помню…

Сторож отворяет тяжелые ворота, и мы выходим на безлюдную площадь. Тяжелые гранитные плиты выложены на века. Старик ведет нас за собой. Справа и слева странные здания. Они мертвы. В них нет людей. Наш провожатый – узник Маутхаузена. Его освободили советские солдаты, и он остался сторожить бывшую тюрьму, ему некуда деться. Ветер кружит пыльную поземку у стен бараков. Еще одно серое здание. Металл на печах, в которых сжигали живых и мертвых, свеж, не покрылся патиной. Включи рубильник, и печи заработают. С 1938 по 1945 год здесь превратили в пепел 122 766 человек. Беру ручку – считаю. 3255 рабочих дней истребления. По тридцать шесть человек в сутки. Без выходных – непрерывно.

Те, кто делал это, жили здесь же. Спускались с холма и пили холодное пиво в увитых зеленью ресторанчиках. В отпуск уезжали к семье, детям.

15 января 1953 года в «Комсомольской правде» появилась передовая статья «Быть зорким и бдительным». За три дня до этого меня вызвал заместитель главного редактора Отар Давидович Гоцеридзе, усадил за стол, запер дверь кабинета и, протянув небольшую папку, сказал: «На, прочти, запомни, что

здесь сказано, а потом пиши передовую. Сообщение будет завтра, а передовая нужна к вечеру. Читай, читай, потом обсудим».

Он занялся своими делами, а я начал просматривать странички из папки, и у меня зарябило в глазах. Врач кремлевской больницы Лидия Федоровна Тимашук раскрыла банду врачей-вредителей, убийц и шпионов, повинных в гибели ряда видных деятелей партии и государства и готовивших еще более злодейские акты. Сообщалось, что они залечили до смерти Жданова и Щербакова. Среди врачей-убийц – профессора Вовси, Виноградов, Коган, Фельдман, начальник лечсанупра Кремля Егоров и другие. Академики, доктора наук, медицинские светила, допущенные в святая святых – Кремль! Вчитываясь в строки сообщения, я содрогался. Мой личный опыт общения с врачами был равен нулю, однако встречались знакомые имена. Одним из первых был назван Владимир Никитич Виноградов, крупнейший терапевт, блестящий диагност.

Он не раз бывал в доме Хрущева, лечил Нину Петровну, оставался по приглашению хозяев обедать, рассказывал анекдоты из медицинской практики.

И этот Виноградов, доброжелательный, как говорили, много лет наблюдавший за здоровьем Сталина, – шпион и убийца! У нас с женой только что, 21 декабря 1952 года, в день рождения Сталина, появился первенец – Никита; Рада еще лежала в родильном доме на улице Веснина, в том самом, из «врат» которого вышли в свет многие сыновья, дочери, внуки и внучки партийных и советских руководителей – «правительственные дети», как говорили сотрудники роддома. Читая документы, я невольно думал о Раде и малыше.

Виноградов запомнился еще и потому, что он густо пересыпал свои фразы непонятным словечком «куцо». «Прихожу вчера домой, куцо, а ветер раскрыл окно, все бумаги, куцо, на полу…» Это словечко, похожее на «кацо», каким-то странным образом шло Владимиру Никитичу.

«Куцо» – стучало в висках, наверное, я выглядел ошалелым. Гоцеридзе покачал головой и со значением сказал: «Вот так-то. Ты все понял? Нужна передовая. Материалы, которыми следует пользоваться, перечитай серьезно». Он встал, открыл дверь кабинета, протянул ключ: «Запрись, чтобы не мешали. Когда напишешь статью, отдашь мне». Он не прибавил «только мне», но это было само собой понятно.

В той передовой были такие строки: «Выступая на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году, товарищ Сталин говорил: «Спрашивается, почему буржуазные государства должны относиться к Советскому социалистическому государству

более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?»

В бумагах, которые я получил, эту цитату особо рекомендовалось использовать. Передовую напечатали. На редакционной летучке, где оцениваются и разбираются номера газеты за прошедшую неделю, о ней не было сказано ни слова. Такие темы не критиковались. Не стану утверждать, что тон передовой был более спокойным, чем в других газетах. Концовка призывала молодежь к зоркости и бдительности. Единственное, что отличало передовую, – в ней не перечислялись имена врачей. Теперь данное обстоятельство можно поставить себе в заслугу. Но малого стоит такая заслуга. Стыд перевешивает все оправдания.

Через много лет Светлана Сталина напишет, что после ареста врачей ее отец отказался от услуг медиков, начал выбирать лекарства сам, капал в мензурку йод от склероза. Еще бы, как он мог пустить в дом людей вроде Виноградова, который пользовал его двадцать лет, которому он поверял интимные стороны своей жизни, рассказывал о болях душевных и телесных, а презренный убийца исподволь готовил ему страшную кончину?!

Врач для больного как священник для верующего. Если лгут священники – а это Сталин знал, ибо сам мог стать священником, – почему не могут лгать врачи? Почему буржуазные государства «должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?».

Я понимал, что срочное поручение объяснялось по крайней мере двумя причинами: во-первых, у меня должны были найтись особо гневные слова – как-никак, и мою семью могли отравить; во-вторых, таким заданием оказывалось доверие. Зять Хрущева был подходящей фигурой.

В первый же свободный час я поспешил к жене в родильный дом, и там мы шепотом обсудили страшное известие. Сидела в комнате и молоденькая медицинская сестра Галя Семенникова. Ее больше всего поразило, что в списке значился начальник лечсанупра Кремля Егоров. У него только что в этом родильном доме появился на свет сын. «Господи, – причитала Галя, заливаясь слезами, – такая милая, красивая женщина, такой хорошенький мальчик, что с ними теперь будет? И что надо было этому извергу, ведь все уже есть, все есть…»

Это искреннее сопереживание и гнев задели меня больше,

чем строки собственной передовой.

Мы дружим с Галиной Семенниковой и ее семьей тридцать пять лет. Галина Анатольевна стала хорошим врачом. Нет-нет да и вспоминаем мы тот разговор на улице Веснина, радуемся, что мальчик, родившийся перед арестом отца, не нес всю жизнь тяжелый крест сына «врага народа». Да только ли этот мальчик?! Много позже известный офтальмолог Святослав Федоров, тоже сын «врага народа», скажет мне: «Если бы не XX съезд, мы все оказались бы на обочинах жизненных дорог».

Ненависть к врачам-убийцам набирала силу. Газеты публиковали отклики трудящихся, клеймивших шпионов и извергов. Был опубликован Указ о награждении Тимашук орденом Ленина «за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц». Нашлось немалое число желающих занести и своего районного доктора в шпионы и вредители. Матери с ужасом вспоминали, что лечили своих детей у того или иного из обвиненных. Больные требовали, чтобы в аптеках установили более строгий контроль за приготовлением лекарств.

В доме Хрущевых арест врачей не комментировался, хотя естественно предположить: никого не оставил равнодушным. Никита Сергеевич предпочитал лечиться сам. Иногда он приезжал с работы днем, и его ждала горячая ванна. Таким нехитрым, но проверенным способом ему удавалось снимать почечные колики.

Он по-прежнему много ездил по области, бывал в колхозах, на строительных площадках, где шло сооружение первых заводов железобетонных конструкций. В городе катастрофически не хватало жилья, сотни тысяч людей жили в подвалах и коммуналках – в жутких условиях. Если поездка намечалась на воскресенье, он приглашал Раду и меня: младшие еще не доросли.

Затрудняюсь сказать, почему он нас брал с собой: журналистику в ту пору не считал серьезным занятием и уж тем более не ждал от нас никаких «публикаций». Просто Никита Сергеевич не терпел одиночества. Любил, чтобы кто-то был рядом. Он засиживался в МК допоздна. Начальник его охраны обычно звонил мне в газету и спрашивал: «Ну как, вышла в свет наша дорогая «Комсомолочка»?» Если позволяли обстоятельства, присылал за мной «хвостовую» машину (членов Президиума ЦК сопровождала машина охраны), и я, случалось, долго ждал у подъезда МК, пока выйдет Хрущев и мы поедем на дачу, в Усово. Он предпочитал жить там, а не в переполненной городской квартире. Его тянуло на природу. Как бы поздно он ни приезжал, обязательно гулял 15–20 минут, а утром быстрым шагом пробегал по дорожкам свои полтора-два километра. Это позволяло ему

выдерживать огромную нагрузку, а в городе возможности погулять не было.

Во время ночных возвращений с Никитой Сергеевичем никаких деловых разговоров не велось, и более чем наивен тот, кто предполагает, что они вообще возможны домашних обстоятельствах. Ехали обычно молча. Хрущев не спрашивал меня, как шло дежурство в газете, а я не задавал вопросов о его рабочем дне.

Утром в воскресенье Никита Сергеевич обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить с отцом в театр чуть позже, а в начале 50-х эта повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился: именно повинность. Никита Сергеевич чаще всего выбирал МХАТ, хотя все спектакли видел не один раз. «Горячее сердце», наверное, раз десять, не меньше, и мы вместе с ним. Соглашался на любую оперу в Большом, а к балету относился равнодушно. Правда, ходил на балетные спектакли, если танцевала Уланова или кто-нибудь из известных балерин.

Любил он Театр имени Моссовета, считал его своим, московским. Юрий Александрович Завадский во время антракта непременно приглашался в ложу на чай. Они вспоминали многих актеров той поры, когда Хрущев в начале и в середине 30-х только начинал в Москве. Однако, если Завадский втягивал Хрущева в деловые разговоры, в оценку спектакля, Никита Сергеевич отшучивался: «Вы же видите, я не собираюсь уходить со второго акта. – И добавлял после паузы – Хотя, может быть, и хочется. Зачем обижать актеров…»

В ту пору он не считал себя судьей ни в театральных делах, ни в кино, ни в литературе. Правда, в машине мог обронить: «Ерунда какая-то». Но не больше. Он не принимал бытовые спектакли, не любил «копания в грязном белье».

В его привязанностях особое место занимал документальный кинематограф. Киножурналы, посвященные науке, строительству, сельскому хозяйству, просматривал непременно. Если в просмотровом зале были помощники, он поручал им собрать дополнительные сведения о тех или иных новинках техники, изобретениях, интересных людях. Увы, не всегда то, что пропагандировалось на экране, существовало на самом деле. «Кинолипа» страшно раздражала Хрущева, он воспринимал вранье как личную обиду.

Во время московских гастролей Киевского оперного театра актеры бывали на даче у Никиты Сергеевича. Вместе с ними он пел народные русские и украинские песни. Шло своеобразное музыкальное соревнование (голоса у Хрущева не было) на знание

песен редких, фольклорных. К чести украинских певцов, они почти всегда подхватывали слова самых «забытых» песен и припевок. Хрущев родился в курской деревне, долго ходил в подпасках, много, конечно, слышал в детстве южных русских народных напевов; рядом располагались украинские села. Любила петь, как рассказывали, и его мать, Ксения Ивановна; на деревенский лад она говорила не «петь», а «кричать» песню.

Перебирая сейчас в памяти черты характера Никиты Сергеевича, думая о том, что больше всего он ценил в людях, прихожу к выводу – деловитость, профессионализм, трудовое достоинство. Хрущев уважал тех, кто энергично строит жизнь, не без гордости вспоминал, что в лучшие свои рабочие годы в Донбассе получал 30 рублей золотом. Слесарь должен был обладать высокой квалификацией, чтобы его труд так высоко оплачивали. Однажды исполнилась мечта молодого Хрущева. Он подкопил денег на покупку пальто. Приехал в Юзовку, пришел в магазин. «Подскочил приказчик, – рассказывал Никита Сергеевич, – спрашивает: «Чего изволите?» Я ему про пальто, он тут же достает, поглаживает один рукав, другой. «Какое желаете, правое или левое?» Я пощупал материал, поколебался и ткнул пальцем – правое. Продавец посмеивается. Оказалось, рукава от одного пальто». Хрущев не раз приводил этот пример на разных совещаниях, когда речь шла о торговле, заканчивал обычно шутливой сентенцией: «Вот так умели торговать дореволюционные приказчики. Наш советский продавец не будет морочить голову покупателю, он ему говорит: сам выбирай».

Хрущев не был призван на военную службу в годы первой мировой войны, шахтеров в армию не брали. Жизнь в Донбассе становилась все тяжелее, вспыхивали забастовки, появились в шахтерских поселках казачьи сотни. К этому времени Хрущев уже определил свои позиции. В годы гражданской войны он был комиссаром при политотделе 9-й армии на Южном фронте. Эта армия входила в состав Первой Конной. Уже в ту пору Хрущев знал Ворошилова и Буденного. Чаще других он вспоминал комиссара Фурманова.

Помню, во время визита Никиты Сергеевича в Соединенные Штаты Америки на приеме в Лос-Анджелесе среди хозяев оказался сын купца из Ростова-на-Дону. Семью купца вышвырнули из этого города как раз те части, где служил Никита Сергеевич, и она оказалась в Америке. Когда это выяснилось, произошла некоторая заминка, а затем Хрущев, забыв о «протокольных приличиях», заявил, что не желает ни есть, ни пить рядом с «контрой», что он приехал встречаться с настоящими американцами, а не с беляками. Сына «беляка» куда-

то оттеснили, рядом с Никитой Сергеевичем посадили «настоящего американца». Инцидент дипломатично замяли. Хрущев нисколько не жалел о сказанном. Немало было случаев, когда Никита Сергеевич эпатировал общественное мнение, но люди, видевшие его в таких обстоятельствах, замечали, что за кажущейся несдержанностью проглядывал тонкий, а иногда и лукавый расчет.

Бог знает, каких только «штрихов к портрету» Хрущева не добавляют! Я прежде всего смотрю на год выпуска таких свидетельств: это многое объясняет. Хрущев, естественно, не был ангелом. Не был он и холодным политиком, не прятал взрывной сущности натуры. Особенно его раздражало пренебрежение делом и тем более притупление идеологической бдительности, как он ее понимал. Тут он бывал резким, и, случалось, никакие аргументы не могли заставить его изменить оценку человека или решение.

Теперь часто отыскиваются примеры ошибок Хрущева, его необъективности и даже самоотрицания в подходах к тому принципиальному развитию событий, которое нарастало в обществе благодаря его стараниям. Но что было, то было. Хрущеву не раз говорили, что Владимир Дудинцев в романе «Не хлебом единым» написал как раз о тех негативных явлениях, которые он, Хрущев, критикует, – это не изменило отрицательного отношения к книге. Непостижимо! Когда скульптор Эрнст Неизвестный задумывал памятник Н. С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище, он соединил в нем белый и черный камень. Ломаная черно-белая линия надгробия – зримое подтверждение того, что в этом сплетении есть правда о любом человеке, кроме разве что Христа.

Известно, что провозглашение истин – занятие более легкое, чем их поиск. Хрущев любил рассказывать анекдот о споре двух военных – полковника и генерала. Когда полковник, как говорится, припер генерала к стенке и у того иссякли все аргументы для возражений, он сделал шаг вперед и гаркнул: «Полковник, не забывайтесь!» Каждому, думаю, приходилось оказываться в положении либо полковника, либо генерала.

Нас долго отучали от демократичного сопоставления точек зрения. Трубим или помалкиваем. Заметьте, чем выше уровень обсуждающих ту или иную проблему, чем выше положение тех, кто участвует в этом обсуждении, тем реже и глуше звучит неординарное мнение. Я разговорился на эту тему с Никитой Сергеевичем, когда он был уже на пенсии. Спросил, считает ли он нормальным, что на сессиях Верховных Советов, на партийных съездах никто никому не возражает, не вспыхивают споры,

полемика. Разве то или иное решение так уж бесспорно? Что случится, если оно будет принято не единогласно? И разве не честнее сказать о своем несогласии или особом мнении, чем создавать видимость единодушия?

Хрущев долго молчал. Мы успели пройти почти километр по дорожке, а он не отвечал. Подумалось, что не хочет продолжения разговора, и я не стал повторять вопрос. И вдруг Никита Сергеевич сказал: «Партия у нас уже старая, многое в ней сложилось накрепко, не сдвинешь…»

А вот ведь сдвинулось. Мне кажется, Хрущева порадовали бы революционные перемены, которые во все большей мере определяют нашу жизнь. Мы отыскиваем истину в сложнейших вопросах идеологического, экономического, хозяйственного строительства, не боясь разных подходов. Уходит в прошлое генеральское «Не забывайтесь!».

Холодная весна

Весна 1953 года была холодной, оттепели еще не согнали снег с подмосковных полей, в лесу лежали не тронутые солнцем сугробы. Жена с сыном жили на даче Хрущева. Рада вставала ранним утром и обычно спрашивала у домашней работницы, когда вернулся отец, стоит ли ждать его к завтраку. В тот день Никита Сергеевич приехал после 12 ночи, но через два часа его вызвали снова, и он еще не возвращался. Всякое тогда приходило на ум при таких внезапных отъездах. На следующее утро радио передало правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР, Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В среду, 4 марта, это сообщение было опубликовано.

«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье – тяжелой болезни товарища И. В. Сталина.

В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания».

Бюллетени о состоянии здоровья Сталина публиковались до 16 часов 5 марта. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и

Президиум Верховного Совета СССР известили, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

Тут же печаталось медицинское заключение о болезни и смерти И. В. Сталина, сообщение комиссии по организации похорон. Гроб с телом Сталина установили в Колонном зале Дома союзов. Председателем комиссии по организации похорон назначили Хрущева Н. С., в нее вошли Каганович Л. М., Шверник Н. М., Василевский А. М., Пегов Н. М., Артемьев Н. А., Яснов М. А.

Хрущев возглавил комиссию по похоронам, но это вовсе не означало, что ему предстоит занять первый пост в партии. Гроб у изголовья несли Маленков и Берия. На траурном митинге выступали Маленков, Молотов и Берия. Все эти протокольные тонкости говорили о расстановке сил. Явно обозначился триумвират – Маленков, Берия, Молотов.

В день похорон, 9 марта, на мраморном фронтоне Мавзолея Ленина появилось еще одно имя: Сталин.

Медленно уходил траур. Дело было даже не в том, что боль утраты испытывали миллионы людей. Определяло атмосферу всеобщее беспокойство, чувство незащищенности, своего рода сиротства. Для большинства с именем Сталина связывалось особое место нашего государства на мировой арене, уверенность в преодолении трудностей, препятствий, бед. «Он все сможет, найдет единственно верное решение». Так привыкли считать, так думали, таким утвердился феномен этой личности – выше бога, ближе отца и матери, единственный в своем роде.

В один из первых дней, когда открылось посещение Мавзолея, сотрудники «Комсомольской правды» прошли к двум застекленным гробам, стоявшим почти рядом. Звезды на погонах отражались в массивных прозрачных стеклах, от чего саркофаг Сталина был более заметным, как бы притенил тот, в котором лежал Ленин. Это сложное, остро кольнувшее меня ощущение тут же ушло, но потом вновь вернулось…

Смерть Сталина не могла не поставить перед его преемниками вопроса о том, как жить и действовать дальше. Никита Сергеевич вспоминал, что в последние годы (может быть, месяцы жизни) Сталин говаривал: «Останетесь без меня – погибнете… Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Почему Хрущев вспомнил эти слова, что стояло за ними? Предупреждал ли кого-то Сталин или в какие-то минуты реальнее

представлял истинное положение дел в стране и, оглядывая свой жизненный путь, в чем-то раскаивался?.. В отчуждении к детям, в том, что после самоубийства жены он не пощадил даже тех ее родственников, к которым когда-то питал симпатию. Отчего он говорил: «Погибнете»?

Любые размышления тут могут строиться лишь на догадках. Многое в жизни Сталина было окружено тайной.

Все дни траура мы практически не уходили из «Комсомольской правды». Звонили нашим авторам, просили написать посмертные стихи или заметку в газету, готовили подборки писем. Траурные дни слились в один – бесконечный, без отсчета времени. По очереди мы пробивались ко входу в Колонный зал и брали там интервью. Запах цветов, принесенных к гробу Сталина, наполнял сырой весенний воздух. Даже теперь, через десятилетия, когда прохожу возле Дома союзов, он нет-нет да и возвращается вновь, запах тех цветов.

Земные заботы отодвинули печаль. Надо было печь хлеб, водить поезда, выпускать газеты. Через месяц после кончины вождя, точнее, 3 апреля 1953 года, в редакцию поступило известие, о котором мгновенно заговорили. Когда газета ушла в киоски, сообщение это стало обсуждаться всюду и всеми.

«Оттуда» нельзя было передать никакого указания. Гнев мертвых не пугает живых.

Врачи, которых всего несколько месяцев назад, в январе, объявили шпионами и убийцами, оказались невиновны. «Комсомолка» гудела от голосов посетителей – читателей, авторов, тех, кто всегда спешит в газету, к истоку новостей. И всех волновало не только само это потрясающее сообщение, но и то, что с непременной логикой из него вытекало: Тимашук – авантюристка и доносчица. Но ведь ее «разоблачения» кому-то были нужны? Она была награждена орденом Ленина «за помощь, оказанную правительству». Теперь справедливость восторжествовала. Люди радовались за незнакомых медиков, радовались, что это освобождало от страха и подозрительности, жизнь представлялась лучше, чище, чем всего двенадцать недель назад. Однако отмена ложных обвинений воспринималась куда шире и значительнее. За фактом признания ошибки стояла тяжелая, стыдная, но правда!

Арест организаторов провокации с врачами воспринимался как справедливое возмездие. Однако в общественном сознании не могли не возникать все новые и новые вопросы. Помнили Ягоду и Ежова, множество их «сподвижников». И прежде их арестовывали, судили и казнили. Эти люди, сделав свое дело, исчезали, чтобы дать место другим. Сколько раз это могло повторяться? Ведь не

только мы, газетчики, прятали глаза от стыда: сегодня писали одно, а завтра другое, – но и миллионы людей, которых сзывали на митинги клеймить и негодовать.

В марте 1954 года в Москву вернулся Г. К. Жуков. Его назначили первым заместителем министра обороны (министром был Н. А. Булганин). С 1946 года Жуков по приказу Сталина командовал войсками Одесского, а затем Уральского военных округов. Возвращение Жукова из Свердловска тоже кое-что значило. Георгий Константинович сразу же добился реабилитации группы военных, арестованных уже после войны. В Москву вернулись маршалы авиации А. А. Новиков и Г. А. Ворожейкин, адмиралы В. А. Алфузов и Г. А. Степанов. Они, конечно, не молчали. Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Мильчаков, отсидев полный срок в лагерях, добился встречи с Никитой Сергеевичем.

Моя жена дружила с Аллой Кузнецовой, женой Серго, сына Анастаса Ивановича Микояна. Умная, мягкая, сдержанная молодая женщина тяжело переживала арест своего отца, а затем матери, Зинаиды Дмитриевны. Кузнецов был репрессирован в 1949 году по так называемому «ленинградскому делу». Во время войны Алексей Александрович и его семья все 900 дней блокады были в Ленинграде.

Однажды Рада решилась спросить у Никиты Сергеевича о судьбе Кузнецова. Он промолчал. Через несколько дней, гуляя с ней по дачным лесным дорожкам, сказал коротко: «Передай Алле, что Алексея Александровича нет в живых».

Вся семья Микояна: он сам, его жена Ашхен Лазаревна, братья Серго – с удивительным тактом, подчеркнутым вниманием относились к семье Кузнецова, помогали Алле, ее сестрам и брату, когда были арестованы родители. Они делали все, не таясь, хотя знали, что ведут себя рискованно. Многие, увы, отказывались и от более близких родственников, а случалось, от отцов и матерей.

Алла Кузнецова долго и тяжело болела: сказывались блокадные дни. Она умерла 6 ноября 1957 года. Вернувшаяся за год до этого из ссылки Зинаида Дмитриевна на много лет пережила старшую дочь.

Неожиданно в газету хлынул поток писем-жалоб: многие города и области страны наводнили банды уголовников, рецидивистов. Люди боялись выходить из дома, требовали усилить патрулирование ночных улиц и парков. Это было последствием амнистии, объявленной после смерти Сталина. Со странной поспешностью прощение даровали отпетым,

потерявшим человеческий облик преступникам. Чуть позже стало понятным, что на самом деле скрывалось за сим «актом милосердия»…

В июле 1953 года я был далеко от дома, в Шанхае: комсомольская делегация участвовала в работе съезда Народно-Демократического Союза молодежи Китая, а затем поехала по стране. В ту пору наши отношения ничем не были омрачены. Песня «Москва – Пекин» звучала повсюду с неподдельным энтузиазмом. Последняя ночь в Шанхае выдалась тревожной. Нас разбудил настойчивый стук в дверь. Сбивчиво, как бы с извинениями, хозяева сообщали о передаче японского радио: танки на улицах Москвы, идут аресты, говорят, что убит в перестрелке Берия. Утром мы связались с советским посольством в Пекине. Посол Василий Васильевич Кузнецов успокоил, сказал, что поездку по стране надо продолжать и что при встрече даст разъяснения. В тот же день румынские друзья, наводившие справки в своем посольстве, сообщили, что об отмене Бухарестского фестиваля молодежи и студентов речи нет, он состоится вовремя, в августе. Уже в Шанхае нам стало известно, что Берия арестован и что танки действительно стояли на некоторых улицах и площадях Москвы. О том, как и что происходило, я узнал, только вернувшись из Китая…

Несколько раз я видел Берия вблизи. Слышал его выступление на торжественном заседании, посвященном 34-й годовщине Октябрьской революции. Говорил он хорошо, почти без акцента, четко и властно. Умело держал паузы, вскидывал голову, дожидаясь аплодисментов. Доклад ему составили нестандартно.

Внешне Берия – располневший, с одутловатым обрюзгшим лицом – был похож на рядового «совслужащего» 30-х годов. Шляпа обвислыми полями налезал на уши, плащ или пальто сидели на нем мешковато. Но за ординарной внешностью скрывалась натура беспринципная, хитрая и безжалостная. Берия боялись все, и было отчего. Случилось в ту пору в моей жизни несколько странных событий, значение которых я понял позже. Моя мать шила платья жене Берия. Нина Теймуразовна, агрохимик, кандидат наук, ценила талант и деловитость матери, отсутствие навязчивой услужливости. Как-то Нина Теймуразовна обронила с ноткой сожаления: «Зачем Алеша вошел в семью Хрущева?» Мать расстроилась. Мы Радой только что поженились и были, конечно, обескуражены; тем более что из МГБ Никите Сергеевичу пере дали анонимку: в ней описывалась наша «болтовня» по поводу «красивой жизни» в семье Хрущевых. Никита Сергеевич дал нам прочесть анонимку, но не

комментировал ее.

Два наших приятеля-однокурсника были однажды на даче Хрущева. Казалось диким, но сочинить эту несусветную чепуху могли вроде бы только они. В анонимке приводились подробности обстановки, детали семейных взаимоотношений, о которых никто другой знать не мог. Через много лет Никита Сергеевич рассказал, каким образом эта анонимка попала в папку «семья Хрущева». Мы с матерью тогда жили в коммунальной квартире. К нашей соседке, муж которой был арестован в 1937 году, пришел некий гражданин. Он и продиктовал донос, предупредив, чтобы женщина не болтала, если не хочет разделить судьбу мужа.

«Под колпаком» были не только квартиры, дома и семьи высших руководителей партии, правительства, вообще всех, кто интересовал Берия, но и служебные кабинеты. Однажды ночью в приемной МК партии появились высокие чины из ведомства Берия и потребовали от дежурившего секретаря В. Пивоварова ключи от кабинета Хрущева. На вопрос, с какой целью, грубо ответили, что необходимо проверить надежность сейфов и телефонных аппаратов, добавив, что секретарь не имеет права интересоваться подробностями их обязанностей: не его дело. Пивоваров наотрез отказался впустить ночных посетителей в кабинет, пригрозил вызвать хозяина. И хотя на него обрушился поток ругани, кабинет он не открыл.

Удивительное дело, но ночное происшествие не имело последствий. Пивоваров доложил о нем Хрущеву, а тот, видимо, решил смолчать.

После возвращения Никиты Сергеевича в 1949 году в Москву Берия стремился сблизиться с Хрущевым, завоевать его расположение. Случалось, поздней ночью поджидал его на шоссе по дороге на дачу, чтобы побеседовать. Если я возвращался с Никитой Сергеевичем, то приходилось пересаживаться в машину грозного человека. Усатый шофер даже головы не поворачивал в мою сторону. Сидел неподвижно, как сфинкс, и казалось, машина движется сама по себе. Пассажиры первой машины беседовали. Мне оставалось разглядывать стволы берез, мелькавших по обочинам Успенского шоссе. Березовые рощи в том районе Подмосковья такие фотогеничные, их много раз снимали в разных фильмах… Однажды я не выдержал и спросил шофера, можно ли закурить. Он не удостоил меня ответом, но как-то выразил запрещение. Может быть, движением офицерского погона с майорской звездочкой? И в самом деле, грешно было курить в автомобиле, пахнувшем свежей кожей.

По рассказам Хрущева, в дни, когда мучительно умирал

Сталин, Берия перестал сдерживать свои истинные чувства. Злобно ругал Сталина, никого не стесняясь, а когда тот на миг приходил в сознание, бросался к нему, целовал руки, лебезил. Едва наступил конец, Берия, не подойдя даже к плачущей дочери умершего, тут же умчался из Волынского, чтобы первым оповестить друзей и приспешников. «Я сказал тогда Булганину, – говорил Никита Сергеевич, – как только Берия дорвется до власти, он истребит всех нас, он все начнет по новому кругу…»

Берия давно уже заигрывал с теми, кого считал нужным нейтрализовать, усыплял бдительность тех, кто относился настороженно к его персоне, ставил на руководящие должности в органах внутренних дел своих людей, начал вмешиваться в дела обкомов партии, покрикивать на тех секретарей, которые требовали указаний ЦК и не хотели подчиняться распоряжениям бериевского аппарата. Первый секретарь Львовского обкома партии Зиновий Тимофеевич Сердюк доложил Хрущеву, что в ответ на его, Сердюка, возражения Берия крикнул в телефонную трубку: «Да я тебя в лагерную пыль сотру!»

Хитрый ход придумал Берия с амнистией после смерти Сталина. Она касалась больших групп заключенных. Берия беспокоило, что он уже не властен автоматически продлевать сроки заключения тем, кто был отправлен в лагери в годы массовых репрессий и свое отбыл. Они возвращались по домам и требовали восстановления справедливости. А Берия было крайне необходимо вновь отправить в ссылку неугодных, задержать оставшихся там. Тогда-то и начали выпускать уголовников и рецидивистов. Они тут же принялись за старое. Недовольство и нестабильность могли дать Берия шанс вернуться к прежним методам.

Нина Петровна как-то рассказывала о поездке Хрущева летом 1952 года на Кавказ. Отдыхал там и Берия. Он, конечно, приехал к Хрущеву. Пригласил посмотреть Абхазию. Поднялись на перевал, устроили завтрак на смотровой площадке неподалеку от Сухуми. Синее море, золотая долина внизу. Берия раскинул руки и проговорил: «Какой простор, Никита. Давай построим здесь наш дома, будем дышать горным воздухом, проживем сто лет, как старики в этой долине». Никита Сергеевич спросил: «А стариков куда денем?» Спросил как бы вскользь, без упрека. Берия тут же, не задумываясь, ответил: «А переселим куда-нибудь…»

Проверял ли Берия настроения Хрущева? Или хотел в свой срок обвинить в безнравственности, настроить против него абхазцев? Нина Петровна рассказывала, что Никита Сергеевич вернулся домой взбешенный.

На чем основано мое убеждение в том, что именно Хрущев

принял твердое решение обезвредить Берия, не дать ему возможности захватить власть? Не только на рассказах самого Никиты Сергеевича, который, когда эти тревожные недели миновали, не раз вспоминал, что и как происходило; хотя это и важное свидетельство. Не могли не видеть близкие, что перед самым арестом Берия Никита Сергеевич вдруг появлялся на даче в разгар рабочего дня и к нему в разные часы приезжали Молотов, Ворошилов, Маленков, Булганин, Микоян. Обычно Никита Сергеевич надолго уходил с приехавшим товарищем к реке.

Рассказывал Хрущев и о реакции на его предложение.

Все высказывались за арест. Важно было согласие Маленкова и Молотова – позиция первого беспокоила Никиту Сергеевича. За многие годы Маленков и Берия притерлись друг к другу. Но Маленков был тверд, сказал, что объявит на заседании Президиума ЦК об аресте Берия. Никита Сергеевич вспомнил, что, когда он начал разговор с Ворошиловым, тот поначалу стал расхваливать Берия. Когда же выслушал Никиту Сергеевича, расплакался. Он-де считал Хрущева чуть ли не другом Берия, видел, как тот обхаживает Никиту Сергеевича, и просто боялся за себя. Ворошилов готов был сам арестовать этого авантюриста.

Есть еще одно обстоятельство, которое важно своими последствиями. Хрущев после смерти Сталина не был избран Первым секретарем ЦК. Как член Президиума ЦК, Хрущев возглавлял работу секретариата, однако в центре политического руководства страной стояли Маленков, Берия, Молотов. Они возглавляли и Совет Министров СССР.

К кому стремились старые коммунисты, большевики-ленинцы, вырвавшиеся из ссылок? Где, у кого рассчитывали найти понимание, поддержку, а главное, опору в своих убеждениях? У Маленкова, Молотова, которые работали рядом с Берия? Люди пробивались в ЦК. Там сосредоточивались чрезвычайно важные сведения, и Хрущев из первых уст узнавал подробности гибели многих коммунистов, в том числе и многих товарищей, которых знал лично.

Понимал, конечно, что может его ожидать при аресте Берия. Необходимо было проявить максимум выдержки до самого последнего момента. Осведомители Берия могли проникнуть всюду. Хрущев пошел на более рискованный шаг. Еще по Украине он знал Серова, заместителя Берия. Видимо, объяснился и с ним. Серов сдержал слово, и бериевских сторонников в МГБ изолировали. Оставляю в стороне мотивы, по которым он это делал, во всяком случае, важная часть рискованной операции была им выполнена.

Существенно было и то, что Никита Сергеевич получил полную поддержку армии.

На одном из заседаний Президиума ЦК, после того как Берия высказали все, что о нем думают, Маленков нажал кнопку звонка. Вошла группа военных. Маршал Жуков и генерал Москаленко объявили Берия, что он арестован. Берия рванул руку к портфелю, лежавшему на подоконнике. Хрущев выбил портфель, думал, что там оружие. Портфель оказался пустым.

Состоявшийся Пленум ЦК вывел Берия из своего состава, исключил из партии. Его лишили наград и званий, он стал подследственным. Охрана Берия даже не увидела, как хозяина увезли в штаб Московского военного округа, где Берия под усиленной охраной должен был дожидаться суда и приговора. Танки вернулись в свои части.

Не только личную смелость проявили в те дни Хрущев и другие. Это – рубежный для нашей истории поворот.

Каких только небылиц не рассеяла по миру пресса! Утверждалось даже, что «Берия убит без суда и следствия прямо в автомобиле».

В те же дни наши газеты сообщили об образовании Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР в составе: Председателя – маршала Советского Союза И. С. Конева, членов – председателя Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Н. М. Шверника, первого заместителя председателя Верховного Суда СССР Е. Л. Зейдина, генерала армии К. С. Москаленко, секретаря Московского областного комитета КПСС Н. А. Михайлова, председателя Совета профессиональных союзов Грузии М. И. Кучава, председателя московского городского суда Л. А. Громова, первого заместителя министра внутренних дел СССР К. Ф. Лунева.

Следствие продолжалось несколько месяцев. Судебный процесс проходил при закрытых дверях.

Руки Берия обагрены кровью тысяч невинных. В Азербайджане и Грузии он планомерно уничтожал всех, кто так или иначе мог знать о его связях с мусаватистами, подробности его биографии, путь наверх через трупы видных деятелей партии в Закавказье. Перебравшись в Москву, вначале в качестве заместителя Ежова, а затем и полновластного хозяина НКВД, он стал рьяным исполнителем и организатором массовых репрессий 1937–1939 и всех последующих годов. Он знал, что это угодно Сталину.

В конце декабря Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР, изучив представленные Прокуратурой

СССР материалы и заслушав обвиняемых, приговорило Берия Л. П. как врага народа и партии и его главных подручных к высшей мере наказания – расстрелу. 23 декабря 1953 года приговор был приведен в исполнение. Берия успел отправить письмо в ЦК Хрущеву. Он просил о пощаде, просил дать возможность искупить вину в каких угодно каторжных условиях…

Наступит когда-нибудь время, и десятки томов дела Берия будут преданы огласке. Не берусь утверждать, как скоро это произойдет. Уж слишком многое легло в это дело – подноготная массовых репрессий, которые потрясали страну еще с конца 20-х годов.

Когда Берия понял, что дни его сочтены, что суд будет безжалостным, а он, опытный на сей счет человек, понял это довольно скоро, молчать и запираться стало бессмысленным. Логика вела его к единственной цели: связать свои действия со Сталиным и другими. Разделить вину на всех. По-своему он имел на это право: ему нечего было терять и незачем выгораживать других.

Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Микоян, Булганин да и Хрущев – разве они не обнимались с ним, не лебезили, не похлопывали дружески по плечу, отводя от себя возможную грозу? Разве не знали, что он обыскивает их кабинеты, что не без его участия их жены, дети, дальние и близкие родственники сидят в тюрьмах, отбывают сроки в ссылках, как заложники?

Хрущев рассказывал, что уже в годы войны Сталина явно раздражало присутствие на даче, в Волынском, «шашлычных полковников», тех, кто поджаривал для него на костре кусочки баранины. Зло поглядывая в их сторону, Сталин каждый раз задавал один и тот же вопрос: «Откуда мясо?» Ему отвечали: с базы. «База, база, – раздражался Сталин. – Где нашли такой город – База, где он расположен?!»

Замолкал, довольный тем, что унизил своих сатрапов.

В самом начале 50-х услужливые полковники внезапно исчезли, а на их месте появились новые, назначенные уже без ведома Берия. Правда, Сталин подозревал и своих собственных выдвиженцев-охранников, тоже считал их доносчиками.

Уже перед самой кончиной Сталин отдал распоряжение: ввести в состав органов госбезопасности группу молодых партийцев.

Двух из них я хорошо знал. Николай Месяцев и Василий Зайчиков получили в органах высокие генеральские звания и должности следователей по особо важным делам. Ни тот ни другой не рассказывали мне, какие особые дела приходилось им

вести, но Месяцев как-то поделился такой подробностью. Во время визита к Сталину он докладывал ему нечто секретное. Они шли по парковой дорожке, а впереди двигался охранник. Вдруг Сталин резко дернул Месяцева за рукав. «Придержи шаг, – сказал он, – этот тип нас подслушивает. – Он кивнул в сторону охранника. – Бериевский шпик. Если их боюсь я, как же другие?!»

В то время, когда шел суд над Берия, я рассказал Хрущеву об этом эпизоде. Никита Сергеевич посчитал его важным, и Месяцев выступил на судебном заседании в качестве свидетеля.

Сталин боялся Берия? Невероятно! Думаю, что все-таки это была игра. Как говорится, роковая. Оба зорко наблюдали друг за другом, и каждый ждал своего часа.

Сталинские застолья в Волынском вел обычно Берия. Хозяин стола на грузинский лад назначил его постоянным тамадой, именуя прокурором. Тамада-прокурор выполнял свою роль с явным удовольствием: кого-то заставлял выпить завышенную норму спиртного, кого-то с издевкой поддразнивал… Сталин зорко наблюдал за реакцией и не вмешивался в дела тамады, проверяя покорность гостей.

Светлана Сталина описала эти застолья у отца, уж она-то знала, как они проходят. И Хрущев изредка делился своими воспоминаниями на этот счет, рассказывал, с каким сладострастием унижал Берия в присутствии Сталина многих участников обедов и ужинов.

Случалось, после трапезы начиналось «веселье». Сталин подходил к радиоле, ставил пластинку. Любил русские и грузинские песни. Первым пускался в пляс Микоян и все танцевал на манер лезгинки – и русскую «барыню», и украинский гопак. Притоптывали и другие – Ворошилов, Каганович, Булганин, Маленков.

Сталин тоже передвигал ногами и руками. «А я сидел сиднем, – вспоминал Хрущев. – Не потому, что не хотел, настроение было хорошее, а просто не умел передвигать ногами, а то пошел бы в пляс». Появлялась Светлана, отец и ее заставлял плясать. Если отказывалась, мог грубо потащить в круг: «Танцуй!»

Когда затевался такой общий хоровод и общее пение, Хрущев, как говорится, не портил компанию, а вот на требование Берия выпить лишнего или запеть соло – отнекивался. «Я отказывался, а Сталин поглядывал на меня и на Берия, ждал, чем все это кончится, – говорил Хрущев. – Берия видел, что я не сдамся, и отставал от меня, чувствовал, что Сталину нравится мое упрямство…»

По логике тогдашней жизни у Берия был единственный шанс уцелеть – пережить вождя. Проживи Сталин дольше, он

непременно уничтожил бы Берия. Как поступил уже с Ягодой и Ежовым. Близился час, когда Берия должен был стать козлом отпущения. И все, что сотворил Сталин с собственным народом и партией, пало бы на голову его первого подручного – тамады-прокурора.

Бериевский особняк находился на углу Садово-Триумфальной и улицы Качалова, неподалеку от высотного здания на площади Восстания.

Собственно, на Садовое кольцо и на улицу Качалова выходит высокий каменный забор, из-за которого даже не видно приземистого дома. Проходя мимо забора, москвичи прибавляли шаг и помалкивали. В те времена каждого провожал тяжелый взгляд наружных охранников.

Однажды, в 47-м году, я был там на помолвке сына Берия – Серго. Он женился на красавице Марфе Пешковой, внучке Алексея Максимовича Горького. И Марфа, и жених держали себя за столом сдержанно, да и гости не слишком веселились. Пожалуй, только Дарья Пешкова, младшая сестра Марфы, студентка театрального училища имени Щукина, чувствовала себя раскованно.

Чуть позже в этом же доме поселилась любовница Берия – семнадцатилетняя Л., родившая ему дочь. Нина Теймуразовна терпела ее присутствие: видимо, иного выхода не было. Рассказывали, что мать Л. устроила Берия скандал, отхлестала его по щекам, а он стерпел. Не знаю, было ли так на самом деле, однако девица чувствовала себя в особняке прекрасно, и мама, видимо, тоже смирилась.

Я часто встречаю ее, теперь уже немолодую, но до сих пор обворожительную блондинку, и всякий раз думаю: вполне соединимы любовь и злодейство.

Когда Берия расстреляли, Серго и Нина Теймуразовна написали письмо Хрущеву. Оно тронуло Никиту Сергеевича. Он поверил Серго и Нине Теймуразовне. Они писали, что случившееся – закономерно. Они не знали, конечно, многого, но они видели, что этот человек катится в пропасть и что в ту же пропасть они вынуждены были катиться вместе с ним.

Через какое-то время произошла детективная история – отголосок недавних лет, – ставшая известной узкому кругу лиц.

Николай Александрович Булганин, в ту пору Председатель Совета Министров СССР, вернулся со службы домой, и его жена, Елена Михайловна, обрадованно сказала: «Коля, мы выиграли 100 000 рублей». Надо же такому случиться: Председатель Совета Министров выигрывает самую крупную сумму, которая

разыгрывалась в займах! Николай Александрович позвонил на службу и приказал привезти ему облигации данного займа. У Елены Михайловны были записаны только номера и серии облигаций, а сами они хранились в сейфе служебного кабинета. Однако, когда проверили облигации, той, которая значилась в газете счастливой, в пачке не оказалось.

Булганин тут же позвонил Хрущеву и рассказал о странной пропаже. Никита Сергеевич порекомендовал сообщить по всем сберегательным кассам, чтобы задержать предъявителя. Через несколько дней в сберкассу на улице Горького явилась женщина. Ее поздравили с выигрышем, сказали, что день-два уйдет на экспертизу, так положено, а затем ей выплатят деньги. Назначили срок, когда прийти. Когда женщина явилась, ее задержали. Она призналась, кто дал ей облигацию, назвала фамилию, имя и отчество человека. Тут же было установлено, что это помощник Маленкова. Но как она попала к нему? Скоро все прояснилось. После ареста Берия именно помощнику Маленкова поручили составить опись всех предметов, хранящихся в многочисленных сейфах. Работа заняла у него не один месяц. Чего только не было в тех сейфах: косметика, отрезы тканей, драгоценности, рулоны картин выдающихся мастеров живописи, конфискованные в свое время у арестованных, оружие. Один из сейфов был туго набит облигациями. Помощник Маленкова признался, что, когда он переписывал час за часом, день за днем тысячи облигаций, его черт попутал. Несколько пачек бериевских, то есть теперь уже как бы ничьих, облигаций он сунул себе в карман. Одна из них и оказалась выигрышной. Но одновременно и дважды уворованной.

Читатель, вероятно, помнит, как однажды бериевские молодчики хотели проверить ночью кабинет Хрущева, но его секретарь не пустил их туда. Подобные визиты в другие кабинеты проходили более гладко. Бериевские охранники, проверявшие телефоны, сейфы и кабинеты членов Политбюро ЦК партии, конфисковывали для своего хозяина из этих сейфов все, что попадало под руку, в том числе пачки облигаций.

Такие вот «игры» происходили в сталинском окружении.

Я хорошо запомнил странную фразу, брошенную однажды Ворошиловым на даче в Крыму, когда там отдыхал Хрущев. Было это летом 1958 или 1959 года. Ворошилов приехал в предвечерье, погуляли, полюбовались закатом, сели ужинать. Ворошилов, как это с ним случалось, проглотил лишнюю рюмку горилки с перцем: он весьма жаловал забористый украинский напиток. Лицо покраснело, так и казалось, что его хватит апоплексический удар. И вдруг он положил руку на плечо Никиты Сергеевича, склонил к нему голову и жалостливым, просительным тоном

сказал: «Никита, не надо больше крови…» Все поняли, о чьей крови он говорит. Отчего-то беспокоила Климента Ефремовича казнь человека, которого он ненавидел! В деле Берия могли быть страницы, не украшавшие самого Ворошилова.

Доклад Хрущева о Сталине на XX съезде партии зачитывался на собраниях трудящихся. Я слушал его много раз, читал, когда бывал за границей: там его издали довольно быстро. В докладе приводится телеграмма, проясняющая отношение Сталина к пыткам заключенных. Я запомнил ее наизусть и на всю жизнь. «ЦК ВКП(б) проясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено ЦК ВКП(б)… Известно, что все буржуазные разведки применяют методы физического воздействия против представителей социалистического пролетариата и притом применяют эти методы в самой отвратительной форме. Возникает вопрос: почему социалистические органы государственной безопасности должны быть более гуманными по отношению к бешеным агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников?

ЦК ВКП(б) считает, что методы физического воздействия должны как исключение применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа и рассматриваться в этом случае как допустимый и правильный метод. 20 января 1939 года».

Бросилось в глаза поразительное созвучие с теми «руководящими» документами, на которых я должен был основываться, когда в 1953 году писал в «Комсомольской правде» передовую статью о бдительности в связи с арестом врачей. Удивительное стилистическое и смысловое повторение. Аргументы маньяка. Телеграмма была разослана в 1938 году, после ликвидации Ежова; тогда считалось, что репрессии пошли на убыль.

В октябре 1941 фашистские войска стояли под Москвой. На счету был каждый солдат и каждый командир. Центральный аппарат НКВД эвакуировался в Куйбышев. Туда же отправляли и подследственных. Над Москвой стлался едкий дым, летели черные хлопья сжигаемых документов, но этот список не подлежал утрате. Журналист Аркадий Ваксберг разыскал его в архивах. Документ потрясает своей жестокостью и бессмысленностью. В нем поименованы 25 человек. Выдающиеся военачальники, так необходимые обороне Москвы: помощник начальника Генерального штаба, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Я. В. Смушкевич; начальник управления ПВО, Герой Советского Союза, генерал-полковник

Г. М. Штерн; заместитель наркома обороны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации П. В. Рычагов; заместитель наркома обороны, командующий войсками Прибалтийского военного округа, генерал-полковник А. Д. Локтионов; заместитель начальника Главного артиллерийского управления НКО СССР Г. К. Савченко, начальник этого управления С. О. Склизков, начальник военно-воздушной академии генерал-лейтенант Ф. К. Арженухин, заместитель начальника управления вооружений Главного управления ВВС И. Ф. Сакриер, Герой Советского Союза генерал-майор авиации И. И. Проскуров, артиллерийский конструктор Я. Г. Таубин, и многие другие.

Что ожидало этих людей?

«Акт. Куйбышев. 1941 год, октября 28 дня, мы, нижеподписавшиеся, согласно предписанию Народного комиссара внутренних дел СССР, генерального комиссара государственной безопасности тов. Берия Л. П. от 18 октября 1941 года за № 2756/Б, привели в исполнение приговор о ВМН (высшая мера наказания) – расстрел в отношении следующих 20 человек осужденных…» Среди расстрелянных – Г. М. Штерн, А. Д. Локтионов, Я. В. Смушкевич, Г. К. Савченко, П. В. Рычагов, И. Ф. Сакриер и другие…

Они погибли в бериевских застенках.

А под Москвой в эти дни чаша весов замерла. Маршал Г. К. Жуков, когда его спросили о самом памятном и тревожном сражении войны, ответил, что это битва под Москвой: там проходил роковой рубеж.

Ворошилову было что вспомнить во время суда над Берия.

Есть в деле Берия еще одна страшная история. Она связана с Николаем Ивановичем Вавиловым, замечательным ученым, генетиком, которого при жизни называли гением. Вавилова арестовали летом 1940 года, в то время когда он объезжал земли солнечной Буковины. Арестовали прямо в дороге. Остановили запыленный автомобиль и пересадили в другой, который увез его навсегда.

За день до этого Николай Иванович написал письмо сыну. Последнее. Несколько вполне спокойных строк о том, как он познает философию Карпат, как трудно с передвижением. Скоро он надеялся быть дома.

Это не сбылось. Лысенко и его приспешники перевели научный спор о генетике в политическое русло. Сталин, которому всюду мерещились шпионы, приказал арестовать Вавилова. Особое совещание проштамповало приговор: «смертная казнь».

Потянулись страшные месяцы в Бутырской тюрьме. Вавилов писал Берия, но не получал ответа. И вот однажды, уже в

сентябре 1941 года, Нина Теймуразовна обратилась к мужу с просьбой принять академика Прянишникова. Она была его ученицей – агрохимиком, кандидатом наук, понимала, конечно, какой дикой несправедливостью было осуждение Вавилова.

Берия встретился с академиком. Свидетели тех лет рассказывали, что Прянишников вернулся с приема подавленным. Берия ничего не пообещал. Правда, Вавилова вызвали на новую серию допросов, но тут подошел октябрь 1941 года. Фашисты стояли у стен Москвы. Вавилова спешно этапировали в Саратов. Начальник тамошней тюрьмы сказал заключенному, что никаких указаний на его счет не получал, приговор остается в силе…

Почти два года в ожидании смерти. Он пишет новые письма, и в них одна мольба – дайте работать. Все без ответа. Направляет просьбу о помиловании Калинину. Он так и не узнает, что Всесоюзный староста «выпросил» его голову у Сталина. Смертную казнь заменили на двадцатилетнее заключение. Но до узника весть эта не дошла. В январе 1943 года Вавилов умирает от болезней и истощения. Неизвестно, где его могила. Лишь много позже, уже после XX съезда, на Саратовском кладбище обозначат плитой условное место его захоронения.

Трагически пересеклись на саратовской земле линии жизни и смерти Николая Ивановича. Сюда, в этот город, в 1920 году он написал письмо Елене Ивановне Барулиной, своей будущей жене. В нем есть пронзительные строки: «Милая Лена, сегодня приехал в Москву и получил твое первое письмо. Оно было мне так нужно… Для того чтобы любовь была крепка и сильна, надо знать друг друга, понимать.

Мне хочется многое сделать. Ты пойдешь вместе, и я счастлив иметь самого милого близкого друга. Иногда, как теперь, я чувствую, что смогу сделать что-нибудь. Счастье дает мне силу. И я давно не был так счастлив. Твой Н. В.»

Елена Ивановна разрешила опубликовать это письмо только после ее смерти. Я был одним из тех, кто читал эти строки в оригинале, спустя почти семьдесят лет, после того как они были написаны.

Елена Ивановна эвакуировалась с сыном в Саратов в 1941 году. Из окна их комнаты была видна тюрьма.

«Мать не могла простить себе, – рассказывает Юрий Николаевич, – как сердце не подсказало ей, что Николай Иванович рядом…»

Когда Ленинград освободили от блокады, мать и сын вернулись в этот город. Им помог добраться туда Сергей Иванович Вавилов, родной брат Николая Ивановича. Через некоторое время Сталин санкционировал избрание

С. И. Вавилова, видного физика, на пост президента Академии наук СССР. Тот согласился. Ничего не спросил о брате. Смирился.

В 1948 году в адрес нашей академии пришло письмо из Англии от Генри Г. Дойла, занимавшего пост Президента Королевского общества Великобритании в 1940–1945 годах. Он сообщал о своем отказе от звания почетного иностранного члена Академии наук СССР, так как Королевское общество не получило никаких сведений о Н. И. Вавилове. В Англии стало известно, что он пал жертвой беззакония.

После казни Берия моя мать очень жалела Нину Теймуразовну. Та когда-то спросила Нину Матвеевну: «У вас одевались жена Ягоды, жена Ежова, многие другие женщины, разделившие судьбу мужей. Теперь вы выбираете наряды для меня. Не страшно ли вам?»

Мать смолчала. Она не любила таких разговоров. Я знаю, что она радовалась тому, что Нина Теймуразовна и ее сын Серго получили возможность спокойно жить и работать.

Те десять лет

Год 1953-й шел к концу. В сентябре состоялся Пленум ЦК партии, на котором остро и правдиво была проанализирована экономическая ситуация в стране, состояние дел в сельском хозяйстве. Хотя на XIX съезде партии проблема зерна была объявлена решенной, закупки зерна не покрывали потребности страны, в особенности это сказывалось на развитии животноводства. С 1940 по 1952 год промышленная продукция выросла в 2–3 раза, а валовая в сельском хозяйстве – всего на 10 процентов.

В докладе Хрущева отмечалось, что рост производства зерна сдерживается отходом от принципа материальной заинтересованности – основного принципа социалистического хозяйствования.

Хрущев напомнил важную мысль Владимира Ильича Ленина о том, что для перехода к коммунизму потребуется долгий ряд лет и что в этот период хозяйство нужно строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, личной заинтересованности, на хозяйственном расчете».

На этом же пленуме Хрущев был избран Первым секретарем.

В январе 1954 года Хрущев в записке в Президиум ЦК КПСС назвал цифры хлебных ресурсов.

На конец 1953 года хлеба было заготовлено не только меньше, чем в 1951 и 1952 годах, но и меньше, чем в 1940-м, а расход его увеличился более чем в полтора раза. Без необходимого количества хлеба невозможно было думать о дальнейшем успешном развитии всего народного хозяйства. Зерновая проблема обозначилась под № 1.

В записке обосновывалось предложение взять хлеб на целинных и залежных землях Казахстана, Сибири и ряда других районов. Так впервые в политическом документе появилось слово «целина».

Газетные страницы. Первые уроки

Поворот, который страна начинала в ту пору, не мог не привести к переменам в журналистике. Главное в нашей жизни – дорога. Знаю по собственному опыту и по опыту моих товарищей. Самые непоседливые репортеры проводят в командировках по сто дней в году – из самолета в самолет, из поезда в поезд. В наши

дни комфорт выше, а в 50-х годах, когда еще не было аэропортов в Домодедове и Шереметьеве, брони на гостиницы, да и гостиницы чаще оказывались «домами для приезжих» – жизнь и труд журналиста проходили в нелегких условиях. Но главная беда – не бытовые проблемы, а запреты.

Смешно и грустно вспоминать, но нам не всегда удавалось «пробить» на газетную полосу даже заметку о пожаре, наводнении, не говоря уже о более существенных происшествиях. По газетам выходило, что не случались у нас железнодорожные и авиационные катастрофы, не тонули пароходы, не было взрывов на шахтах, автомобили не наезжали на пешеходов, снежные лавины не обрушивались на горные села, а селевые потоки не угрожали городам.

Да что там начало или середина 50-х – даже в 60-х публикации о катастрофах не поощрялись. Уже работая в «Известиях», в какой-то день я узнал от сотрудников, что под Москвой столкнулись электричка и товарный состав. Какие только слухи не возникали! 200 убитых! 300! В Министерстве путей сообщения подтвердили, что столкновение было, погибли два человека. Редакция направила на место происшествия репортера, он все уточнил, но заметка так и не появилась в газете. Публиковать ее без разрешения МПС мы не имели права, а там заявили примерно следующее: «Ни к чему! Кто знает – тот знает, кто не знает – не узнает. Вы напишете, что погибли два человека, а все именно поэтому и будут считать, что жертв куда больше». Высокопоставленный путеец знал, что газетные строки многие привыкли расшифровывать по-своему. Если мы писали, что фильм дрянной, на него выстраивались очереди, и наоборот.

Только через правдивую прессу может каждый, в том числе и люди, облаченные высшими полномочиями, видеть и узнавать, как на самом деле обстоят дела в государстве. Но пресса «подвижна». Велика ее способность выстраивать мир иллюзий.

Часто нам приходилось волей-неволей пользоваться означенным приемом: смягчать, тушевать, переводить имена и факты в обезличку: «Наблюдаются случаи…», «Имеет место…», «По-видимому, не все поняли…» и т. д. А тут еще непременный «императорский» стиль изложения: «мы увидели», «нам показалось», «мы подумали». Само это «мы» отпугивало от резких слов, поскольку правда об одном недостатке, одном дураке или мерзавце автоматически приобретала характер обобщения. В самом деле, как это можно написать «мы увидели дурака»? Кто «мы» и почему только что увидели? Шутки шутками, а ведь сотрудник газеты не писатель. Вернувшись с задания, журналист обязан тут же «соорудить» корреспонденцию, статью или очерк,

он не может отложить на двадцать лет публикацию своего произведения, дожидаясь лучших времен.

Картинки нашей идеальной жизни создавались неспроста. В том числе и на газетных полосах. Бесконфликтные ситуации были удобны. Во-первых, потому что люди, дескать, работали с большим оптимизмом, а во-вторых, безгрешными, сильными, умными оказывались те, кого «табу» на правду спасало от критики.

Приходилось переучиваться и нам. Однако не все обновляется так быстро, как хотелось бы. И не так заметно глазу. Есть у Алексея Максимовича Горького очерк о бризантном взрыве. Горький приехал на Днепр в тот день, когда там предстояло ликвидировать каменистые пороги, мешавшие строительству электростанции и судоходству. Молоденький инженер предупредил писателя, чтобы тот внимательно смотрел на реку, потому что сейчас скальные зубья уйдут под воду и Днепр перестанет клокотать и пениться. Горький ждал, что услышит взрыв, увидит, как взлетят в воздух камни и фонтаны брызг, но ничего такого не произошло. Что-то глухо ухнуло, волна сделала последний крутой поворот и, успокоившись, слилась с плавным движением вод. Прибежал радостный, взволнованный инженер, спросил: «Ну как?» – а Горький, недоумевая, ответил, что впечатлений никаких, поскольку он, собственно, ничего не заметил. Инженер объяснил, что весь секрет в бризантном взрыве. Взрывчатка закладывается под самый корень скал, к тому ложу, на котором они покоятся. Это позволяет избежать лишней траты энергии, и хоть внешне неэффектно, зато надежно: разом ликвидируется все, что мешает делу. Горький тогда подумал: вот если бы и в общественных отношениях можно было очистить жизнь от всей дряни, всех наростов таким вот бризантным взрывом, как было бы прекрасно.

Страницы «Комсомолки» становились живее и человечнее, завязывались дискуссии, шире использовали письма, и, пожалуй, мы первыми начали публиковать острые очерки на морально-этические, нравственные темы. Читатели старших поколений до сих пор вспоминают фельетон Ильи Шатуновского «Плесень». В нем шла речь о двойной жизни, двойной морали, словах и их сущности.

В Доме работников искусств состоялось обсуждение фельетона и разгорелись такие страсти, что кое-кто из ответственных товарищей готов был обвинить выступающих чуть ли не в посягательстве на «основы». Поразительно живуча эта охранительная бдительность, стремление свернуть мысль, довольствоваться молчанием. Позже, в 1958 году, когда открыли

памятник Маяковскому и там стала собираться молодежь, читали стихи, первым желанием тоже было запретить, вызвать милицию. Забыли, как Маяковский любил диспуты, как выходил в них победителем. В идейной борьбе надо побеждать не окриком, а аргументом.

Мы в газете, не без ошибок и споров, учились демократии. Это было нелегко по многим причинам. Наше поколение воспитывалось на указаниях. За их черты, если того требовало дело, надо было выходить во всеоружии. А мы мало что знали даже о «Комсомолке» первых лет ее существования; газета боевых 30-х жила только в памяти немногих уцелевших, в преданиях. Мы не могли опереться на опыт старших товарищей. О них в редакции говорили шепотом.

Репрессий конца 30-х годов не избежали комсомольские кадры и журналисты молодежной прессы. Еще до ареста в 1938 году Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева (он был расстрелян в феврале 1939-го) забрали его друга, Владимира Бубекина, главного редактора «Комсомольской правды». Когда я стал «главным» в «Комсомолке», пришел мой черед занять кабинет Бубекина. За спиной у меня едва различалась дверца в панели, и я нет-нет да и «проигрывал» в воображении тот день, когда Бубекин исчез из редакции.

Здание комбината издательства «Правда», в котором и сегодня размещается редакция «Комсомольской правды», было построено по проекту архитектора П. А. Голосова. В торцовой части всех этажей маленькие лифты выходили прямо в кабинеты сотрудников. Никто этими лифтами никогда не пользовался, многие даже не знали об их существовании. В кабинете Бубекина ореховые панели и вовсе скрыли дверцу. В один из вечеров секретарь «главного» Тоня Пустынова понесла на подпись Бубекину очередную готовую полосу (завизированную газетную полосу отправляют в цех на матрицирование); в кабинете его не оказалось. Искали повсюду, но тщетно. Началась паника: некому было подписать номер в печать. Пустынова утверждала, что ни на минуту не отлучалась, что главный из кабинета не выходил. Дежурные звонили по разным телефонам, но тут раздалось позванивание «большого» аппарата на столе «главного». Было сообщено: «Не ищите Бубекина, он у нас». В кабинет к нему вошли из неприметного лифта. Рассказывала это нам Дуся Михеева, которая пришла работать в «Комсомолку» в 1938 году и была секретарем многих главных редакторов газеты.

К ним попал не только Бубекин, а почти вся редколлегия «Комсомолки», многие прекрасные репортеры. Только в середине 50-х восстановлены их имена, начал возвращаться их опыт. Еще

очень медленно…

Естественно, что мы хотели знать, как строилась жизнь наших товарищей, хотели узнать о многом. Какая цена и за что заплачена, в чем объективные трудности, а где – иного порядка. Это – желание каждого мыслящего человека, если он всерьез считает себя ответственным за общее дело. Недомолвки и умолчания опасны по крайней мере по двум причинам: они освобождают от ответственности (в том числе исторической) и приводят к прежним заблуждениям и ошибкам. Повторять ошибки, натыкаться на «горячее» и не помнить об этом простительно только детям.

Разве может позволить себе сапер написать: «По-видимому, мин нет». Это абсурд. Но почему не абсурдным кажется утаивать что-то в явлениях и процессах, где неосторожный, неосмотрительный шаг не менее страшен, чем на заминированном поле? Когда Сталин навязал стране и партии свою концепцию строительства социализма, он отрезал прошлое, ибо оно не вписывалось в рамки принятых им политических, экономических и социальных взглядов. Почему надо непременно держаться этого правила?

Сегодня мы больше, чем когда-либо, понимаем, что любые действия любого человека не могут оцениваться вне свободного критического осмысления. Понимаем, как проигрывает общество, отдавая одному лицу право бесконтрольных решений. Нам долго не хватало культуры в осмыслении тех или иных политических событий, в том числе и по отношению к людям в политике.

Как уже говорилось, сентябрьский Пленум ЦК 1953 года остро поставил хлебную проблему. Газетчики знали, как на самом деле обстоят дела в колхозах, знали, что во многих хозяйствах на трудодень ничего не выдавали и крестьяне сводили концы с концами изнурительным трудом на личных делянках. Хрущев не без горечи говорил, что когда летом 1950 года он объезжал подмосковные колхозы, то застал в одном из них 12 немощных старух, а назывался колхоз «Новая жизнь». Что же, Хрущев не знал этого раньше? Разве все мы не понимали, что до того благополучия, которое рисовалось усилиями многих, в том числе и газетчиков, ох как далеко? Помню, как в 1952 году потряс всех правдой и смелостью своих «Районных будней» Валентин Овечкин. Ведь в те годы написать такое решались не многие литераторы. Михаил Ульянов рассказывал, как тяжело выходил на экраны фильм «Председатель», а было это уже после XXII съезда партии. Пугали авторов возможным наказанием. Увы, пугают еще и сегодня…

Кто? Зачем это нужно? Кому сладка неправда, ведь рано или

поздно она оборачивается бедой.

Чаще всего это что-то неуловимое – инструкция, мнение, брезгливое выражение лица, поднятые вверх брови, росчерк карандаша. Не поймаешь на слове, не схватишь за руку. В такой «неуловимости» – главная сила бюрократа.

В 30-е годы, мальчишкой, узнал я, что такое голод. Хлеба в городе Самарканде, где я жил, совсем не было. Рынок пустовал. Гонимые голодом, мы, мальчишки, убегали за город, ловили там черепах, тут же на кострах варили черепашьи яйца, смешивая желтки в консервных банках. Начались кишечные заболевания, милицейские кордоны опоясали город и возвращали ловцов черепах родителям под расписку.

Следы страшного опустошения видел я позже, когда перед войной работал в геологоразведочной экспедиции в Казахстане. Мы искали оловянную руду – касситерит в междуречье Иртыша и Ишима, колесили по бурой, выжженной степи на грузовичке в районах Аягуза, Кокчетава, Семипалатинска, возле районных центров Кара-аул, Баян-аул. Часто приходилось шурфовать русла пересохших речушек. Шурф – прямоугольник 80 на 125 сантиметров, и чем глубже удавалось зарыться в землю, тем больше было надежды наткнуться на породу, в которой прятались красные, похожие на вишневую косточку касситеритинки.

Берега речушек, на которых мы останавливались, ставили палатки, разводили костер, были безлюдными. Вдоль берегов на многих километрах встречались развалившиеся, рассыпавшиеся в прах саманные дома аулов. Иногда мы проходили вымершей улочкой. Вперемешку с костями животных лежали и человеческие кости. У людей, которые убегали от голода из этих краев, не хватало сил хоронить близких.

По вечерам, когда каждый, как кавалерист саблю, точил полукруг лопаты, мы, конечно, разговаривали. Валентин Иванович Пятнов, начальник экспедиции, помнил приметы коллективизации на многих своих маршрутах: геологи ведь не сидят на одном месте. Но что мог он рассказать нам, своим младшим товарищам, тогда.

О том, как проходила коллективизация, какой тяжелейший след оставила она не только в экономике села, но и в политическом самосознании крестьянства, мы долго ничего не знали. И статья Сталина «Год великого перелома», и его же фарисейская «Головокружение от успехов» (такой заголовок мог придумать только большой мастер мистификации) очерчивали разрешенный круг сведений. Тщательно, как важнейшие государственные секреты, умалчивались цифры, то есть тот реальный счет, который заплатило общество за «головокружение

от успехов». Теперь эта цена известна.

В ходе коллективизации 1929–1933 годов ликвидировали около трех миллионов крестьянских домов. По самым скромным подсчетам, не менее 15 миллионов крестьян остались без крова, орудий производства, перестали быть производителями хлеба насущного. Два миллиона крестьян бежали из деревни в город на индустриальные стройки. Один миллион крестьян, в основном середняков, под флагом ликвидации кулачества как класса отправили в ссылку, на Север, в необжитые дикие степи Казахстана, Сибири…

В итоге из производительного труда на селе было изъято 18 миллионов человек! Оставшихся объединили в колхозы. Думаю, что даже Хрущев не знал этих цифр. В 1929 году он уже был студентом Промышленной академии в Москве.

Когда в 1956 году с так называемой Трудовой Крестьянской партии (ТПК) были сняты обвинения во вредительской и шпионской деятельности и Верховный суд доказал, что вся эта репрессивная авантюра Сталина направлялась к единственной цели: покарать инакомыслящих, – Хрущев не вник в суть этой реабилитации. Он не вспомнил о трудах замечательного ученого Александра Васильевича Чаянова и его коллег, обвиненных по этому надуманному делу. А ведь Чаянов – крупнейший знаток организации кооперативного крестьянского труда, чьи теоретические и практические работы шли в русле ленинского плана кооперирования крестьянства. Не нашлось около Хрущева советчиков, которые могли бы открыть ему мир Чаянова и те перспективы, которые определялись его трудами. Только в 1987 году и тоже Верховным судом были сняты обвинения с Чаянова и в организации самой Трудовой Крестьянской партии, которой вовсе и не существовало! Чтобы понять это, понадобилось двадцать с лишним лет! Труды Чаянова давно известны в Италии, Франции, Индии, Швеции, Китае (там они явились предметом особого изучения в период реформы сельскохозяйственного производства), у нас даже в 1987 году продолжали оставаться закрытыми.

Если бы не усилия сына Александра Васильевича – Василия Александровича Чаянова, не помощь Президента Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук Александра Александровича Никонова, мы бы продолжали быть «Иванами, не помнящими родства». Теперь начинаем издавать труды Чаянова. Сколько лет потребуется, чтобы ввести их в оборот?

В 1953 году, когда перед Хрущевым встали неотложные проблемы снабжения страны хлебом, он не обратился к опыту нэпа. Ему ближе была идея массового энтузиазма. Таким его

сформировала жизнь. Кроме того, Хрущев, как человек самоуверенный, считал, что он все знает сам.

Энтузиазм масс был использован в грандиозной эпопее освоения целинных земель. Целинная эпопея получала в разные годы разные оценки. В середине 60-х годов я слышал высказывания о том, что целина – крупнейшая ошибка Хрущева наряду с созданием совнархозов, ликвидацией ряда министерств и изменением роли тех из них, которые остались. Потом, правда, целину «взял на себя» новый Генеральный секретарь, и критики приумолкли.

В феврале 1954 года Хрущев напутствовал комсомольцев Москвы и Московской области, уезжавших на освоение целинных земель в Казахстане. С ними отправилась и целая бригада «Комсомолки». Мы писали об отчаянно трудном, не принесшем радости первом, неурожайном 1955 годе, о втором, когда уходили за горизонт необозримые золотые поля. Гордились, что очеркист «Комсомолки» Семен Гарбузов написал сценарий первого художественного фильма о целине.

Никита Сергеевич объезжал один за другим целинные совхозы. Азартная натура этого человека требовала личных впечатлений, встреч с людьми. Я часто слышал и его выступления на больших митингах, и беседы с молодыми целинниками у палаточных костров. Никогда не обещал он им благ в виде божественного ниспослания, не боялся говорить о тяжести труда, никого не обманывал на этот счет.

Тема хлеба и – шире – продовольствия звучала во всех многочисленных выступлениях Хрущева. Только в 1954–1955 годах он побывал в Сибири, на Дальнем Востоке и Сахалине, в Средней Азии, на Украине, в Саратове, Воронеже, Ленинграде и Ленинградской области, Риге, Курске, вновь в Средней Азии. Я уж не говорю о проводимых им многочисленных совещаниях в Москве, о Пленумах ЦК, которые били в ту же цель – накормить страну.

Всю свою энергию, темперамент, цепкость он направил на достижение этой цели. Для политического деятеля это означало связать свой авторитет, влияние, в немалой степени и свое будущее с тем, что даст задуманное.

Тридцать миллионов поднятых, засеянных и принесших хлеб гектаров резко повысили государственные ресурсы. Уже через три года, к 1957-му, продовольственная проблема стала менее острой, практически исчез дефицит на многие продовольственные товары и прежде всего на хлеб, молоко, мясо…

Молодые люди часто спрашивают, как появляются у нас

лидеры в высших эшелонах власти. Как появился Хрущев? Почему-то эти темы у нас не обсуждаются. Быть может, то, о чем я пишу, что-то прояснит.

В 1954 году Никите Сергеевичу исполнилось шестьдесят. Семейных торжеств он не признавал. С утра, как обычно, младшие отправились на занятия, старите – на работу. Однако юбилей все же отпраздновали – явочным порядком. На даче собрались гости – Молотов, Маленков, Ворошилов, Микоян, Булганин… Нельзя было не заметить, насколько хозяин стола отличался от них. Обветренный, загорелый, с седеньким венчиком волос по кругу мощного черепа, Хрущев походил на приезжего родственника, нарушившего чинный порядок застолья. В тот вечер он был в ударе, сыпал пословицами, поговорками, каламбурами, украинскими побасенками. Он чувствовал, конечно, что его простоватость коробит кое-кого из гостей, но это его нисколько не смущало. Цепкие глаза бегали по лицам собравшихся, и, казалось, в них, как в маленьких зеркальцах, отражалось все, что владело его вниманием. Без пиджака, в украинской рубахе со складками на рукавах (у него были короткие руки, как он говорил, специально для слесарной работы), Хрущев предлагал и другим снять пиджаки, но никто не захотел.

Гости сидели со снисходительными минами на лицах, не очень-то скрывая желание отправиться по домам, но встать из-за стола не решались. Было видно, что они принимают Хрущева неоднозначно, что вынуждены мириться с тем, что он попал в их круг, а не остался там, на Украине, где ему самому, по-видимому, жить и работать было легче и сподручнее. Эта несовместимость Никиты Сергеевича с гостями вызывала неловкость и даже тревогу. Нина Петровна сказала: «Давай отпустим гостей».

Когда все разъехались, Никита Сергеевич вышел на веранду и попросил включить магнитофон с записями птичьего пения. Он привез магнитофон из Киева, очень гордился тем, что киевские инженеры и рабочие сделали его надежным. Часто включал. Пение птиц записывал сам, устанавливая по вечерам тяжелый деревянный ящик в кустах, где гнездились соловьи и другие голосистые птахи.

Этот аппарат работал лет тридцать!

Магнитофон был не единственным увлечением Никиты Сергеевича. Он настойчиво добивался выпуска электробритв, электронных часов (отдал на Московский II часовой завод свои, полученные от заезжего американца в подарок), соломенных шляп, зажигалок, хоть сам никогда не курил, а чуть позже – синтетических мехов. Демонстративно носил шапку из

искусственного меха. У его коллег были такие же, но из меха натурального, и он в шутку тихонько менял свою на чужую. Хозяин обнаруживал это не сразу, и, возвращая шапку, Никита Сергеевич радовался: «Видите, даже не заметили, что она искусственная».

Синтетика была под его особым контролем. Хрущев говорил, что без развития производства синтетических материалов вопрос с одеждой решить будет невозможно. Он стал активно принимать западных бизнесменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промышленник, если не ошибаюсь, Маринотти (я бывал на его фирме в Риме), поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так вошла в наш быт ткань «болонья».

Увлеченность всем новым, какая-то детская радость от того, что освоили выпуск магнитофонов, часов, бритв, свидетельствовали о постоянной жажде улучшать жизнь и быт людей не в глобальном, а скорее в конкретном, я бы даже сказал, предметном смысле. Теперь многочисленные любители магнитофонов и обладатели электронных часов не знают, чьими стараниями начался их выпуск, но на II часовом заводе до сих пор работают люди, помнящие электронные часы, переданные Хрущевым. Заместитель генерального директора Семен Борисович Ривкин, которому я как-то принес старые часы американской марки, сразу их узнал. «От этих часов, – сказал он, – пошло развитие нового направления в нашем производстве».

И было это, конечно, не так просто: отдал – сделали. Никита Сергеевич бушевал, если бритвы, часы, зажигалки быстро ломались, стыдил инженеров на совещаниях. Человек темпераментный, «взрывной», он часто не сдерживался. Напомню эпизод, о котором ходило немало толков – от умилительных: «Вот это да, знай наших», – до презрительных: «Подумайте, стучал ботинком по столу, да где, в Организации Объединенных Наций! Позор! Что подумали о нас?» Но ведь это не противоречило протоколу. Хохотали многие делегаты сессии ООН, а Генеральный секретарь Хаммаршельд не сделал Хрущеву замечания, хотя жестко контролировал соблюдение всех правил поведения в соответствии с Уставом.

Когда Хрущев уже был на пенсии, ходили слухи о том, что нам пришлось заплатить многомиллионный штраф в ООН за эту вольность главы Советской делегации. Нелепость этого слуха очевидна, но вот ведь держится более 20 лет.

Все началось, собственно, за день до памятного события. Предстояло обсуждение так называемого «венгерского вопроса». Во время завтрака в советской миссии Хрущеву сообщили о повестке дня, сказали, что предупредят, когда в знак протеста

надо будет покинуть зал. Хрущев как бы не понял, о чем ему говорят. А после разъяснений удивился: «Покинуть зал, когда наших друзей поносит черт-те кто, да еще отказаться от права на обструкцию?»

Не без юмора рассказал, что Бадаев, член большевистской фракции в думе, специально учился у мальчишек свистеть: в думе все большевики освистывали неугодных ораторов, да так, что их речи практически невозможно было услышать.

И вот председательствующий объявил о рассмотрении «венгерского вопроса». Советская делегация не покинула зал. Разнесся шепот удивления: «Советские не ушли». И тут началось. Хрущев непрерывно (но в соответствии с процедурными правилами и регламентом) вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, требовал, чтобы ораторы предъявили мандаты членов делегаций и прочее. Было уже не до «венгерского вопроса», становилось ясно, что на этот раз обсуждение проваливали иным, более «громким» способом. Все члены нашей делегации в соответствии с темпераментом колотили по откидным столикам перед креслами, их поддержали многие другие делегации. Как на грех, с руки Хрущева соскочили часы. Он начал искать их под столом, живот мешал ему, он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок…

Возвращаясь к этому эпизоду «ботиночной дипломатии», скажу о другом. Когда вслед за «венгерским вопросом» стал обсуждаться «алжирский», французы чинно покинули зал. Кто-то спросил, отчего уходят. Не без французской учтивости они ответили: «Идем в магазин покупать горнолыжные ботинки…»

Могут сказать и говорят, что в этой оценке поступка Хрущева – сугубо личные пристрастия. Однако есть свидетельства и сторонних наблюдателей. Юрий Васильевич Емельянов, работавший в ООН в конце 60-х годов, рассказал мне о нескольких эпизодах, связанных с «ботиночной дипломатией».

Весной 1968 года он беседовал с чиновником из Малайзии. «Зачем вы сняли хорошего человека – Хрущева?» – спросил он. Я объяснил ему ситуацию, напомнил, в частности, пресловутую историю в ООН. «Правильно поступил Хрущев, – ответил малазиец. – ООН – лицемерная, паразитическая организация. Наконец нашелся человек, который показал, чего она стоит».

«Позже, – продолжил свой рассказ Юрий Васильевич, – Джордж Микеш в книге «Как объединять нации?» писал о посещении ООН. Выслушав часовую лекцию экскурсовода о деятельности ООН, автор спросил: «А все-таки зачем существует ООН?» Экскурсовод вновь начал объяснения. Микеш перебил: «Скажите, какой вопрос чаще всего задают посетители?» –

«Просят показать им место, где сидел Хрущев, когда стучал ботинком по столу…»

«Мы забываем, – закончил Емельянов, – что из себя представляла Организация Объединенных Наций в пору Хрущева. «Венгерский вопрос», «китайский вопрос», «корейский вопрос» – откровенное политическое давление антисоветских и антисоциалистических сил. Под флагом ООН совершалось немало черных военных походов. Из этой реальности исходил Никита Сергеевич. А его критики имеют в виду роль и место ООН в современном мире».

В середине 50-х и мне, и моим товарищам по газете приходилось непрерывно ездить в командировки (те самые сто дней в году). В 1954-м «Комсомолке» удалось выпросить у издательства «Правда» автомашину для пробега по Украине в связи с трехсотлетием воссоединения ее с Россией. Возглавил нашу бригаду очеркист Илья Котенко. У него было прекрасное качество: он не давил своим авторитетом, а исподволь учил профессиональным тонкостям в работе, и у соавторов не возникало неловкости, когда они ставили свои подписи рядом с подписью бригадира. Как ни настаивали на том, чтобы его фамилия шла первой, он предпочитал алфавитный порядок.

Илья Котенко руководствовался верным журналистским, а скорее, чисто человеческим принципом: «Если тебе самому интересно то, что ты видишь, слышишь, узнаешь, это может быть интересно и читателям, а если наигрываешь интерес – мучаешь читателя». Донской казак Котенко, любивший и хорошо знавший южные земли и южан – русских и украинцев, – оказался во время поездки в родной стихии. Смешивая украинскую «мову» с русским языком, он умел втянуть в разговор любого заинтересовавшего его человека – от мальца до старика, – что чрезвычайно важно для нашего дела. «Почем продаете мед?» – спрашивал Илья хозяина, сидевшего на лавочке перед хатой. Внимательно оглядев незнакомца, тот отвечал: «Я не продаю». – «А почем продают?» – допытывался Илья. «А бог его знает», – разводил руками хозяин. «Так, может, у вас и меда нет?» – И Котенко делал шаг к машине. «Отчего же нет, – обижался собеседник, – заходите, попробуйте». Мы знали, что и на этот раз обеспечены ночлег и нескончаемое продолжение беседы… «А почем вы продаете сало?» – «А я его не продаю», – и так далее.

Я стал газетчиком не сразу. Вначале хотел быть – и почти стал – актером. Учился после войны в школе-студии Художественного театра. Курс мастерства актера вели в нашей группе Павел Владимирович Массальский и Иосиф Моисеевич

Раевский – они открыли и вывели на сцену таких талантливых людей, как Олег Ефремов, Михаил Козаков, и многих других. У Олега Ефремова театр навсегда остался первым, самым главным, единственным делом жизни. Немногие знают, откуда у Олега Николаевича эта страстная любовь к театру, к сцене, где ее начало. Биографы знаменитого теперь режиссера отыскивают ее в ночных репетициях будущего театра «Современник», но это не совсем точно: она родилась раньше. Однажды на первом курсе, когда мы играли бессловесные этюды (для драматического актера это такое же нудное занятие, как гаммы для пианиста), Олег оттащил меня в потаенный уголок, сунул в руку какую-то бумажку и сказал: «Читай и, если хочешь, подпиши».

Бумажка содержала клятву верности актерскому братству, верности профессии и ее высокому предназначению. Заметив, что я медлю, добавил: «Но только кровью», – и совершенно серьезно протянул мне лезвие бритвы.

А я актером не стал. Перешел в Московский университет, на филфак, а затем на отделение журналистики. Два начала. До сих пор во снах я иногда продолжаю доигрывать роль Шванди в спектакле «Любовь Яровая». Жаль, что в университете на нашем курсе не нашлось человека с маленькой бритвочкой и текстом профессиональной клятвы. Подпиши мы такую бумагу в начале пути – сам этот путь оказался бы прямее и строже.

Говорю больше о себе. Не все написанное вспоминаю с охотой. Можно сыграть множество ролей, но в свой час – ту, первую, которая остается с тобой навсегда. Можно написать множество статей и очерков, пока поймешь, что наконец-то достиг профессионального уровня. Разбуди меня сейчас ночью и спроси, что больше всего осталось в памяти, где, в чем, когда открылось это неуловимое «нашел», и я, вопреки возможным ожиданиям, назову не интервью с главами государств, не множество других событий в моей журналистской практике, а небольшую историю.

У подъезда редакции «Комсомольской правды», когда я шел на ночное дежурство, обратились ко мне два паренька, как оказалось, глухонемые. В редакционном скверике жестами, записками объяснились. Было при пареньках письмо, и я прочитал его тут же.

Завязка истории приведет нас к газете «Британский союзник», к ее послевоенным номерам. Неизвестно, по каким причинам пустился он в одном из последних номеров в рассуждения о глухонемых. Перечислялись профессии, увлечения, недоступные глухонемым: из-за этого они-де несчастны, обездолены. Этот номер газеты и попал случайно в руки пареньков.

Оба они только что окончили ремесленное училище и работали на одном из ростовских заводов слесарями. В Москву приехали искать поддержки. Реакция парней на статью в «Британском союзнике» была своеобразной. Решив доказать, что и глухонемые кое-что могут, они начали копаться на ростовских промышленных свалках, отыскивали там старые, отслужившие срок части простеньких самолетов, детали моторов (за войну такого накопилось немало). В «засекреченном» сарае, с помощью друзей, без чертежных досок, с самыми малыми подручными средствами, ночи напролет работали ребята и построили настоящую, похожую на У-2 летательную машину. Наконец, выкатили свое детище на пустырь, уселись в пилотскую кабину, завели мотор, и струи ветра ударили в их лица, выбивая из глаз слезы. А может, не было у них слез? Просто, вспоминая ту давнюю встречу, ловлю себя на том, что, когда слушал их, слезы наворачивались на глаза.

Наступил их «первый час», час торжества. Они взлетели! Кружили над городом, над ростовскими пляжами, ныряли в холодные воздушные ямы, а теплые влажные облака вновь поднимали самолет ввысь. Тридцать минут длилось воздушное приключение. Эти тридцать минут были их победой. Не верящие в бога, они оторвались от земли, но невозможно объяснить, как могли они сделать это без божественной поддержки. Согласитесь, что каждый, кто встречается с таким чудом, в глубине души на какие-то мгновения перестает быть атеистом.

Когда ростовские инженеры познакомились с самодеятельными расчетами ребят, больше всего их поразили удивительно точно найденный способ крепления шасси с фюзеляжем, углы сопряжения и запас прочности самолета. «Комсомолка» добилась, чтобы отважных летчиков поддержали в московском авиаклубе. Там им подарили настоящий современный планер. Ребята получили чертежи и инструкции сборки и возвратились в Ростов. «Британский союзник» был посрамлен. Но вот испытали ли чувство стыда те ростовские держиморды, которые «пресекли недозволенное» и сожгли собранный ребятами самолет, как только он сел на землю?..

Мы бессильны с точностью объяснить множество поразительных проявлений человеческого духа, влекущих к себе, заражающих нас естественным стремлением испробовать и свои силы. Надо, чтобы общество приветствовало дерзость, риск, азарт – черты, свойственные неординарной личности.

Я не согласен с теми, кто в принципе не приемлет героику только потому, что в тот или иной период нашей истории культивировалась ее надуманная разновидность.

Мне повезло. На моем журналистском и жизненном пути часто встречались иные люди, их судьбы, их образы формировали и наши взгляды.

Я уезжал на целину, на уборку урожая 1956 года. Ожидался и уже приходил на тока «большой целинный хлеб». Перед самым моим отъездом позвонила сотрудница из Министерства сельского хозяйства и рассказала, что встретила в Тюменской области интересного человека, вроде бы того самого тракториста Петрушу, о котором была написана ставшая очень популярной песня. Наша газета еще в 1926 году рассказывала о нем. Из старой газетной подшивки я выписал небольшую заметку.

«В Ишимском округе организовалась коммуна «Новый путь». Один из ее организаторов комсомолец Петр Дьяков. Коммуна крепла под яростный скрежет кулацкой злобы. Особенно косились кулаки на Петра Дьякова: «Это он всех мутит». В ночь на 2 июля, когда Дьяков работал на тракторе в коммунарском поле, на него наскочила шайка бандитов. Дьякова сшибли с ног, раздели, облили керосином и подожгли. Факелом пылал тракторист-комсомолец, освещая колосившееся поле коммуны».

Прочитал, и тут же пришли на память и строки, и мелодия:

Не полита дождем, не побрызжена
Полоса в нашем дальнем краю.
Кулачье на тебя разобижено,
На счастливую долю твою.

Закончив дела в кустанайском совхозе «Урицкий», решил двинуться на Тюмень, на станцию Голышманово, где на элеваторе работал какой-то Петр Дьяков.

Элеваторный двор гудел от рева моторов, свозили тюменский хлеб – в тот год он и здесь, на тяжелых северных землях, выдался отменным. Петр Егорович был занят, просил подождать до вечера, но, видя, что от меня просто так не отделаешься, попросил знакомого шофера подежурить возле дизеля и зашагал к своему домику. Уже с первых минут беседы я понял: тот самый…

Когда его подожгли и жар, опалив легкие, перекрыл доступ воздуха, он уткнулся лицом во влажную от росы землю, и это спасло его. Потом он начал кататься по только что вспаханным бороздкам, сбивать пламя. Последнее, что он запомнил, были крупные капли дождя, падавшие на грудь и голову, причинявшие дикую боль. Он не знал, что это не дождь, а просто лопаются, выпускают горячую влагу волдыри, покрывшие его тело. И тогда он потерял сознание.

Ранним утром односельчане, спавшие мирным сном, не ведавшие о трагедии, нашли его бездыханное тело на кромке пашни, обернули одеялом и повезли в район на расследование. Вернувшись в село, сказали: «Нет больше нашего Петрухи».

А он выжил. В районной больничке врачи уловили едва слышимые удары сердца, отправили в областную больницу, потом в другую, лечить кожу. Больше двух лет провалялся на больничных койках огненный тракторист. В село писать было некому, и зашагал Петр Дьяков новой дорогой. Строил Магнитку. Слышал, конечно, песню про себя, но никому ничего не рассказывал. «Пусть себе поют, – так он решил тогда, – не портить же песню». Шла молва о нем как о погибшем, а он воевал на фронтах Отечественной, потом на Большом Хингане сражался с японцами. Два ордена за войну, а третий, орден Ленина, за крестьянский труд. Позже мы в «Комсомолке» чествовали нашего героя.

Мой очерк о нем назывался «Огненный тракторист».

Петр Егорович был прост, сдержан. Достоинство его шло от крепкой натуры, от понимания своего места в жизни, которую он сотворял своими руками. Никакой экзальтации, никакой «жертвенности» в осмыслении пережитого, ничего «ратоборческого», того, что приписывают сегодня русскому характеру, – некие извечные черты, возможные якобы только вблизи земли и угасающие по мере удаления от пашни.

Эта история с Петром Егоровичем напомнила еще одну.

В 1898 году Петербургская военно-медицинская академия праздновала 100-летие своего существования. По этому поводу был дан торжественный концерт, и сам военный министр Куропаткин почтил его своим присутствием.

Слушатель академии Николай Любимов пел на этом концерте свою самую эффектную арию: «Ни сна, ни отдыха измученной душе, мне ночь не шлет отрады и забвенья…» У Николая хороший голос, даже Собинов не чурался вести с ним дуэт. После концерта зовут будущего медика в ложу к военному министру, и тот заявляет: «Брось, братец, медицину эту. Петь тебе богом дано. Голос, понимаешь, голос. – И министр почему-то ткнул пальцем себе в живот. – Устройте ему командировку в Италию, в «Ла Скала», года на два за казенный счет, скажите, что я распорядился. Какой, к черту, из него доктор».

Дрогнуло сердце Любимова, могла оборваться его медицинская карьера. Щелкнул он каблуками перед его превосходительством и отказался. Министр даже не разгневался, поглядел на Любимова пристально и брякнул: «Да ты, я вижу, дурак!»

Перед первой русской революцией уехал медик Любимов служить в Донбасс, шахтерским доктором. «Это модно тогда было, – объяснял мне свой поступок Николай Николаевич, – уйти туда, откуда пришел, а я родом из маленького села Кучки Пензенской губернии, из учительской семьи».

В 1956-м исполнилось Николаю Николаевичу Любимову семьдесят шесть. Был он ровно на тридцать лет старше Петра Егоровича Дьякова; 54 года не менял он места службы. В 1910-м спасал людей от холеры. Только в 1914-м уходил на войну, воевал в пластунском полку на Турецком фронте. Дело «пластунов» не ходить, а ползать по земле, подкрадываться к врагам незаметно. Вся неожиданность их удара схожа с действиями современных десантников, но те налетают с неба, а «пластуны» поднимаются в атаку от самой земли.

В феврале и октябре 1917-го Любимов снова на шахте «Пастуховка» лечил и прятал раненых шахтеров, а в советские годы, в 1926 году, учредил первый в Донбассе медицинский пункт под землей. Шахтеры прозвали его «подземным ангелом».

В Москве Любимов упросил меня быть провожатым: «По дороге и будем вести беседу», – уж очень сложно ему было ориентироваться в столице. Поджидал я его как-то раз возле Министерства здравоохранения, он вышел сияющим. Добился, чтобы машины «Скорой помощи» стояли не у шахтоуправлений, а в поликлинике. «А то ведь на машинах больше здоровые разъезжают». Смущаясь, рассказал, как встретился с министром. «Она, понимаете, дама. Я, как раньше полагалось, ручку ей поцеловал. Уж потом подумал, зря, обидится, откажет в просьбе. Но нет, ничего. Смотрю, вспыхнули у нее щеки, а я в этот момент маленький такой поклон ей отвесил – и к делу. Представьте, решила его положительно». «Это второй министр в моей жизни: царский в 1898-м и вот теперь – советский. Хорошо, что я не произнес еще «Ваше превосходительство».

Каждый журналист на свой лад фиксирует в памяти образ человека, о котором ему приходилось писать. У меня не было пухлых записных книжек. Один мой старший товарищ, не отрывавший руки от блокнота, все укорял: «Перезабудете факты, и нечем будет заняться под старость». Записные книжки, конечно, выручают в подобных случаях, всего не упомнишь. Но нужно ли писать о том, что забылось?

Как-то сама собой выработалась у меня привычка. Соединять людей по общим признакам в них, по их «похожести», внутренней, внешней. Так и классифицировал своих знакомцев: этот похож на такого-то, тот – на другого. Когда возникает необходимость, достаточно вспомнить главное имя.

Петра Егоровича Дьякова я «записал» за Хрущевым, как позже за ним же, с еще большей убежденностью, оставил святого отца Иоанна XXIII, римского папу. А Николай Николаевич Любимов – точная копия моего дяди Александра Александровича Гапеева. Это была тоже интересная личность.

Три брата Гапеевы – старший Александр, мой отчим Михаил, младший Петр – рано примкнули к революционному движению. Геолог, юрист и инженер путей сообщения, они все трое жили в Петербурге безбедно, так как занимали достаточно высокое положение. Это не мешало им активно поддерживать большевиков. Старший, Александр, знал Ленина, Сталина, в годы первой русской революции редактировал газету «Брянский голос», где работал и его брат Михаил. Мальчиком я держал экземпляр этой газеты в руках, а кроме того, листал страницы толстой тюремной тетради дяди Миши, которую ему выдали в одиночке, кажется, в Крестах или в Шлиссельбургской крепости, где за участие в вооруженном восстании он просидел около двух лет. Мать отдала эти документы кому-то в Москве, и я не догадался, а потом и не успел спросить ее – кому. Не очень популярна у нас традиция иметь домашние архивы.

Александр Александрович Гапеев, крупный геолог-угольщик, в начале 20-х годов по командировке наркомнаца Сталина отправился в Караганду изучить на месте состояние тамошнего угольного бассейна, который в годы гражданской войны пришел в полный упадок. Работа заняла у него, по терминологии геологов, несколько полевых сезонов, и он сумел доказать перспективность бассейна для нашего хозяйства.

А затем Гапеев ушел от активной деятельности, вел кафедру угля в горном институте, и чем трагичнее становилось время, тем тише и неприметнее старался он себя вести. Было от чего волноваться. В 1919 году он, в знак протеста против решения о «красном терроре», вышел из партии. В ту пору Сталин не придал этому факту большого значения, а может быть, и не знал о нем. Так или иначе, Гапеев читал лекции и в 34-м, и в 37-м, и в 51-м.

И тут случилось то, чего он давно опасался. По телефону ему сообщили, что через час подадут машину и отвезут куда надо. Собирала ли жена Александра Александровича давно приготовленный чемоданчик или нет? Думаю, что да. Но чемоданчик не пригодился.

Ибо Александра Александровича Гапеева везли в бронированной машине к самому Сталину, на дачу в Волынское.

К вечеру того дня он позвал меня с женой и, волнуясь так, что близкие непрерывно совали ему в руки мензурку с успокоительным, сбивчиво рассказывал о том, что произошло.

Гапеева ввели в столовую-кабинет, попросили подождать. Раскрылась дверь, и вошел Сталин. Несколько секунд он разглядывал Гапеева, а потом, подав руку, пригласил сесть. «Ты не изменился, Гапеев, – сказал Сталин, – я тебя узнал. Вспомнил тебя, когда увидел в газете, что ты еще служишь».

Сталин протянул Александру Александровичу отчеркнутую красным карандашом заметочку: «В первый день нового учебного года профессор А. А. Гапеев прочел лекцию первокурсникам Горного института».

А потом они пустились в воспоминания… Сталин пришел на петербургскую квартиру Гапеева осенью 1912 года, когда добрался до столицы из Нарымского края. Попросил накормить его и остался доволен: обед был сытным. Сталин рассказал Гапееву, что перед приходом к нему был у Калинина, попросил поесть. Калинин сказал: «Вот, возьми котелок с картошкой». Сталин спросил: «А мясо у тебя есть?» – «Нет», – ответил Калинин. «А я слышал запах мяса, – говорил Сталин Гапееву, – не стал есть его картошку, пошел к тебе».

Минут через десять Сталин встал. Поднялся и Гапеев, совершенно не понимая, зачем он понадобился вождю, и что стоит за этим приглашением. Сталин прошелся по комнате, задерживая тем своего гостя. Сделал несколько движений рукой, упреждая мысль, и проговорил: «Ты, Гапеев, хорошо работал в Караганде. Если бы не тот уголь, что бы мы делали в войну?»

Сталин отодвинул ящик стола, достал оттуда маленькую коробочку, папку и протянул их Гапееву. «Мы решили наградить тебя Сталинской премией за твой труд. На, возьми!..»

Можно себе представить, как колотилось сердце старого профессора. Когда он взялся за ручку двери, Сталин остановил его: «Гапеев, а деньги?»

Он сам отсчитал пятнадцать пачек, по десять тысяч рублей в каждой.

Нажал кнопку звонка. Вошел человек. Сталин сказал: «Отвезите профессора домой и помогите ему завернуть деньги…»

Я часто спорю со своими сыновьями: им кажется, что мы отстали от жизни, закоснели в представлениях, потерявших значение в современном мире. Им смешно и грустно оттого, что мы шпыняем их по мелочам, уходя от главного. Им надоели нравоучительные сентенции о прическах, модах и прочей, как они говорят, муре.

Мы тоже проходили через такое. Вначале эталоном были широкие брюки. Затем узкие. Декольте у девушек дозировались с еще большим тщанием. По приказам министров в служебные помещения не допускали женщин в брюках. Длина волос тоже

контролировалась. Бороды воспринимали как вызов общественному мнению, и если их насильственно не состригали как при Петре, то все же они сильно портили репутацию. Ссылки на внешность Маркса, Энгельса, Ленина объявлялись кощунством. А дети наши не хотят, чтобы мы делили проблемы, вставшие перед обществом, на взрослые и молодежные, ибо они действительно неделимы. Они хотят разговаривать серьезно, не бояться задавать нам любые, самые острые вопросы, хотят получать ответы, а не раздраженное одергивание. Такой душевной близости надо радоваться. Она требует убежденности, сильных аргументов, а не надоевших расхожих штампов. Отчего же мы придавали такое значение поимке на бульваре группы ребят, у коих нижняя часть одежды была на сантиметр уже или шире установленной? Отчего (странное совпадение) всякий раз, когда перед обществом встают сложнейшие экономические, моральные, социальные проблемы и молодые люди (в своем абсолютном большинстве) хотят серьезного обсуждения «задач дня» и будущего, кто-то переводит острие дискуссии на мини– или макси-юбки?

Совсем не хочу, чтобы меня посчитали защитником «металлистов», «рокеров» и других любителей заемной моды. Но не всегда с Запада идет к нам эстрадная безвкусица.

Во время давнего визита в Мексику я был принят президентом страны Лопесом Матеосом. Сказал ему, с каким интересом слушал замечательных уличных музыкантов – «марьячес». Президент заметил, что Мексика очень бережет свои национальные культурные традиции, хоть делать это непросто из-за музыкальной экспансии близлежащей страны. За те несколько дней, что я провел в Мехико, удалось увидеть великолепные национальные массовые спектакли: народные танцы, скачки, парады костюмов. Они шли на площадях, стадионах – повсюду, завораживая весь город, всех. Их организация требует высокого вкуса режиссеров и постановщиков, да и немалых средств. Я как-то спросил Игоря Александровича Моисеева: неужели мы не способны создать бытовой танец, который понравится нашей молодежи, а может быть, завоюет весь мир? Он ответил: «Способны, но знаете ли вы, сколько стоит создать индустрию отдыха и развлечений?»

Вспоминаю и другой разговор – с Леонидом Осиповичем Утесовым. Он считал, что миграция стилей в эстрадной музыке возможна и полезна, это тоже форма мирового обмена культурными ценностями. Показал вырезки из газет 30-х годов, в которых шла острая дискуссия о джазовой музыке, добавив не без иронии, что «Известия» выступили против джаза – «музыки

толстых», а «Правда» – за энергичные ритмы…

В «Известиях» начала 60-х годов мы «спасли» джаз Олега Лундстрема. Пригласили музыкантов в небольшой редакционный зал, и там они ударили во все свои барабаны и затрубили во все трубы. Окна были открыты, веселая музыка собрала на сквере у памятника Пушкину толпу. Послышалось «браво!», «еще!», и седовласый красавец Лундстрем сиял от счастья. «Все знающая Москва» (есть такая категория) загудела: «зять» решился пойти против «тестя».

Хрущев не то чтобы не любил джаз, но как-то высказал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу свое неудовольствие по поводу джазовой атаки на слушателей во время одного из итоговых концертов художественной самодеятельности. Шостакович был председателем жюри и пригласил Хрущева в только что открывшийся Кремлевский театр (теперь в этом переоборудованном зале проходят заседания Совета Национальностей Верховного Совета СССР). Концерт начали сразу пять джазовых оркестров, гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки. Хрущев досидел до конца, а затем в сердцах сказал Шостаковичу, что не ожидал от него такой безвкусицы. Шостакович не знал не только о том, что, как всякий старомодный человек, Никита Сергеевич не очень-то большой поклонник джазовых рапсодий, но и о том, что такое начало концерта могло показаться ему своего рода вызовом. Желание немедленно обратить недоразумение в поучительное предупреждение привело к тому, что джаз был изъят из музыкальной жизни.

И вот после этого в стенах «Известий» звучит джаз. Это отнюдь не было каким-то вызовом: я знал, что Хрущев вовсе не требовал запрещений. Просто ему казалось, что пять джазов одновременно – это слишком.

Время доказало, что нелепо настаивать на возвращении к старомодной стрижке, как нелепо призывать равняться на дутых ударников и ударниц коммунистического труда, если на них работала целая рать администраторов (такая публика особенно боится разоблачения газетчиков).

Пришлось мне как-то принять участие в передаче «12-й этаж». «Лестница» на этот раз располагалась у входа в Боткинскую больницу. Шел мелкий холодный дождь, но и ребята, и главный врач этой больницы, и ведущая Олеся Фокина продолжали задавать вопросы тем взрослым товарищам, которые находились в тепле, в Останкине. Речь шла о трудовом воспитании подростков, об их отношении к посильной трудовой деятельности, к заработку. Удивительно единодушны и

требовательны были мальчики и девочки четырнадцати-пятнадцати лет. Они хотели работать: разносить почту, ухаживать за больными, развозить по домам белье из прачечных в дни каникул и в свободные часы. Говорили, что хотят иметь свои деньги, а не выпрашивать их у родителей.

Главный врач поддерживал ребят и девочек, готовых работать по нескольку часов в неделю нянечками, санитарами. «Нельзя, – тут же парировал представитель Министерства здравоохранения. – Поднятие тяжестей детям при перевертывании и переносе больных (это его выражение. – *А. А.)* запрещено инструкцией». «Лестница», услышав это, засмеялась. Мальчики и девочки превосходили внушительными фигурами многих взрослых. Когда у этого товарища спросили, а как относится Министерство здравоохранения к тому, что ежегодно десятки тысяч школьников месяцами собирают хлопок на залитых дефолиантами полях, он промолчал.

Дом загадок и страха

Летом 1954 года Никита Сергеевич взял с собой Раду и меня, когда поехал на дачу в Волынское, в тот самый дом, где Сталин почти безвыездно жил все военные и послевоенные годы и где он умер. По непонятным причинам в официальном сообщении говорилось, что это произошло на квартире вождя, а не на даче, так позже родились кривотолки.

За железобетонным пустырем, с фантастической поспешностью созданным на месте срытой Поклонной горы, есть еловый лесок, невысокий, но густой, с редкими вкраплениями берез и осин, скрывающий несколько строений – саму дачу, дома охраны и других служб.

Дача Сталина, от фундамента до крыши покрашенная в темно-зеленый маскировочный цвет, совершенно сливается с естественной зеленью. Сразу за въездными воротами, вдоль узкой, в один след асфальтированной дороги тянутся туи, похожие на одетых в зеленое сукно солдат. Несколько «глухих» поворотов – и машина останавливается у дачи.

Надо было решить, как поступить с ней. Предлагали открыть здесь мемориальный музей Сталина, но как и на основе каких материальных свидетельств можно это сделать, никто толком не знал.

Кроме Хрущева, приехали Молотов, Маленков и Микоян. Они неспешно разговаривали, переходили из комнаты в комнату, что-то уточняли, вспоминали. Обо всем том, что связывало их здесь и

что разъединяло, теперь не узнать, как не узнать, о чем говорили они, о чем думали… Мы с женой бродили по даче, и это было поразительно. Совсем недавно такое невозможно было даже представить: уж очень узкий круг людей мог видеть Сталина в домашней обстановке, знать его быт, вкусы, привычки. Здесь он вел заседания, читал, ел, спал. Здесь, в этих стенах, обитых до потолка деревянными панелями, отчего комнаты походили на громадных размеров ящики, он был таким же, как все другие люди. Подходил к окну, смотрел на струи дождя за стеклами. Летом сюда доносилось пение птиц, а когда наступала зима, он видел, как на тугие плечи южанок-туй ложится снег. Эти деревья росли на многих правительственных дачах. Они часто гибли в сильные морозы, но их высаживали вновь.

Мы шли по мягким темно-красным ковровым дорожкам, оттенявшим натертый воском дубовый узорный паркет, и вспоминали то, что после ареста Берия стало довольно широко известно в Москве. Ночами по этим комнатам неслышно ступал в толстых шерстяных носках денщик Сталина, взятый в услужение еще в Царицыне в 1919 году и так и оставшийся с хозяином на всю жизнь в должности «казачка». Он внимательно рассматривал содержимое корзин, доставал клочки непорванных бумажек и рвал на мелкие кусочки, чтобы, когда бумаги будут выносить, кто-нибудь, не дай бог, не прочитал, что там написано и что, быть может, является великой государственной тайной. Так он выражал свою особую бдительность. Угрюмая подавальщица, толстая и неповоротливая баба-старообрядка, которую Сталин терпел, несмотря на всеобщую ненависть к ней других маленьких служащих его дома, проследила за «казачком» и рассказала хозяину о домашнем «шпионе». Хозяин не стал говорить с ним, а повелел арестовать и допросить с пристрастием. Завели на «казачка» дело, перетряхивали всю его жизнь, час за часом, месяц за месяцем – ничего не находили. Да и в чем мог состоять «криминал», если человек этот тридцать с лишним лет никуда из дому не отлучался, ни с кем не знакомился, все время был на виду других «казачков». Однако в чем-то его заставили признаться, может быть, в том, что он задумал прорыть туннель из Волынского в Лондон и доставить клочки бумаг туда? Человека не стало. Это дело вел Абакумов – большой мастер дознания.

В столовой-кабинете стояли стол, стулья с высокими спинками, несколько столиков по углам. На одном из них – раскрытый патефон. Никто не убрал пластинку. Что в последний раз слушал Сталин? Запись хора Краснознаменного ансамбля. Не помню, какие песни значились на пластинке, но прямо по центру

круга была надпись рукою хозяина: «Басы – на четверть октавы выше. Сталин». Успели передать замечание в ансамбль, взяли басы на четверть октавы выше или продолжали петь в прежней тональности, кто знает! В семинарии молодой Иосиф Джугашвили считался способным хористом, и наверняка Борис Александрович Александров, руководитель Краснознаменного ансамбля, принял бы к руководству высокое замечание…

Хрущев никогда не рассказывал о своих поездках в этот дом, о том, как принимал Сталин соратников, как держался с ними, как угощал их поздними обедами и ночными ужинами. Мы знали только, что встречи со Сталиным длятся долго, иногда до утра, и что хозяин дома привык спать днем, а ночью работать. Эта его привычка отразилась и на режиме работы всех государственных учреждений. Начинали в министерствах и ведомствах поздно; днем руководители высокого ранга уезжали на обед; поспав несколько часов, возвращались в предвечерье к рабочим столам, чтобы оказаться на посту, если потребуются «самому» или «самим». Ночью могли запросить срочную справку, вызвать к телефону и т. д.

Кстати, Никита Сергеевич, став Первым секретарем ЦК, сразу же добился отмены этих «ночных посиделок». Когда он работал на Украине, там был твердый дневной служебный распорядок. Сталин знал это и не будил Хрущева по ночам. С 1954 года московские учреждения стали функционировать нормально. Событие это, кажущееся сегодня наивно малым, в то время вызвало большой резонанс. Как всегда, появились и анекдоты. Напомню один. Оказавшись дома вечером, хозяин недовольно спрашивает жену: «Что это за парень расхаживает по квартире?» Жена отвечает: «Господи, да это же твой сын!..»

Там, в доме Сталина, Рада вспомнила такой случай. Отец как-то привез из Волынского темно-красную розу. Сказал, что, провожая, Сталин повел всех в цветник и там одаривал каждого. Ему достался цветок такой необычной окраски. Сталин любил цветы, любил, взяв садовые ножницы, срезать букетик для гостя, выражая этим симпатию или просто свое хорошее настроение.

В тот день Хрущев приехал по вызову Сталина (иначе не приезжали) чуть раньше срока, прошел в комнату и, оглянувшись, увидел, что из-за шторы тянется струйка дыма и кто-то рукой разгоняет этот дым. Он сделал шаг к окну, и тут, отвернув тяжелый полог, вышел сам хозяин. После секундной паузы, поняв, что Хрущев в некотором недоумении, проговорил: «Вот все отмечают, что у Сталина сильная воля, а бросить курить очень трудно. Я сказал, чтобы убрали все пепельницы, но иногда покуриваю возле окна».

Долго стояли мы с женой возле дивана, на котором скончался вождь. Обыкновенный кожаный диван в дальнем углу комнаты, чтобы его нельзя было увидеть из окон. Маленькая тумбочка рядом, а на ней дощечка с кнопкой звонка. Невозможно было даже подумать о том, чтобы притронуться к стеганой коже дивана, таким он казался недоступным, отчуждающим.

Был час, когда вокруг этого дивана, закрывая его своими белыми спинами, суетились врачи – их собралось так много, что они мешали друг другу. А может быть, он умирал посреди комнаты, и уже потом диван вернулся на прежнее место? Светлана Сталина писала, что обстановку дачи, вещи отца сразу после его смерти куда-то вывезли по распоряжению Берия.

Над диваном в простой деревянной рамочке висела фотография: девочка кормит из соски козленка. Снимок сделал фотокорреспондент журнала «Огонек» Олег Кнорре. Помощник Сталина Поскребышев передал в редакцию благодарность вождя, и фотографа отметили высокой премией.

Рассказывали, что в миг последнего просветления Сталин поднял глаза к фотографии. Все бросились к нему, чтобы подать воды – так восприняли движение его глаз, но Сталин хотел чего-то другого… Никто не понял чего…

Сталин умирал в страшных мучениях, задыхался. Ничего не сказал в миг кончины: не мог или не захотел?

Я знаю, как умирал другой человек – Михаил Афанасьевич Булгаков. Перед войной я часто бывал в его доме, дружил с пасынками Евгением и Сергеем Шиловскими. В то время, когда Михаил Афанасьевич был уже лежачим больным, в доме всегда толпился народ – те, кто любил Булгакова и кого любил он. Чаще других бывал дирижер Мелик-Пашаев с женой. Мелик, так звали его близкие, страх как боялся любой заразы. Булгаков, врач, знал, что его болезнь незаразная (у него отказывали почки), и любил разыгрывать Мелика. Перед его приходом просил подать грим, рисовал на лице страшные «язвы», а когда Мелик подходил к постели, театрально протягивал руки и, преодолевая сопротивление друга, прижимал его к груди. Потом, естественно, он снимал грим, оба хохотали, и Мелик-Пашаев клял свою мнительность.

Елена Сергеевна Булгакова рассказывала о последних часах Михаила Афанасьевича. Он уже не говорил, глаза его стали незрячими. Елена Сергеевна почувствовала по едва уловимым признакам, что у него есть какое-то желание. Она подошла, опустилась на колени, погладила его по голове, спросила, хочет ли он пить. Тело Булгакова не отвечало. Потом, по наитию, она

спросила: «Ты хочешь, чтобы я сохранила «Мастера», ты хочешь, чтобы я напечатала его? Обещаю, что сделаю это!» И лежавший до того неподвижно Булгаков напрягся, оторвал голову от подушки и отчетливо проговорил: «Хочу, чтобы они знали…»

А потом раздался телефонный звонок. Елена Сергеевна взяла трубку.

Интересовались здоровьем Булгакова. Елена Сергеевна молчала. Тогда в трубке раздалось: «Товарищ Сталин просил узнать, не нужна ли какая-нибудь помощь». Булгакова не отвечала, а в трубке слышалось: «Алло, алло, говорит Поскребышев…»

Дом, в котором умер Булгаков, снесен, и на том месте пустырь. И дача Сталина так и не стала музеем.

Когда вечером возвращались из Волынского, все в машине молчали. Никита Сергеевич, Рада, я. Каждый был со своими думами, и, наверное, они так разнились, что никакой общий разговор просто не мог возникнуть. Все так врезалось в память, так отчетливо до сих пор… Вот эти ступеньки у входа в сталинскую дачу. Их обрамляли высокие бетонные стенки, потому что Сталин не любил, чтобы видели, как он выходит из дому на прогулку. Вдоль узких дорожек, густо обсаженных все теми же туями, почти у самой земли – светильники, прикрытые металлическими колпаками. Они освещали дорожку, а фигура человека оставалась в темноте. Так что охрана не видела Сталина в полный рост…

Сладкое слово «впервые»

К середине 50-х годов страна набирала иной, чем прежде, темп развития, входили в практику не только масштабные проекты, но непрерывно обновлялась и повседневная жизнь. В ту пору повсюду еще стояли памятники вождю, висели в присутственных местах портреты, однако в газетных статьях имя Сталина упоминалось все реже, исполнять ритуал ссылок и непременных цитирований не казалось таким уж обязательным. Часто главный редактор «Комсомольской правды» сам снимал цитату, если считал ее лишней. А ведь в начале 50-х об этом нельзя было даже подумать: оттиск полосы с перечеркнутым абзацем мог оказаться в чьей-то папочке.

В «Комсомолке» отменили специального дежурного с лупой, в обязанность которого входило разглядывать фотографии вождя, следить, чтобы среди типографских значков не возникали нежелательные сочетания – в этих случаях клише отсылали в

цинкографию на переделку. Находились ведь бдительные читатели, постоянно снабжавшие редакцию (и не только) разрисованными фото, где они «обнаруживали» то сионистскую звезду, то фашистскую свастику. Решено было не отвечать на подобные послания, и со временем их поток иссяк.

В ночь под новый, 1955 год в Кремле, только что открытом для посещений, состоялся первый молодежный бал. На ближних окраинах Москвы (теперь это почти ее центральные районы) вырастали кварталы новостроек. Надо было как можно скорее разрешить острейшую жилищную проблему. С 1953 года ввод в строй жилья непрерывно возрастал. Наша страна вышла на первое место в мире по темпам жилищного строительства. Сотни тысяч москвичей въехали в отдельные квартиры. Теперь, забыв, с какой радостью и надеждой они следили за строительством Черемушек, презрительно называют эти дома «хрущобами». Кстати, срок их службы был рассчитан на 25 лет, предполагалось, что к 70-м годам все они будут заменены новыми, более комфортабельными. Дома эти даже не ремонтировали толком. Они проседали, наружные стены под дождями и ветрами трескались и ветшали. Даже горные кряжи не в силах противостоять разрушительным силам эрозии – куда уж бетонным плитам злосчастных «пятиэтажек Хрущева»! Только во второй половине 80-х стали думать, как быть с этими непрезентабельными и по нынешним стандартам малоудобными строениями. Замелькали на газетных страницах проекты их перестройки, перепланировки. Оказалось, что в большинстве они вполне выдерживают надстройку, оснащение лифтами и другими коммунальными службами. Дома эти еще послужат людям. В тех самых «хрущобах» до сих пор проживает 60 миллионов человек!

В 1956 году мы с женой были в такой вот пятиэтажке на новоселье у знакомого медика – кандидата наук. Когда гости собрались, хозяин перерезал ленточку открытия своей квартиры. Она висела в дверном проеме совмещенного с ванной клозета. «Впервые за сорок лет, – сказал остроумный врач, – я получил возможность воспользоваться удобствами данного заведения, не ожидая истошного вопля соседа: «Вы что там, заснули?!»

На лужниковских болотах в кратчайшие сроки построен знаменитый теперь стадион имени Ленина. Застраивался Ленинский проспект, на Калининском вставали модерновые тридцатиэтажки, в Кремле построили Дворец съездов (его называли «стиляга среди бояр»).

Многое шло тогда вместе со словом «впервые». Это «впервые» усиливалось и в нас самих, в наших новых отношениях друг с другом, в причастности к общему, в атмосфере подъема

общественной энергии.

Несколько раз еще при жизни Сталина бывал я в «закрытом» Кремле, когда машина Хрущева сворачивала к Спасским воротам и останавливалась на Соборной площади. Ночное возвращение на дачу вместе с Никитой Сергеевичем затягивалось. Хрущев куда-то уходил, а я ждал его. Кремль казался затемненным. Редкие фонари не справлялись с матовой плотной темнотой. Ни света из окон, ни сияющих теперь подсвеченных куполов. Изредка площадь пересекал спешащий человек. При самой малой игре воображения легко было представить себе Кремль времен царя Ивана или Бориса Годунова. Недаром Охлопков так мечтал поставить в Кремле историческое действо. Наверное, это было бы потрясающе.

На новогоднем балу в честь открытия Кремля сотни юношей и девушек танцевали в его залах, перебрасывались снежками у крутого спуска Кремлевского вала, чувствовали себя свободно, будто бывали здесь не раз. Так ведут себя в родительском доме, у близких людей, где можно быть самим собой.

Иной становилась и внешнеполитическая деятельность. Сталин не признавал дипломатии личных контактов, после войны, кроме Потсдама, никуда не выезжал, многие сложные вопросы консервировались, оставались нерешенными. Булганин и Хрущев посетили Китай, Англию, такие поездки становились нормой. Все больше гостей приезжало в Советский Союз. Советское руководство добивалось прежде всего ликвидации двух тяжелых конфликтов – в Корее и во Вьетнаме. И вот, наконец, было подписано перемирие в Корее, затем во Вьетнаме. Советский Союз вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции подписал Государственный договор с Австрией.

Делегация во главе с Никитой Сергеевичем посетила Югославию, открыв дорогу к нормализации отношений между нашими странами. Ликвидация разрыва с Югославией, с ее героической партией и народом, вызванного сталинским своеволием, явилась хорошим знаком новых отношений между братскими партиями и странами.

Два международных события той поры, разных по своей сути, соединены в памяти: приезд к нам летом 1955 года премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве летом 1957 года. Если первое из них олицетворяло новую, «открытую» дипломатию, то второе стало шагом к открытому обществу, проявлением веры молодежи в лучшее будущее и веры в молодежь.

В том же 1955 году в Женеве, впервые за послевоенный период, состоялось совещание глав правительств четырех великих

держав с участием Булганина, Хрущева, Молотова, Жукова, Эйзенхауэра, Даллеса, Идена, Макмиллана, Фора, Пине. Так возник «дух Женевы», предвестник отступления «холодной войны». Вернувшись, Хрущев сказал, что во время встречи особо «подружился» с Даллесом: «Он был там главным». Никита Сергеевич не раз использовал «дружбу» с Даллесом. По-видимому, он вцепился в Женеве в этого американского деятеля с большой силой. Во всяком случае, на приемах, где бывали иностранные журналисты, часто говорил: «Что-то мой друг не держит слова?» – и начинал с экспрессией и юмором критиковать Даллеса за его антисоветские высказывания.

Не все в международных отношениях развивалось в ту пору просто и легко. Однако многое менялось к лучшему. В Женеве было решено содействовать обмену делегациями и отдельными специалистами. Американцы сразу же воспользовались этой возможностью… Готовились к поездкам первые наши специализированные делегации: строителей, работников сельского хозяйства, медиков, архитекторов, журналистов.

В начале октября 1955 года несколько советских журналистов «выхлопотали» визы в США. Сама эта процедура получила в то время довольно широкую международную огласку. Все уперлось в требования американской стороны получить от нас отпечатки пальцев на въездных документах. Не тут-то было, журналисты наотрез отказались: «Мы не преступники, это не в наших традициях». На приемах в иностранных посольствах Хрущев допекал американского посла этими самыми «отпечатками», поддразнивал западных журналистов: «Что же вы не заступаетесь за своих коллег?»

Наконец, после множества предупреждений и советов нас впускали в самую свободную из всех свободных стран мира, оговорив, правда, что едем мы как частные лица, не можем рассчитывать на содействие правительства Соединенных Штатов и вообще на чье бы то ни было, – словом, мы отправлялись на свой страх и риск. После поездки в США в 1945 году небольшой группы советских журналистов нам, спустя десять лет, предстояло вновь «открывать Америку».

Поездке придавалось важное значение. Нас принял министр иностранных дел Молотов. Расселись за длинным столом в его кабинете и выслушали сухо изложенную лекцию по международным проблемам, двусторонним отношениям между СССР и США. Затем мы попросили Молотова ответить на вопросы.

Были они, конечно, более чем наивными. Пить или не пить «пепси» и «кока-колу», принимать ли приглашение американцев погостить несколько дней в их семьях, чего бояться, чего не

бояться? Советы звучали вполне конкретно. Ведите себя свободно, непринужденно, но держитесь всей компанией, не стоит бродить по городам в одиночку. Иллюзия повторения знаменитого путешествия Ильфа и Петрова, тешившая наше воображение, растаяла.

В заключение Молотов сам вернулся к вопросу о «кока-коле». Стало известно, что он этот напиток не употребляет, а кроме того, дело не в его качестве или вкусе. «Кока-кола» – олицетворение американского империализма и экспансии. Так надлежит понимать вопрос.

Когда в Москве появились ларьки с вращающимися буквами «Пепси-кола», Молотов был еще жив. Мне доводилось встречаться с ним в ту пору; естественно, разговор на эту тему я не заводил, но про себя вспоминал ту давнюю беседу. «Шараханья» наши иногда удивительны. Стараниями Министерства внешней торговли мы подписали тогда своего рода «сделку века»: отправляем американцам лучшие сорта коньяка, шампанского и получаем взамен жидкость сомнительного состава. Остается надеяться, что не литр на литр.

Главное, о чем мы просили тогда Молотова, – разрешить отправиться в США пароходом. Молотов задумался: морское путешествие было делом долгим (мы добирались до Нью-Йорка целую неделю), да и билеты стоили много дороже авиационных. Пока длилась пауза, мы выложили такой аргумент: «На пароходе мы «притремся», привыкнем к американской публике». Согласие было дано.

Нет уже в живых многих людей той поры нашего «открытия Америки». Войнич, Фейхтвангера, Робсона, Грейс Келли, Мерилин Монро, дочери Кропоткина, сына Амфитеатрова. «Ду ю лайк Америка?» – до сих пор звучит в моих ушах, и до сих пор я не нашел однозначного ответа на этот вопрос. Говорят, чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. Сколько же потребуется проглотить ее, чтобы узнать страну и народ?

Пакетбот «Иль де Франс», на котором мы плыли, черно-белый красавец, водоизмещением около сорока тысяч тонн, давно уже разрезан на куски и отправлен в переплавку. Он спешил в Америку в последний раз, отгоняя зеленую атлантическую волну со скоростью в 24 узла.

Мы вообще были в центре внимания пароходной публики. Капитан Жан Камилья дал обед в честь советских гостей. Оказалось, что этажом выше, первым классом устроился Кингсбери Смит – известный американский журналист, он и стал нашим покровителем. Узнав, что мы не можем рассчитывать в Штатах на чье-либо содействие, Смит познакомил нас со многими

пассажирами, мы запаслись рекомендательными письмами и почувствовали себя увереннее.

Что там говорить – это было замечательное путешествие. Непередаваемая игра красок на волнах и в небе, теплое солнце, красивые женщины, прекрасная кухня. С утра до вечера мы толкались по палубам, демонстрировали свою «непринужденность». А вечерами, когда гремел джаз и мы показывали наши «русские» «па» в танго и фокстротах, пароход, во всяком случае его женская половина, был на нашей стороне. Кингсбери Смит шутил: «Самое время поднять над кормой красный флаг». Он, по-видимому, не ожидал такой симпатии к советским людям.

– Ну как, братцы, – то и дело спрашивал Борис Полевой, непререкаемый глава нашей группы, – помните, кто надоумил плыть пароходом?

Идея действительно принадлежала Борису Николаевичу, и все искренне хвалили его.

Однако пришел час, когда Полевой перестал напоминать о том, кто был инициатором морского путешествия: «Иль де Франс» врезался в шторм. Океанские волны стали похожими на цепи гор, покрытых шапками пенящихся снегов. Эти горы движутся, пакетбот вползает на вершину одной, второй, третьей, кажется, у него нет больше сил, он замирает, корпус судна начинает вибрировать, трещать, вылетают, как бабочки, и исчезают в пучине тяжеленные рамы палубных террас – все кончено, идем ко дну. Но нет, летим к подножию водяной горы, карабкаемся вверх, и так час за часом, кажется – вечность. «Пропади оно пропадом это морское путешествие, – думает каждый. – Уж лучше один раз упасть вместе с самолетом, чем так мучиться».

Никто из наших, к счастью, не страдает морской болезнью. При всем страхе очень хочется есть. Отправляемся на обед, держась друг за друга, валимся всей цепочкой на пол. Хорошо, если наклон совпадает с направлением нашего движения, тогда акробатический номер проходит быстрее – мы просто все вместе съезжаем к входу в ресторан. Там пусто, ни одного человека. Официанты таращат испуганные глаза: «Эти русские все-таки пришли». Повара готовят пищу и чем-то нас кормят. Бармен приносит бутылки с красным кьянти, и мы учим его одним ударом выбивать пробку.

Наконец, пакетбот вышел к мелководью, шторм стих, и к бортам «Иль де Франс» «прилепились» катера иммиграционных и таможенных служб. Чиновники тащат пассажиров вглубь парохода заполнять анкеты, бланки. Операция занимает немало времени, и мы так и не увидели статую Свободы, встречающую

гостей Старого Света.

Не взглянули мы на прощанье и на наше доблестное судно. Прямо из его чрева прошли в таможенный зал Нью-Йоркского морского порта. Шторм забыт, хотя само путешествие осталось в памяти. Доведись мне вновь направиться в Америку, я бы, пожалуй, не отказался от морского пути. Виктор Полторацкий, представлявший в нашей группе «Известия», прочитал как-то немудреный стишок:

Пускай опять приснится мне
И эта чайка на волне,
И этот синий небосвод,
И этот белый пароход.
И за кормой волнистый след
Пускай мне снится много лет.

Несмотря на статус «частных лиц», мы сразу попали под строгий контроль трех субъектов, которые представились сотрудниками госдепартамента и намерены были сопровождать советских журналистов повсюду, дабы мы не свернули с маршрута и не «заскочили» в какой-нибудь «закрытый город». Василий Васильевич Кузнецов, с которым я встречался в Китае два года назад, исполнял в Нью-Йорке обязанности Постоянного представителя СССР в ООН. Он посоветовал не обострять отношений с хозяевами: «Американцы приняли решение, и теперь ничего не поделаешь. Отправляйтесь, куда они намечают, присутствие этой троицы неизбежно, отрядите их заказывать гостиницы, автомобили. Ну и не забывайте, кто они такие».

Дважды – по северной, а затем южной параллелям – пересекла наша группа американскую землю. В пятнадцати городах мы останавливались, десятки проехали. Нью-Йорк – Сан-Франциско и обратно уже через Лос-Анджелес, Феникс, Нешвилл, другие города и городки к Вашингтону. Каждый мог сказать себе, что набирает все больше штрихов к портрету страны и ее народа и что каждое маленькое открытие избавляет от стереотипов и поверхностных суждений. Через пару недель Борис Полевой едва успевал удовлетворять «заказы» на советских журналистов – они шли отовсюду: от крупных промышленных дельцов, миллионеров, различных общественных организаций, от наших друзей, которых в Америке оказалось немало, да и просто от любопытствующей публики – как не поглядеть на живого русского.

Не обходилось без курьезов разного рода, давала себя знать психологическая несовместимость членов нашей группы, но дело было молодое, обходилось без драм. Вскоре все привыкли к

кровоточащим кускам стейков (бифштексов) – главного мясного блюда в американском рационе тех лет (как известно, теперь американцы нажимают на растительную пищу), пили «пепси» и «кока-колу», забыв о второй «политической» сущности данных напитков, поняли, что мощная струя воды в ванной лишает сопровождающих возможности проникнуть в «тайну» наших вечерних разговоров.

Многое в Америке тех лет поразило нас – небоскребы, конвейеры автомобильных заводов, дороги, деловая хватка людей, рационализм в делах и простодушие в поведении. В Вашингтоне в палате представителей нам подарили небольшие картонки вроде визитных карточек со словами: «кип смаилинг» – «улыбайся». Это – главный лозунг американского образа жизни – динамичной, рекламной, напористой, но, как нам тогда показалось, довольно примитивной и скучной. Не только о русской, советской, но даже об американской литературе, искусстве, истории, политике разговаривать можно было лишь с небольшим числом наших новых знакомых.

Когда я в мягкой форме высказал такое мнение в весьма интеллигентной семье, к удивлению, молодой хозяин не только не обиделся, но активно со мной согласился. «Да, конечно, – сказал он, – Достоевский, Толстой (единственные имена, широко знакомые американцам), духовный мир у вас глубже и интереснее. Я бывал в русских компаниях и поражался интеллектуальности бесед». После паузы он простодушно добавил: «Это идет от вашей бедности. Вот когда у вас будет столько же, сколько у нас, личных автомашин, катеров, хороших ресторанов, загородных дансингов, прекрасных дорог, гостиниц – ваша жизнь может стать такой же скучной, как и у нас…»

Случилась у меня встреча, которая имела продолжение. Когда мы вернулись с голливудских студий (разбившись на группы, удалось посетить три главных – «Метро Голдвин Мейер», «Юниверсал», «ХХ сенчери Фокс»), детектив из «тройки» сказал, что мог бы заказать столик в ресторане «Биверли хилл» (район, где тогда жили кинозвезды). Там состоится прощальный ужин в честь Грейс Келли. Она заканчивала карьеру актрисы и объявила о помолвке с герцогом Монако. Только что на студии «Метро Голдвин Мейер» я познакомился с Грейс. В паре с французским актером Луи Жюрденом она снималась в фильме «Лебедь». Сюжет сентиментален и прост. Грейс играла роль принцессы, влюбляющейся в учителя. Весь мир против, но любовь побеждает, и принцесса в объятиях бедного молодого человека. В жизни Грейс поступила как раз наоборот. Стала понятной фраза,

брошенная режиссером фильма Чарльзом Видором: «В кино вопросы брака решаются легче», – и резкий ответ Грейс Келли: «Выходит, тебе не нравится мое решение?»

Несмотря на скромный размер «суточных», трое из нас решили поглядеть на «ночную жизнь» Голливуда и небрежно бросили детективу: «Заказывайте столик».

Долго и придирчиво оглядывал он смельчаков, рискующих отправиться в ресторан. Позже мы поняли, в чем дело. Все мужчины там были во фраках или, как минимум, в смокингах. Ничего этого у нас не было. Я, помню, нарядился в украинскую вышитую рубаху. Надо сказать, рубаха произвела впечатление. Никого не шокировали и наши черные костюмы из несносимой ткани «метро».

Вечер был похож на все остальные подобного рода, будь то в Париже, Лондоне, Риме или Москве. Кавалеры приглашали дам танцевать, мужчины и женщины подсаживались к столикам друзей, кто-то провозглашал тосты, кричали «ура» в честь Грейс. Увидев «русский» столик, Грейс приветливо помахала рукой, и, взбодренные ее вниманием, мы тоже пустились на поиски партнерши для танцев. Скоро и к нам стала подсаживаться разная публика. В широченных брюках мы принесли некоторый личный запас к ужину. Он пользовался чрезвычайной популярностью, «Смирновская водка» конкуренции не выдерживала.

Грейс Келли, Мерилин Монро, Ким Новак – знаменитые американские актрисы, женщины грез, манящего жизненного успеха, чьи туалеты, косметика, прически, поведение, походка тиражировались в тысячах копиях фильмов, в сотнях тысяч фотографий и рекламных проспектов, – в тот вечер, вблизи, отбросили заученные штампы, держались просто, расспрашивали о нашем театре, кинематографе. Только одной из них, Ким Новак, удалось в начале 60-х побывать в Москве. Навестила она и газету «Известия». В «Известиях» была напечатана большая статья об актерской судьбе и смерти Мерилин Монро. Ее написал Мэлор Стуруа. Тогда этот наш поступок шокировал ортодоксальную публику. Мне передали и резкое замечание Суслова – нечего лить слезы по миллионерше.

Тяжко дались миллионы Мерилин Монро. Смерть она приняла мученическую. До сих пор Америка не знает, как и почему ушла из жизни эта блистательная женщина. Сама ли приняла смертельную дозу снотворного?

Погиб еще один человек, с которым я познакомился в тот вечер в «Биверли хилл». Мы перекинулись с ним всего несколькими фразами. Он сам напомнит мне о первой встрече. Через несколько лет Джон Фитцджеральд Кеннеди станет

президентом Соединенных Штатов Америки, и мне придется брать у него интервью.

Вернулись мы из поездки в Москву во второй половине ноября, больше месяца не были дома. На аэродроме нас встречало множество народа, почти как победителей международного футбольного первенства. Приходилось выступать на бесчисленных вечерах и в составе «семерки», и порознь – естественное любопытство после длинного периода усеченных новостей. Состоялся и второй, отчетный визит к Молотову. Никаких поздравлений, никаких вопросов. Министр все знал сам.

Мы начинали видеть мир вблизи. Это нужно было для дела. Когда в 1958 году в Брюсселе открылась Всемирная выставка, Хрущев предложил направлять для изучения опыта большие группы работников самых разных профессий, организаторов производства. Тогда так и говорили: «Едем на брюссельский семинар». А вскоре решено было, чтобы «Интурист» не только принимал иностранцев, но и организовывал массовые поездки советских людей за рубеж.

Второй доклад Хрущева

В феврале 1956 года состоялся XX съезд партии. Шло обсуждение Отчетного доклада Центрального Комитета партии и Директив по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. С докладами выступили Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев и Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин.

Съезд близился к завершению, объявленная повестка дня была исчерпана. Журналисты знали, что на закрытых заседаниях предстоят выборы руководящих органов партии. Вечерами в «Комсомолку» забегали наши друзья – секретари ЦК и обкомов комсомола из многих республик. Так мы узнали, что отъезд делегатов почему-то задерживается. Все прояснилось, когда стало известно о втором, закрытом докладе Хрущева.

Он говорил о Сталине.

Хрущев напомнил малоизвестное в то время письмо Ленина, адресованное в декабре 1922 года XII съезду партии. Владимир Ильич писал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью… Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде, в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно: более терпим, более лоялен, меньше капризности и т. д.»

Доклад Хрущева стал крупнейшим событием того времени. Съезд принял постановление о преодолении последствий культа личности Сталина: были реабилитированы тысячи невинно погибших, возвращено доброе имя оставшимся в живых. Миновали уже десятилетия с той поры, но и поныне мы ищем истоки трагических событий, сталинского произвола и преступлений. Вновь и вновь возвращаемся к письму Владимира Ильича, адресованному XII съезду партии. Так хочется верить, что то письмо Ленина, будь оно обнародовано, могло бы многое изменить и многое предотвратить. Напомню еще раз вовсе не бессмысленные слова Сталина: «Останетесь без меня, погибнете. Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Хрущев не раз повторял эти слова именно после XX съезда.

Больше тридцати лет прошло с того времени. Немалый срок, и многое должно было порасти травой забвения. Но нет, не поросло. И сколько ошибок и поздних покаяний выросло из нашего незнания… Грешить и каяться – удел слабых. Лучше без покаяний и уж, во всяком случае, без поводов для них. Говорят и другое. Мол, тридцать лет назад все, что было сказано на XX съезде, широко обсуждалось в партии и стране. На XXII партийном съезде этой теме тоже нашлось место. Может быть, достаточно? Ответ, с моей точки зрения, прост. Правда XX съезда очень скоро была сужена до «полуправды», а позже, уже к середине 60-х годов, на весь круг проблем вновь поставили гриф «секретно».

К большим и малым событиям причастен каждый, и у каждого есть право говорить о времени и о себе, если, конечно, при этом нет эгоистического расчета и тем более претензий на истину в конечной инстанции. Гласность и демократизм снимают запрет с осмысления минувших событий. Мы перечитывали все страницы нашей истории, а многие делают это впервые, открывая для себя трагизм прошлых лет.

Я не слышал доклада Хрущева на XX съезде и не стану с чужих слов передавать происходившее в зале заседаний. Сложность чувств многих миллионов людей, позднее ознакомившихся с преданными огласке фактами, быть может, точнее всего выразит одно слово – ужас. Однако не отчаяние и не растерянность властвовали в ту пору в общественном сознании. Ни у кого, кто способен был стать выше обывательских спекуляций, не возникало даже мысли, отдаленного намерения перечеркнуть или взять под сомнение завоевания нашего народа. Вовсе нелепо предполагать, что это входило в намерения Хрущева.

Уходят свидетели тех бурных лет, детали стираются. Я говорю себе: надо вспомнить. Вспомнить, чтобы вернуться, оказаться среди тех, кто жил в гуще событий, кто не мог оставаться равнодушным, ибо то время требовало личного выбора и четкого определения позиции.

Раздумывая над тем, как сделать это возвращение более точным и по возможности объективным, я решил задать себе несколько вопросов и ответить на них.

Были ли у Хрущева какие-то сугубо личные причины, амбиции, толкнувшие его на тот решительный шаг во время XX съезда – на второй доклад?

В дни дежурства у постели умирающего Сталина (он делил это дежурство с Булганиным) домой Никита Сергеевич приезжал

всего на несколько часов, осунувшийся, почерневший, мало говорил, вновь уезжал в Волынское. В траурной толпе потерялись и пропадали чуть ли не сутки его сын и младшая дочь, потрясенные случившимся и рвавшиеся в Колонный зал, чтобы проститься с вождем. В один из дней Никита Сергеевич взял с собой Раду, и она, оставив грудного ребенка, до ночи пробыла у гроба, не имея сил уйти. В последние траурные минуты Хрущев плакал, как и многие другие, и не стеснялся своих слез.

Вместе с партией, которую вел Сталин, вместе, а затем и рядом со Сталиным прошла вся его жизнь. Приехав в 1929 году с Украины в Москву, в Промышленную академию, где учились наиболее энергичные, талантливые партийцы с мест, Хрущев стал не только прилежным студентом горного факультета – вскоре его избрали секретарем парткома академии. В академии училась и жена Сталина, Аллилуева, она тоже была членом парткома. Хрущев вспоминал Аллилуеву с большим уважением, как хорошего, скромного товарища, нисколько не выпячивающего свое положение. Лишь после смерти Сталина Хрущев узнал, что Аллилуева, как и Орджоникидзе, покончила жизнь самоубийством: настолько тщательно скрывались обстоятельства их ухода из жизни.

Хрущев активно участвовал в острейшей борьбе с троцкистской оппозицией. По-видимому, Каганович, бывший в ту пору секретарем МГК партии и знавший Хрущева еще по Украине, мог рассказать о нем Сталину.

Никита Сергеевич не часто вспоминал о том, как он попал в верхние партийные круги. Иногда, уже в пенсионные годы, он мог отложить книгу, задуматься и, как бы для себя, вернуться в прошлое. Жалел, что не удалось окончить Промышленную академию, да и вообще не везло с ученьем: все время срывали с занятий по какой-нибудь острой необходимости.

Как-то я попросил его рассказать о Надежде Сергеевне Аллилуевой, о том, могла ли она вступить со Сталиным в политический спор и правда ли, что защищала Николая Ивановича Бухарина, близкого их семье человека? Не этот ли драматический узел явился причиной ее самоубийства?

Хрущев исключал такую возможность, хотя заметил, что Аллилуева могла «споткнуться на правую ногу» во время какого-нибудь спора или дискуссии. Правда, никогда не настаивала на своем, если убеждалась, что большинство товарищей ее не поддерживают. Вспомнил Хрущев и такой эпизод. Во время ноябрьской демонстрации 1932 года на Красной площади он оказался рядом с Надеждой Сергеевной. Было ветрено, дождливо, холодно. Аллилуева поглядывала на трибуну Мавзолея, явно

беспокоясь за мужа. Сказала: «Мерзнет ведь! Просила его одеться потеплее, а он, как всегда, буркнул что-то грубое и ушел…» «По-моему, – закончил Хрущев, – она боялась Сталина…» (В ту ночь Аллилуева покончила с собой.)

Уже после ее смерти Хрущев и Булганин несколько раз получали приглашение от Сталина на семейные обеды. Булганин тогда был председателем Моссовета и, вызывая их по телефону, Сталин произносил: «Отцы города, прошу на обед!» Бывали за столом отец и мать Надежды Сергеевны, ее сестра Анна Сергеевна, муж которой, Реденс, возглавлял Московское управление внутренних дел, дети. Так случалось до 1936 года; потом Реденс был расстрелян, а семья рассеяна.

«За такими обедами, – вспоминал Хрущев, – Сталин давал почувствовать, что хорошо знает, как я вел себя в академии во время борьбы с правыми и троцкистами. Такие подробности могла передавать ему только Надежда Сергеевна. Сталин вдруг мог спросить: «А ваш отец перестал плотничать, он живет с вами в Москве?» Сталин знал биографию каждого своего выдвиженца, а я, конечно, был таковым».

Эту биографию не очень-то хорошо представляли себе даже его дети. Скупые сведения об отце сохранила в памяти Рада, иногда она расспрашивала об этом деда и бабушку.

Хрущев родился 17 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской губернии, в бедной крестьянской семье. Отец его, Сергей Никанорович, зимой обычно уходил на заработки в Донбасс, он был хорошим плотником и все мечтал купить коня. В зимние месяцы посещал начальную школу маленький Никита. Летом он нанимался подпаском к помещице Шаусовой, с утра до позднего вечера бродил со стадом по окрестным лугам. Бабушка Ксения Ивановна говорила Раде, что на коня Сергей Никанорович так и не заработал, а вот она надорвалась, пока без мужа строила избенку. «Потом, – продолжала Ксения Ивановна, – засосала моего шахтерская жизнь, сорвал он нас из деревни на Успенский рудник. Стал шахтером».

Когда Никите исполнилось 15 лет, отец отвел его к управляющему заводом горнорудного машиностроения компании Боссе Вагнеру с просьбой принять сына в ученики слесаря. Так начались трудовые годы Никиты Сергеевича.

В 1959 году во время визита в США Хрущев появился в роскошном зале «Кафе де Пари» в Голливуде на приеме в его честь. Цвет артистической Америки с любопытством его разглядывал.

Отвечая Спиросу Суросу, одному из хозяев студии «XX сенчери Фокс», Хрущев говорил: «Вы хотите знать, кто я такой? Я

стал трудиться, как только начал ходить. До 15 лет я пас телят, я пас овец, потом пас коров у помещика. Это все до 15 лет. Потом работал на заводе, хозяевами которого были немцы, потом работал в шахтах, принадлежащих французам. Работал на химических заводах, хозяевами которых были бельгийцы, и вот теперь – премьер-министр великого Советского государства…»

«Мы знали это», – услышал Хрущев реплику из зала. Ему показалось, что в ней сквозила ирония. «А что если и знали, – продолжал Хрущев. – Я не стыжусь своего прошлого. Всякий честный труд, какой бы он ни был, достоин уважения. Грязного труда нет. Грязной может быть только совесть. Всякий честный труд достоин уважения…»

К тому времени, когда Хрущев приехал в Москву учиться в Промышленной академии, он, по его собственному выражению, «успел пройти полный курс шахтерского университета, Кембридж обездоленных людей России»…

Промышленная академия той поры была важной опорой ЦК партии, из нее вышли многие крупные хозяйственные и партийные руководители. В самом начале 30-х годов пришлось, недоучившись, уйти на партийную работу и Хрущеву. Сначала он был избран первым секретарем Краснопресненского райкома Москвы, а затем – Бауманского. В 1935 году стал первым секретарем МК и МГК ВКП(б). Однажды, уже в конце 60-х, я показал Никите Сергеевичу редкую фотографию: Сталин, Орджоникидзе и Хрущев идут по тротуару вдоль Большого Кремлевского дворца. Здание еще не отремонтировано как следует и выглядит обшарпанным. Идут хоть и вместе, но каждый сам по себе. Сталин – вольно, спокойно, в белом полувоенном костюме и черном коротком плаще нараспашку. Орджоникидзе, широкий и мощный в плечах, еще ниже Сталина, кажется почти квадратным. Он в косоворотке, подпоясанной тонким кавказским ремешком. Никита Сергеевич худенький, в черном костюме, в белых парусиновых ботинках, которые в ту пору чистили зубным порошком.

Хрущев долго разглядывал снимок, а потом сказал: «Наверное, это Первое мая 1936 года. Тогда я пошел к Сталину на квартиру, чтобы пригласить его на трибуну Мавзолея».

В те годы, вероятно, как и всю жизнь, Сталин цепко наблюдает за всем, что происходит в столице. Строительство метро, расчистка города от «рухляди минувших веков», реконструкция. Как-то Хрущев доложил Сталину о протестах по поводу сноса старинных зданий. Сталин задумался, а потом ответил: «А вы взрывайте ночью».

Пора строительства метрополитена долго оставалась

любимой темой в воспоминаниях Никиты Сергеевича. Чуть ли не ежедневно он начинал рабочий день секретаря горкома партии с посещения самых сложных участков проходки. Спускаясь под землю, он как бы возвращался к дням молодости, к шахтерскому делу. Он очень гордился тем, что вместе с другими метростроевцами был награжден орденом Ленина. Первым орденом в своей жизни.

Многое, в том числе и возвращение Хрущева в Москву в 1949 году, свидетельствовало о том, что Сталин давно и постоянно держал его в поле зрения.

На предвыборном собрании 1937 года в Большом театре Сталин начал свою известную речь с таких слов: «Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать, но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда, на собрание: скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать, какую именно речь?»

Тонкая и вальяжная игра этих «вы» и «ты», как бы равняющая Сталина и Хрущева, была отнюдь не случайной. Сталин в каждое слово вкладывал некий, одному ему известный дополнительный смысл. В данном случае сказанное свидетельствовало о расположении. Через год, в 1938-м, Сталин рекомендует Хрущева на пост первого секретаря ЦК Компартии Украины, его избирают кандидатом, а в 1939-м – членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Хрущеву в ту пору 44 года. На многих постах появились тогда молодые работники – тысяч старых партийцев уже не было в живых…

Там, на Украине, Хрущев встретил начало Великой Отечественной. Он прошел с войсками от Киева до Сталинграда и вновь до Киева, будучи членом военных советов многих фронтов, оставаясь комиссаром, каким сформировался в годы гражданской. В своих речах перед солдатами он не раз, конечно, призывал: «Вперед! За Родину, за Сталина!»

Позже, уже после XX съезда партии, Никита Сергеевич часто вспоминал начало войны, ее первые дни, даже дни перед самой войной, и горько упрекал Сталина за просчеты того периода. Мучила его душу тяжелая история, связанная с провалом харьковской наступательной операции в 1942 году. Войска Юго-Западного направления не смогли выполнить поставленную командованием задачу, наступление захлебнулось, велики были потери. Ответственность лежала не только на маршале Тимошенко, командовавшем этим направлением, но и на Хрущеве – члене Военного совета. Долго, практически до самых последних дней жизни это терзало Никиту Сергеевича.

Много раз передумывал он события под Харьковом,

находились доброжелатели, которые успокаивали Хрущева все новыми «вариантами» хода этой операции, снимавшими вину за поражение. Хрущев в те роковые часы звонил в Ставку, просил Маленкова разбудить Сталина, чтобы получить разрешение отвести войска, избежать окружения; говорил, что Маленков будить Сталина отказался. Но все это не гасило вины.

Часто Хрущев так оправдывал отсутствие своего интереса к мемуарам военачальников: «Известное дело, войны проигрывают солдаты, а выигрывают маршалы. Каждый из них прежде всего выгораживает и прославляет себя». Хрущев никогда не преувеличивал своей роли в войне, не шел на поводу у доброхотов. Он остался в звании генерал-лейтенанта (так он кончил войну), будучи Председателем Совета Министров СССР – Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил.

В 1951 году Никита Сергеевич выступил в «Правде» со статьей о положении дел в подмосковной деревне. К тому времени он знал, как обстоят здесь дела, видел разоренные колхозы, пустые, обезлюдевшие деревни. Он предлагал провести укрупнение колхозов, ведь в иных хозяйствах осталось всего не более 20 старух да детей, начать строительство современных благоустроенных поселков, привлечь в них горожан, расположить на подмосковных землях своего рода агрогородки.

Следом на страницах «Правды» появилась небольшая заметка, где говорилось, что статья Хрущева опубликована в порядке обсуждения. Газетчики быстро узнали, в чем тут дело: очевидно, Сталин отрицательно отнесся к предложениям Хрущева. Обсуждения не состоялось. Однако не произошло и резкого обострения в отношениях между ними. Никита Сергеевич продолжал занимать хоть и не самое видное, но прочное положение близ вождя. Не раз, снимая трубку домашнего телефона – правительственной «вертушки» – (какое-то время мы жили с родителями жены), я слышал глуховатый голос: «Мне Микиту…» – так, на украинский манер, называл его Сталин.

Вернусь, однако, к дням XX съезда. Что могло заставить Хрущева выйти на трибуну с докладом о Сталине? Чем объяснялась его решимость? Нелепо было бы утверждать, что Хрущев вовсе не знал о массовых репрессиях или не чувствовал себя виновным. Он сам говорил, что те, кто работал рядом со Сталиным, не могут снять с себя ответственности, но что она должна быть соразмерной. Нина Петровна обронила как-то фразу о том, что только после XX съезда Никита Сергеевич отдал начальнику своей охраны пистолет, который хранился в его спальне. Сам Хрущев редко делился подробностями о ночных

сталинских обедах-заседаниях, но одной, как бы дежурной реплике Сталина придавал особое значение. Сталин мог вдруг, прервав застолье, спросить кого-либо из присутствовавших: «Что-то у вас сегодня глазки бегают?»

«Бегающие глазки» были плохим признаком. Вопрос этот и долгая пауза вслед обескураживали. В последние месяцы жизни Сталина на таком ближайшем «прицеле» вождя были Молотов, Микоян, Ворошилов. Что это значило, каков следующий шаг – им было прекрасно известно. Знал, конечно, это и Хрущев.

К 1956 году десятки тысяч известнейших партийных работников, военных деятелей, дипломатов, писателей, ученых были реабилитированы. С мертвых снимались ложные обвинения, их имена очищались от наветов и диких оговоров. Живым нужно было не просто участие, извинения, восстановление чести и достоинства. Им вернули паспорта, выдали денежную компенсацию, помогли устроиться с жильем, подыскали работу. Но требовалось и открыто сказать о тех трагических процессах, которые приобрели массовый характер. Уже до XX съезда и, конечно, в ходе заседаний у Хрущева крепло убеждение, что сказать откровенно об этом прежде всего должна партия. Соответствующий материал, который готовила специальная комиссия ЦК, куда входили большевики-ленинцы, вернувшиеся из лагерей и ссылок, в один из последних дней работы съезда лег на его стол.

Многие подробности о «врагах народа» начали доходить тогда до Хрущева, открывая истоки и размах массовых репрессий. Наверное, стыд и ужас соседствовали в его душе. Конечно, он знал и был причастен к репрессиям и гибели многих товарищей, ставил свою подпись на приговорах «особых» совещаний и троек.

Разные варианты восстановления истины и справедливости занимали ум Хрущева, бесспорно одно: он не испугался личной ответственности, душа его не зачерствела. На этот счет есть важное свидетельство. Связано оно с именем Алексея Владимировича Снегова, члена партии с 1917 года, активного участника октябрьских событий 1917 года. В 1937 году он был арестован. Его допрашивал Ежов, каким-то чудом он избежал расстрела и получил «всего» 15 лет лагерей…

Вот что рассказал мне Леонид Давидович Крымский – один из тех, кто принял мученическую долю сына «врага народа».

«31 декабря 1951 года в Центральную лагерную больницу в Абези (это место в переводе с языка коми означает «яма», и расположено оно вблизи северных отрогов Уральского хребта, за Полярным кругом) доставили очередную группу больных. Я в ту пору был здесь патологоанатомом и одновременно заведовал

терапевтическим корпусом: врачей не хватало. Меня отвел в сторону дежурный врач и тихо спросил, знаю ли я Снегова. Он сообщил, что Снегову известна моя фамилия, так как он в тридцатые годы работал в МК ВКП(б) с Д. М. Крымским и сейчас интересуется, не его ли я сын?

Мой отец, старый большевик, до 1937 года заведовал отделом руководящих партийных органов в МК ВКП(б) и был расстрелян по ложным обвинениям в государственной измене. Я же, комсомолец, кандидат медицинских наук, был арестован в 1950 году в возрасте 26 лет и отправлен в особо режимный лагерь потому, что Берия дал указание репрессировать всех сыновей партийных работников, расстрелянных в 1937 году. Я с детства был воспитан на рассказах о гражданской войне, участником которой был мой отец, о нескольких встречах с Лениным в период организации комсомола, о дружбе с Н. К. Крупской, которая относилась к нему с большой теплотой. Я видел, как день и ночь работает мой отец на благо партии и государства, слышал, как он, делегат XVII партийного съезда с решающим голосом, с восторгом рассказывал о встречах с «большим хозяином» – Сталиным, о его мудрости, о вере в его способность руководить страной. Арест отца потряс меня: я-то, зная его как никто другой, был всегда убежден в том, что он преданный большевик-ленинец, готовый без колебаний пожертвовать всем ради торжества великого дела коммунизма. Гибель отца для меня была всегда незаживающей раной, я считал его мучеником, погибшим за правое дело. Я живо представлял себе, с какими мыслями он шел на казнь, погибал от рук своих. Даже сидя в лагере, я считал, что мое личное несчастье – ничто по сравнению с этой трагедией.

Все это я рассказываю, чтобы были понятны чувства, когда мне сообщили, что какой-то человек, товарищ по несчастью, знал моего отца, вместе работал с ним.

Снегова удалось устроить в мой корпус, и под разными предлогами я держал его около себя больше года то в качестве больного, то в роли внештатного фельдшера.

Полтора года совместной жизни и работы в лагере, равные пятнадцати обычным, «мирным» годам, повседневное тесное общение сблизили нас, укрепили мое коммунистическое мировоззрение. Поначалу я видел в Снегове человека с трагической судьбой моего отца, затем передо мной во всем богатстве раскрылась его душа. Он всегда говорил мне, что яма, на дне которой мы сидим, не имеет никакого отношения к Советской власти, что Сталин – это тоже не Советская власть. Он рассказал мне о завещании Ленина и о характеристике, данной Сталину великим вождем. «Вся трагедия партии в том, что она в

свое время не послушалась Ленина и не отстранила Сталина от руководства», – говорил Снегов. Я был потрясен: я-то ведь этого не знал раньше.

Снегов всегда говорил, что идея коммунизма сильнее любых невзгод и ее не удастся дискредитировать никакими беззакониями бериевской банды. За всеми этими такими волнующими разговорами – ни одной жалобы на личную участь и только большая тревога за судьбы страны и партии, высказываемая в условиях, полностью исключающих демагогию и вранье. И факты, множество фактов, имена, даты, удивительно сбереженные светлым умом этого человека. Я спрашивал, почему же участники процессов 1937 года, большевики, делавшие революцию, не раз глядевшие в глаза смерти в борьбе за Советскую власть, давали такие чудовищные показания, оказались слабыми людьми?

«Они были сильными и преданными людьми, – отвечал Снегов. – Они были настолько преданными, что предпочли умереть, согласиться на чудовищную ложь, лишь бы на публичных процессах перед лицом всего мира не дискредитировать дело, бывшее им дороже жизни». Это объяснение я не раз слышал от старых большевиков, загнанных Сталиным в тюрьмы. Глядя на Снегова, маленького, одетого в лохмотья, я видел перед собой гиганта духа, ничем не сломленного большевика, настоящего коммуниста. Мне казалось важным сберечь этого человека, ведь мы твердо верили в то, что кошмарный сон, персонажами которого мы являлись, не может не кончиться.

5 марта 1953 года вселило в нашу абстрактную надежду твердую уверенность. Со спины у нас, заключенных, спороли номера, и под страхом карцера было запрещено хранить их. В поведении администрации лагеря чувствовалась нервозность, участились ночные проверки и обыски. Боязливо оглядываясь по сторонам, в бараки заходил то один, то другой надзиратель и говорил: «Ведь я-то вам ничего плохого не делал, ребята». – «Пошел вон, мерзавец», – отвечали ему.

В безлюдной части лагеря, вблизи покосившегося, вросшего в землю морга, медленно прогуливались три человека: Снегов, я и Куликовский – бывший государственный санитарный инспектор Донецкой области, осужденный в 1938 году к 20 годам заключения по обвинению во вредительстве.

– Сейчас очень тревожный период, – говорил Снегов. – Берия – министр государственной безопасности. В его руках – неограниченная власть, и он воспользуется ею, чтобы расправиться с новым правительством, стать диктатором. Он

хорошо усвоил методы своего учителя. Я знаю этого мерзавца еще с начала тридцатых годов по работе в Закавказском крайкоме партии. Я был заворготделом, он – начальником Грузинского ГПУ. Мне известно, что через своих подручных он устраивал «восстания» в горах, «подавлял» эти восстания, а затем прятал концы в воду, уничтожая своих сообщников-провокаторов. Затем он сообщал Сталину о подавлении несуществующих восстаний и таким образом выслуживался перед ним. Продвижение по службе шло быстро: вскоре начальник ГрузГПУ стал начальником ГПУ всего Закавказья.

Особенно высоко оценил Сталин деятельность Берия после выхода в свет фальшивки, которая называлась «К истории большевистских организаций в Закавказье». В ней превозносилась роль Сталина в организации марксистского движения на юге России. Читая этот «труд», можно было подумать, что Сталин был единственным руководителем социал-демократических организаций в Закавказье. К моменту выхода в свет этой книги, чтобы пресечь всяческие разговоры, Берия физически уничтожил цвет революционного движения на Кавказе. Вы представляете себе, какая опасность нависнет над страной и партией, если этот авантюрист захватит власть в свои руки? Мало осталось людей, которые знают об этой, истинной деятельности Берия. Нужно разоблачить и уничтожить его, и чем скорее, тем лучше. Иначе будет поздно. Нужно написать письмо с изложением этих и многих других фактов. Кому? Только одному человеку – Никите Сергеевичу Хрущеву. Я его знаю и верю ему, он – настоящий большевик. Впервые за долгие годы заключения настало время действовать и действовать быстро. Надо дать в руки партии эти документы. Если они попадут к министру государственной безопасности, со мной тут же расправятся. И с вами тоже, – после паузы сказал Снегов и посмотрел на нас. – Можете умыть руки. А если я попадусь, я вас не выдам. Я должен рискнуть собственной шкурой, иначе грош цена мне как коммунисту.

Легко сказать – написать такое письмо. Где? Когда? Каждый квадратный сантиметр территории лагеря просматривался. Особые подозрения вызывал пишущий человек. Надзиратели заглядывали через плечо врача, записывающего историю болезни. Но самая главная трудность состояла в отправке письма.

Даже если допустить такую невероятную вещь, что кто-нибудь из администрации лагеря согласится бросить письмо в почтовый ящик, оно все равно не попадет по назначению, так как вся корреспонденция проходила строгую цензуру. Все эти трудности казались неразрешимыми.

Но мы рискнули. Снегов писал письмо в моей ординаторской.

Он сидел голый по пояс и писал, а мы, два врача, я и Куликовский, сидели рядом, приставив фонендоскоп к его груди. Были приняты строжайшие меры предосторожности: редкая цепочка выздоравливающих больных была расставлена около барака и давала нам знать о приближении надзирателей или ненадежных людей. Рукопись быстро прятали в трубу нетопящейся печки. Надзиратель, входя в ординаторскую и окидывая ее рассеянным взглядом, видел двух врачей, осматривающих больного. При этом не обходилось без курьезов. Снегов писал письмо, разоблачающее Берия, а Куликовский, помогавший ему, был удивительно похож на этого бандита; сходство усиливалось тем, что он носил такое же пенсне. Куликовский смеялся вместе с нами, но и страдал от этого сходства. Это был юмор висельников.

Письмо было написано, тщательно отредактировано и зашито в старый заплатанный ватник Снегова. Теперь нужно было его отправить. Для этого, как нам казалось, существовала единственная возможность.

В каждом больничном корпусе (кроме корпусов, в которых лежали больные с открытой формой туберкулеза) работала вольнонаемная сестра, главная функция которой состояла в надзоре за правильностью лечения больных. Была такая сестра и в моем, терапевтическом корпусе. Член партии, молодая женщина, коми по национальности, мать троих детей. Она поверила заключенному Снегову и пошла на страшный риск, пронеся письмо за зону. Во время командировки в Москву один из родственников нашей сестры, не имевший представления о содержании письма, вручил его близкой родственнице Снегова. В отдельной записке ей были даны строгие инструкции о том, что письмо должно быть вручено из рук в руки только Никите Сергеевичу Хрущеву и никому больше. Она так и поступила.

В течение нескольких дней подряд в приемную ЦК КПСС приходила пожилая женщина и просила свидания с Никитой Сергеевичем. Ее неизменно спрашивали: зачем? по какому делу? как доложить Первому секретарю ЦК о вашем деле?

– По важному государственному делу, – отвечала она. – Впрочем, если меня не пропустят, пеняйте на себя. Я ухожу.

Ее провели к Первому секретарю ЦК КПСС. Никита Сергеевич вспомнил Снегова, которого он знал по работе в Донбассе, внимательно прочитал письмо и обещал разобраться…

– Снегова к начальнику лагпункта, – крикнул надзиратель, входя в корпус. Каждый вызов в административное здание был, как правило, связан с неприятностями, и мы насторожились. Снегов отсутствовал более трех часов и вернулся усталый,

возбужденный. Оказалось, что приехал полковник из Москвы, который пытался узнать, писал ли Снегов Никите Сергеевичу Хрущеву, как и через кого отправил письмо.

– Я ничего не писал, никаких писем не отправлял, – неизменно отвечал Снегов.

На третий день допросов терпение полковника истощилось, и он уехал, ничего не добившись от Снегова. На следующий день Снегову приказали собираться в этап. Его вывели за зону, и он исчез, как исчезали до него многие другие.

Все, о чем будет рассказано дальше, я узнал много позже.

Следствие и этап – самое тяжелое в жизни заключенного. Душный переполненный «столыпинский вагон», как называли тюрьму на колесах, издевательства конвоя, тесное общение в купе-камерах с уголовниками, длительные остановки в этапных тюрьмах, грубая пища всухомятку, ограниченные порции питья – все это способно подорвать здоровье и молодого, крепкого человека. Наконец, Снегова привезли в Бутырскую тюрьму и поместили в одиночную камеру. Через несколько дней у него была многочасовая беседа с представителем Генерального прокурора СССР. К исходу третьего дня лязгнула обитая железом дверь камеры. Снегова вывели, посадили в «черного ворона» и повезли. Минут через пятнадцать машина остановилась у внушительного приземистого здания штаба Московского военного округа. В ярко освещенном подвале среди высших военных с суровыми озабоченными лицами Снегов приметил огороженное барьером место, которое занимал человек со знакомым и ненавистным ему лицом. Снегов узнал Берия, а Берия – его. Как, должно быть, жалел Берия, что не расправился со Снеговым раньше!

После очной ставки Снегова отправили в тюрьму, а затем – в этап. Однако он успел доехать только до Печоры. Семнадцатилетнее заключение кончилось, освобожденного Снегова срочно вызывали в Москву.

А дальше все было как в сказке. Вскоре по приезде в Москву Снегов был очень тепло принят Никитой Сергеевичем. Это были счастливейшие дни в его жизни.

– После отдыха вы будете работать в Министерстве внутренних дел. Партия посылает вас на очень важный участок работы. С произволом и беззаконием раз и навсегда покончено. Предстоит большая и важная работа по ликвидации последствий культа личности, и вы должны в ней активно участвовать, – говорил Никита Сергеевич.

Справедливость восторжествовала: мой отец был посмертно восстановлен в партии, а я – реабилитирован и работал в

Институте хирургии имени А. В. Вишневского, научном учреждении высшего класса, вместе с замечательным хирургом А. А. Вишневским.

Шел XX съезд партии. Нас, сотрудников института, собрали в актовом зале и ознакомили с докладом Никиты Сергеевича Хрущева о ликвидации последствий культа личности Сталина. С глубоким волнением я вслушивался в каждое слово этого потрясающего документа. В руководстве партии нашлись люди, настоящие большевики-ленинцы, сказавшие правду народу о Сталине, решившие покончить со всем тем, что нам мешало двигаться вперед. Какова же была моя радость, когда я услышал: «Вот что нам пишет старый член партии товарищ Снегов…» И далее следовала выдержка из письма Снегова Н. С. Хрущеву, строки которого я знал почти наизусть. Никита Сергеевич воспользовался этим письмом! Факты, содержащиеся в нем, он посчитал настолько важными, что включил их в свой доклад. Снегов оказал важную услугу партии, а мы все, помогавшие ему, тоже стали участниками этого благородного дела. Я считал Никиту Сергеевича самым близким человеком, не только своим спасителем, но спасителем России. Однако находились люди, которые говорили: «От кого надо было спасать Россию?» А разве не от кого? Прежде всего – от лжи».

Никита Сергеевич много раз вспоминал ночь уже перед последним днем работы съезда – тогда он еще раз перечитал страницы доклада, и ему померещилось, что он слышит голоса погибших товарищей. Что творилось в его душе? Его, конечно, угнетала вина перед ними.

У каждого свое право судить Хрущева за такой поворот XX съезда, за ту роль, которую он сыграл в истории нашей страны и партии. Бесспорно, по-видимому, одно: этот съезд никого не оставил равнодушным. Стало ясно, что за зло, за преступления против народа рано или поздно придется нести ответ, что из умолчаний не возникнет прощения.

Еще живы охранники тех лагерей, где содержались «враги народа». Для них этот съезд – тоже трагедия. Один из таких написал в журнал «Огонек» о своих «душевных муках». Нет, не напрасно стерег он эту «гидру», кормил с ней наравне таежного гнуса. Не убедит его никто, что академик Вавилов не враг. У папаши-купца не мог вырасти честный сын. От этого «крика души», каким бы бессердечным или злобным он ни казался, не отмахнешься. Как не отмахнешься и от риторики тех, кто развенчание Сталина воспринимает так, будто опорочивается вся их жизнь, будто перечеркивается все, что совершено партией и

народом…

В то утро, когда Хрущев решился, я думаю, он не предполагал, какой сложной будет история решений XX съезда. Не знаю, так это было или нет, высказываю свою точку зрения, но доклад этот Хрущев сделал как бы неожиданно. Мог ли он задолго до съезда обсуждать доклад с членами Президиума ЦК, в особенности с теми, кто тоже должен был нести свою долю ответственности? Удалось бы ему произнести его в таком случае? Он принял решение апеллировать к партии, обратившись непосредственно к съезду.

Когда он объявил о своем решении, его стали пугать непредсказуемыми последствиями. Чем сильнее противились Молотов, Маленков и Ворошилов, тем тверже становилось убеждение Хрущева: надо открыть все. Принять половинчатое решение, осуждающее культ личности Сталина, и не вдаваться в подробности массовых репрессий, с его точки зрения, означало обман партии. Он предложил Молотову выступить с докладом. Тот отказался. Никита Сергеевич предупредил, что не изменит решения и выступит с докладом в качестве делегата съезда. Не остановило его и то, что он ставил под удар и себя, ведь он тоже был рядом со Сталиным. Он сказал, что лгать и изворачиваться не будет. «Придут молодые, спросят: почему смолчали? Что ответим им мы? Как они отнесутся к нам? Спасали свои шкуры, не хотели ответственности? Не жгла боль за гибель товарищей?!»

Так вспоминал Хрущев тот день своей жизни.

Его решение требовало немалого мужества. Поймут ли его? Поддержат? Встанет ведь и вопрос: а где же ты был раньше, дорогой товарищ, разве не знал, что арестовывают твоих друзей по партии, тех, с кем ты работал много лет бок о бок, неужели верил, что все это враги?

До сих пор мы задаем себе и другим эти вопросы. Верил или не верил Блюхер в виновность Тухачевского, подписывая вместе с другими членами Военного трибунала смертный приговор одному из своих товарищей, герою гражданской войны и тоже маршалу? Верил или нет Михаил Кольцов, когда в 1937 году на конгрессе писателей в Париже гневно клеймил позором «пятую колонну» и радовался, что «врагов» безжалостно уничтожают? Несколько месяцев спустя он был арестован и погиб так же, как Блюхер, как тысячи других – веривших…

Пленум ЦК 1938 года, низложение, а затем и арест Ежова несколько разрядили ситуацию. Репрессии пошли на убыль. Хрущев уехал на Украину. На одной из послесъездовских встреч Хрущеву пришла записка из зала с вопросом о том, как могли допустить такие репрессии, что делали для их прекращения

партийные руководители. Никита Сергеевич попросил встать того, кто задал этот вопрос. Никто не поднялся. «Мы боялись так же, как и тот, кто спрашивает об этом».

Боялись… Думаю, это было сказано искренне.

Никита Сергеевич был делегатом XVII партийного съезда, и однажды Микоян рассказал ему об эпизоде, случившемся в те дни. Когда съезд шел к концу, в перерыве между заседаниями в комнату Президиума вошли несколько секретарей обкомов партии во главе с Варейкисом – секретарем партийного комитета Центральной Черноземной области, занимавшим видное положение в партии. Подошли к Кирову. Попросили передать Сталину свои замечания о его грубости, нетерпимости, заносчивости. Киров перебил: «Скажите Сталину сами». – «Ты в друзьях, тебе легче и проще». Появился Сталин, и Киров передал ему разговор. Анастас Иванович запомнил ответ Сталина: «Спасибо, Сергей, ты настоящий друг, я этого не забуду».

Съезд победителей, а именно так он назван в истории партии, закончился на большом подъеме. Успехи были неоспоримы – индустриализация превращала СССР в могучую державу. Долго гремела овация в честь Сталина. Но, видно, не радовала его. Да и как могла радовать, если несколько сотен делегатов вычеркнули его имя из списка для тайного голосования? Как он мог верить людям? Рукоплещут и ненавидят! Мнительность его уже перешла в мстительность. Иначе как объяснить тот факт, что из 1966 делегатов съезда 1108 были вскоре уничтожены, в том числе 98 из 138 членов и кандидатов в члены ЦК.

Но прежде случилось страшное.

1 декабря 1934 года был убит Сергей Миронович Киров.

Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата» дает свою версию этого убийства. С ней можно соглашаться или не соглашаться. Роман не документ. Убийство Кирова, быть может, самая ужасная тайна, так и не проясненная до конца. XX съезд создал комиссию по расследованию обстоятельств злодейского убийства. Удалось выявить некоторые факты. Никите Сергеевичу сообщали, что отыскался шофер машины, в которой везли арестованного начальника личной охраны Кирова. Неожиданно из рук этого шофера сидевший с ним рядом сотрудник НКВД вырвал руль, машина врезалась в стену дома. Тут же в крытом кузове автомобиля раздались не то выстрелы, не то тяжелые удары. Это все, что запомнил шофер, теряя сознание. Так во время инспирированной автокатастрофы погиб начальник личной охраны Кирова. Вскоре уничтожили и тех, кто его арестовывал. Исчезло множество других лиц, так или иначе замешанных в этой

истории. Не знаю, закончила ли работу комиссия. Во всяком случае, деятельность ее замедлилась, а там, по-видимому, и вовсе прекратилась. Теперь, наверное, узнать правду очень трудно. Однако живы председатель той комиссии и многие ее члены. Как говорится, было бы желание.

Какова цена

XX съезд входил в жизнь. Казалось, двойная мораль отживала свой век. Набор прежних клятв и уверений, славословие так резали ухо, что достопочтенные творцы од приумолкли. Во всяком случае, на самое первое время. Нам казалось: навсегда. Может быть, именно по этой причине «притихшим» удалось отсидеться.

В свете новых знаний, новой правды прервалась инерция привычного, рушилась философия «все до лампочки».

Из жизни общества уходили имитация чувств, страх.

Этот проклятый страх! Почему он держится так долго? Как и зачем был он встроен в нашу жизнь?!

Как случилось, что многие не только мирились, когда их называли «винтиками», но и гордились этим: крепите нас куда угодно, вставляйте в любую машину, мы все разом закрутимся, лишь бы двигалось дело. Лишь бы… Эта самоотверженность казалась главным. Мы и сегодня, когда речь идет о самом святом, о человеческих жизнях, поем: «А нам нужна одна победа, одна на всех – мы за ценой не постоим…»

Почему мы не думаем о цене?

Или думаем и молчим?

Это все тот же страх.

На вечере, посвященном семидесятилетию «Известий», выступал Михаил Ульянов. Он рассказал одну поучительную историю.

«Знаете ли вы, как учат гордого орла быть послушным воле человека, исполнять любой его приказ? Молоденького орла-птенца заносят в юрту, накидывают ему на голову кожаный мешочек и сажают на бечевку. Орленок цепко держится за нее лапами. Бечевку раскачивают. Птица в ужасе, ничего не видит, не понимает, ждет хоть минутной передышки. Через какое-то время колпачок снимают, протягивают орленку руку. На ней спокойно, устойчиво. А потом все сначала. Накидывают колпачок на голову, веревку раскачивают. Длится все это столько, сколько нужно человеку, чтобы сделать гордого орла покорным, чтобы он охотился для человека, приносил ему добычу и забыл о далеком

небе, о свободном полете».

Не так ли и с нашим страхом? Его внедряли десятилетиями, пуская в ход немало разных приемов. А в человеке велика жажда твердой почвы под ногами, и вот уже бес-искуситель нашептывает: «Не трепыхайся, говори «согласен», думай про себя что хочешь, это твое личное дело, а на людях принимай все с одобрением, ведь ничего другого от тебя и не ждут».

Отчего возникли чувства самоцензуры и приспособленчества? На пустом месте возникли они? Хрущев о себе самом сказал: «Боялся!»

Страх испытывали все. Вспомните маршала Жукова. В книге воспоминаний он уже писал об этом. Те, кто был особенно близок к вождю, хорошо знали, какую цену приходится платить за эту близость. Иначе не объяснить унизительных, трагических ситуаций в их судьбах.

Как понять Молотова, с его исключительной верностью всему сталинскому, как оценить его человеческие чувства, если он терпел арест и пребывание в одиночке собственной жены? Он что, верил в виновность Полины Семеновны и спокойно дожидался, пока Берия доложит Сталину о ее прегрешениях?

А каково было Михаилу Ивановичу Калинину, жена которого много лет провела на каторжных работах, а он ничего не мог сделать для облегчения ее участи?

Екатерину Ивановну арестовали в 1937 году, а выпустили по амнистии (!) в 1945-м, когда Михаил Иванович был уже тяжело болен. Выпустили, но не разрешили жить на кремлевской квартире, предложили переехать на другую. Можно представить душевное состояние Екатерины Ивановны, когда ей пришлось идти за гробом Михаила Ивановича рядом со Сталиным, Маленковым, Берия.

Я был знаком с Екатериной Ивановной: в 60-е годы она приходила в редакцию «Известий», просила помочь в организации музея Михаила Ивановича, но никогда не говорила о пережитом.

По-иному вела себя Полина Семеновна Молотова. После выхода из тюрьмы встретила как-то меня с женой на улице Грановского. Громко, с вызовом прославляла Сталина. Трудно было поверить в ее искренность. Видно, и после смерти вождя в ней крепко держался запас страха. И таких, как она, было немало.

В 1936 году мужественный латышский коммунист, работавший в Москве в Коминтерне, Ян Эдуардович Калнберзин был нелегально переправлен в Латвию: ему поручалось возглавить партийное подполье. В условиях жесточайшего террора он занимался организацией партийных ячеек. В 1939 году его схватили. Много месяцев томился он в одиночке, ожидая

последнего часа. Через год после отъезда Яна Эдуардовича в Латвию арестовали его жену, Илгу Петровну. Спустя два года она погибла в «Бутырках». Осталось трое маленьких детей. Старшей, Рите, шел 9-й год, Роберту – 7-й, Илге исполнилось полтора. Их отправили в детские дома; Рита едва выплакала брата, упросила послать вместе с ней, а куда отвезли младшую, им не сказали. Отец ничего не знал о судьбе семьи.

Ян Эдуардович избежал смерти. В 1940 году в Латвии была установлена Советская власть. Калнберзин стал первым секретарем ЦК Компартии республики. Он сразу же поспешил в Москву, где с громадным трудом нашел адреса детей.

Ян Эдуардович, сдержанный, скупой на слова человек, только однажды признался дочери: «Я ничего не спрашивал о твоей матери. Это было бессмысленно. Они тоже ничего мне не сказали. Не вини меня за это. Не знаю даже, где ее могила…»

С Ритой Калнберзин мы вместе учились в университете, с тех пор дружим, и этот рассказ – с ее слов.

В «закрытом» докладе Хрущева, широко известном во всем мире, множество не менее страшных и не менее трагичных историй. Они как бы вне логики. Вне нормального человеческого понимания. Как-то объяснимы, может быть, только первые толчки, первые побуждения начать репрессии. В начале и середине 30-х Сталин бил по тем, кто действительно мог быть или казался ему противником, по коммунистам, входившим когда-то в те или иные партийные фракции. Они давно осознали свои заблуждения, ошибки, активно работали на самых разных постах, но все-таки вызывали его недоверие. А затем – XVII съезд, который он никогда не забывал. Он не любил и считал потенциальными врагами многих старых коммунистов, особенно тех, кто был близок Ленину.

Чем больше он уничтожал своих действительных или мнимых противников, тем шире становился круг тех, кто, с его точки зрения, мог стать на пути, кто располагал той силой самостоятельности в решениях, какой он боялся. Эти люди не укладывались в созданную им схему власти. Могли помешать утверждению его особой роли в истории. Так возникали все новые и новые «пласты» неугодных, обиженных или чересчур угодливых – таких он тоже не любил. Число их возрастало в геометрической прогрессии. Партийные, советские, хозяйственные работники, военные, дипломаты, ученые, деятели культуры, а там уже и лечащие врачи, и домашняя прислуга.

Естествен обычный человеческий вопрос: неужели он не приходил в смятение от гибели миллионов? Неужели эти миллионы состояли для него не из отдельных людей, не из плоти,

что дышала, думала, страдала, совершала обыденные поступки, а представлялись аморфной массой, неужели он не помнил лиц?

Очевидцы рассказывали мне, что, когда в 1949 году он вдруг решил сменить редколлегию «Правды», обосновав это свое намерение тем, что газета слишком раздувает культ личности Сталина, и, медленно прохаживаясь по комнате, начал называть членов редколлегии нового состава, присутствующие замерли. Он рекомендовал на посты заведующих основными отделами тех, кого давно уже не было в живых. Он знал об этом, ведь уничтожили их с его согласия. Никто не перебил вождя. Главным редактором назначили Суслова, тот все отрегулировал.

Оставим в стороне воспаленное воображение Сталина, расставлявшего капканы для своих врагов. В угоду ему тысячи людей – следователей, членов «троек», «особых совещаний», громадный репрессивный аппарат занялся придумыванием диких сюжетов о врагах народа, их связях, намерениях. Версии, шитые белыми нитками, «запускались» в работу, и никакие доводы логики, элементарной сцепленности людей и событий не могли изменить замысла тех, кто стоял на страже «государственной безопасности». Если подследственный сопротивлялся, не принимал обвинений, пытался доказать их абсурдность, нужные показания выбивали дубинками, пытками.

На этот счет есть неопровержимые свидетельства оставшихся в живых, перенесших муки ада в тюрьмах и лагерях. Я писал о том, что уже после войны, 1 января 1949 года, арестовали жену Молотова Полину Семеновну Жемчужину. Причина ее ареста, как тогда говорили, связывалась с деятельностью Еврейского антифашистского комитета, организованного во время войны. Через этот комитет собирали большие средства в помощь Красной Армии. После войны деятельность комитета стала раздражать Сталина. Началась кампания против «космополитов». Жемчужина оказалась за решеткой, как и многие другие лица еврейской национальности…

К Жемчужиной подбирались задолго до ареста. Дочь известного врача Александры Юлиановны Канель – Дина, арестованная после смерти матери в 1939 году, расскажет об этом.

Александра Юлиановна в 20–30-х годах была лечащим врачом многих семей видных деятелей партии, ее хорошо знали Мария Ильинична Ульянова, Надежда Константиновна Крупская. В 1932 году А. Ю. Канель отказалась подписать фальсифицированное сообщение о причине смерти Надежды Сергеевны Аллилуевой от приступа аппендицита. Со слов Жемчужиной она знала, что Аллилуева покончила

самоубийством. Сталин не простил «упрямства» Канель – забрали ее дочерей.

Пройдя через тюрьмы и лагери, Дина Канель расскажет, в чем обвиняли ее мать:

«В том, что она работала сразу на три европейские разведки: на немецкую, французскую и польскую (возила Каменеву в Берлин, Калинину в Париж, а в Варшаву заезжала к сестре, вышедшей замуж за поляка еще до революции!). Канель была вместе с Жемчужиной за границей, и, конечно, не случайно: Жемчужина была связана с Канель шпионской работой, а лечение – это просто маскировка! Они встречались там, в Европе, с работниками иностранных разведок, передавали шпионские сведения, получали задания. На имя Канель в банке лежала крупная сумма денег, переведенная этими разведками. Канель вовлекла в шпионскую работу и дочерей – Дину и Лялю, и после ее смерти Ляля с мужем ездила за границу специально для того, чтобы поддерживать шпионские связи, налаженные матерью. А в организации этой поездки им помогала Жемчужина! В квартире Канель, на Мамоновском, встречались оппозиционно настроенные к Советской власти люди, там велись антисоветские разговоры. И помимо этого на Мамоновском был «дом свиданий», и Жемчужина приезжала туда со своими любовниками, она вела развратный образ жизни, и Александра Юлиановна покрывала ее».

Эти факты приводит в своей книге «Скрещение судеб» известный критик Мария Белкина. Она пишет о последних годах жизни Марины Цветаевой и ее детей. Ариадна Сергеевна Эфрон – дочь Цветаевой, отбывшая в ссылках 16 лет, встретилась с сестрами Канель в тюремных камерах.

Привожу эти свидетельства не для нагнетания ужасов из «того», сталинского, времени; они должны быть открыты, чтобы не вводить в заблуждение общественность сглаженными формулировками. Давно уже нет вождя народов, большинства его ближайших сподвижников, но еще живы стукачи и следователи, ведшие дела невинных. Живы охранники тех лагерей, и не должно быть им морального прощения. Иначе они вылезут в свой час из нор, но тогда уже будет поздно.

Удивительные откровения слышим мы и сегодня от тех, кто считает тему репрессий исчерпанной. «Вот у меня были арестованы брат, сестра, отец, были в семье и расстрелянные, а я не хочу больше никаких новых подробностей, нечего разрушать жизнь, надо ее строить!»

Историческая забывчивость, требование «душевного комфорта» для созидания счастливого общества настойчиво

переносятся и на все другие, вполне современные проблемы. И вот у нас уже нет ни обездоленной старости, ни детей, брошенных родителями, ни бродяг, ни проституток, ни организованной преступности, ни торговой мафии, ни наркомании. В создании таких картинок повинен и я сам, и многие мои коллеги-журналисты.

Такая позиция не просто вредна, она преступна по отношению к людям, к народам, образующим наше общество, к социалистическим устоям, так как она лжива. Ложь во спасение не помогает, а мешает осознанию тех критических рубежей, которые нам необходимо взять в годы революционного обновления общества.

Кто бы и какими бы выспренними словами ни клялся, что он успешно строил социализм, не уйдешь от того факта, что наши машины, электроника, медицинская, легкая, пищевая промышленность, автостроение, качество жилья, быта, технология во множестве отраслей народного хозяйства уже далеко отстают от аналогов в развитых государствах мира. Довольствоваться тем, что мы «сверхдержава», наивно и опасно. Вполне реальна перспектива оказаться великой страной лишь в военном отношении, загородиться ракетами от реальностей века и продолжать надсадно утверждать, что все идет великолепно. Но для этого «великолепия» уже не хватит ни лесов, ни нефти, ни газа, ни золота.

У меня в семье как раз не было ни арестованных, ни казненных, но я не могу спокойно слушать исповедь человека, прошедшего все круги ада. Мои дети, выросшие в доме более чем благополучном, сохранили искреннее уважение и любовь к своему деду Никите Сергеевичу Хрущеву еще и потому, что он вошел в их сознание человеком, освободившим миллионы людей от унижений, участи врагов народа.

Дедушка и бабушка держались с внуками (их было четверо – трое наших сыновей и сын Сергея – тоже Никита, как наш старший) ровно, не приставали к ним с нравоучениями, тем более не жучили их лишними требованиями – учиться, стараться и тому подобными. Старшая внучка – Юлия Леонидовна, воспитывавшаяся в доме Хрущевых как дочь, – после гибели на фронте ее отца и ареста матери, жила уже отдельно, своей семьей. Никита Сергеевич любил, чтобы дети чаще бывали возле него, чтобы мы непременно привозили их в выходные дни на дачу, а во время отпуска брал их на юг – в Крым или на Кавказ. Единственно, чем докучала им бабушка, так это требованиями выполнять летние задания по английскому языку. Теперь они благодарны ей: обходятся без переводчиков, читая необходимую

им литературу, – Никита как экономист, Алеша как биофизик, Иван как биохимик. Детей ни дед, ни бабушка не баловали. Они, конечно, чувствовали особое положение дома, в котором растут. Никита, когда ему было лет пять-шесть, спросил Никиту Сергеевича:

– Дед, а ты кто? Царь?..

Никита Сергеевич засмеялся, постучал пальцем по лбу мальчишки и ответил:

– Вот в этом месте у каждого человека – царский трон.

В 1964 году Никите было 12, Алеше 10, Ивану 6. Близился тот самый возраст, когда положение деда могло, пусть и невольно, привнести в их неокрепшие натуры не лучшие качества. Уход деда от большой политики они не восприняли с излишней болезненностью, были маленькими. Взрослея, относились к деду с большим вниманием и любовью, скрашивали ему пенсионные годы.

Нина Петровна очень любила младшего внука – Сережу (сына Сергея), родившегося уже после смерти Никиты Сергеевича. Как ни с кем была откровенна со своей тезкой – Ниной – дочерью Юлии, любила ее вторую дочь Ксению.

Мы с женой видим, что дети наши максималисты, их требования очищения, правды, переосмыслений идут куда дальше наших. Этот своего рода генетический фон образовался не сам по себе, а в той атмосфере, которая присутствовала во всем доме.

Нравственность не неподвижна, а непрерывно полнится опытом жизни. Критерием ее высоты и чистоты, ее основой было и останется надолго главное: не может быть свободным общество, в котором несвободен хотя бы один его гражданин. Так говорит Маркс – основоположник учения, которому мы присягали, однако научившись переиначивать его мысли в любом угодном направлении.

Теми, кто выступает за полную правду о сталинских репрессиях и вообще о его времени, движет не жажда мщения, а желание не повторить трагических ошибок.

Через многое предстояло пройти. Нам всем и Хрущеву в особенности. Тяжкий груз лег на его плечи. Может быть, более тяжкий, чем он себе представлял. События в Венгрии ставили под удар социалистические завоевания в этой стране. Венгерские коммунисты проходили через тяжелейшие испытания. Юрий Владимирович Андропов в ту пору был советским послом в Венгрии. Он рассказывал о том, что видел. Кровавые звезды на телах убитых были метами ярости тех, кто мечтал о смене власти. Страна втягивалась в гражданскую войну.

Далекий теперь уже 1956-й остался в памяти своими

лучшими чертами и надеждами, тем, что составило ощущение голубого просвета в тяжелых, мрачных облаках присталинского бытия, но тот же год был полон тревоги, и мы метались в поисках ответов, которые пришли и приходят до сих пор, так и не приготовив полной ясности во всем. Такова жизнь в ее протяженности, в накоплении опыта и в преодолении стереотипов мышления, въевшихся в нас, в поколение пятидесятых, как таблица умножения.

Это сегодня кое-кому кажется, что мы могли и обязаны были перескочить из одного общественного состояния в другое мгновенно. «Мгновения» затянулись на десятилетия…

Сказав несколько фраз о венгерских событиях той поры, я вновь поймал себя на том, что все еще нахожусь во власти тех представлений и доводов, которые определялись не только скоротечностью и необычностью возникавших ситуаций, но и нашей привычкой считать, что где-то там, наверху, приняли единственно разумное решение, что все по правилам, что иначе было нельзя.

Это теперь, с высоты нового политического опыта и открытости, мы осмеливаемся задавать вопросы о том, кем было принято то или иное решение. Например, о вводе советских войск в Афганистан. Какими политическими, военными, иными соображениями руководствовались те, кто отдал этот приказ, и обсуждаем правомерность свершенной акции. Надеемся, что получим прямые и честные ответы, без них уже не обойтись. Это сегодня мы говорим и пишем о том, что подобные акции не могут свершиться без воли Верховного Совета, что только народ в лице его полномочных представителей вправе повелевать армией. В ту пору, о которой я сейчас пишу, быть может, только в самых дерзких головах существовала потребность в подобной ясности. Мы только начинали задумываться над этими проблемами, оставаясь, повторяю, во власти сложившейся покорности. Разрыв с ней только начался.

Перечитываю сейчас воспоминания Хрущева, относящиеся ко времени венгерских событий. Ему, конечно, было непросто отдать приказ маршалу Коневу подавить контрреволюционный путч. Что события, обостряясь, приобретают именно такой, контрреволюционный характер, считал ведь не только Хрущев. Лидеры практически всех социалистических стран Европы, с которыми он вел консультации, разделяли эту точку зрения.

Никита Сергеевич так вспоминает последнюю ночь перед отдачей приказа. Советское руководство вело переговоры с китайской делегацией во главе с Лю Шаоци, которая специально прибыла в Москву. Шел час за часом, уже забрезжило утро, а

единодушия не приходило. Все склонялись к ожиданию того, как развернутся события. Наивно было бы думать, что этих людей не беспокоили политические и нравственные последствия военного вмешательства. Остаток ночи, а вернее раннего утра, Хрущев не спал.

Отчего в этом волевом и сильном человеке так резко были натянуты нервы, отчего ум его так напрягся в поисках выхода? Не праздный вопрос. Он возникает во взаимосвязи со многими другими. Прежде всего, усиливалось беспокойство в связи с положением внутри страны сразу после XX съезда. Страна тоже бурлила. Шли митинги, раздавались экстремистские призывы, кое-кто требовал вооружения народа. По старой привычке об этом прямо не писали, но волны слухов многих повергали в смятение. Вполне допускаю, что в самом советском руководстве, а большинство в нем принадлежало группе Молотова, Кагановича, Маленкова, укреплялась оппозиция. Ведь именно эти люди утверждали, что правда о Сталине должна принадлежать узкому кругу вождей, не возбуждать, не взвинчивать массы.

Вот как рассказывал Хрущев о собственных переживаниях: «Утром, когда я проснулся, не помню, в котором часу, потому что лег уже перед рассветом, в голове торчала мысль: поступить так или иначе, ввести войска и раздавить контрреволюцию или ожидать, когда пробудятся внутренние силы, справятся сами с контрреволюцией. А вдруг контрреволюция временно возьмет верх? Прольется много пролетарской крови, НАТО внедрится в расположение социалистических стран».

Китайская делегация улетала на родину. Хрущев позвонил китайским товарищам и попросил их приехать на аэродром за час до отлета: «Хочу еще раз посоветоваться с вами». Там же, во Внукове, появился и весь состав Президиума ЦК КПСС. Хрущев делится с Лю Шаоци своей тревогой. Предлагает все-таки привести войска в действие. Лю Шаоци медлит с ответом, но потом соглашается. Говорит, что доложит Мао Цзэдуну и тот, видимо, поддержит это решение (так вскоре, кстати, и произошло).

Сомнения кончены, наступили дни и ночи непрерывных совещаний с югославскими, румынскими, польскими товарищами. Наступил час, когда Хрущев был полон энергии действий. Войска маршала Конева вошли в Будапешт, завязались бои, и за три дня путч был подавлен.

Никто из нас в ту пору не знал и не писал о том, какой это далось ценой, каковы были жертвы. А они были, и немалые. Значит, и сопротивление нашим войскам оказывала не горстка контрреволюционеров?! Хрущев понимал это. Он потребовал,

чтобы ни офицеры, ни солдаты не показывались в «усмиренном» городе, не «мозолили глаза». Сам говорил, что вполне возможны вспышки ненависти.

За этими «тремя днями» боев шло долгое эхо. Волны антисоветской кампании захлестнули мир. Получалось, что, разрывая со сталинизмом, мы действовали в Венгрии сообразно сталинским методам. Эта точка зрения лежала на поверхности. Серьезные аналитики вскоре начали взвешивать события глубже. Становилось яснее, что у XX съезда есть враги не только внутренние, но и внешние. «Правые» и «левые» и в нашей стране, и за рубежом сомкнулись, как это часто случается. Политический эгоизм тех и других был направлен вроде бы к разным целям, но вел к одному – дестабилизации обстановки. В мутных волнах хаоса каждый хотел поймать свою «золотую рыбку».

В Венгрии в 1956-м, во всяком случае так думал не только Хрущев, но и другие товарищи, в том числе венгерские, решались глобальные проблемы целостности социалистического мира. Под удар ставилась возможность выстраивать и внутренние, и внешние общественные институты не по сталинским схемам. Эти процессы шли не без ошибок, не без крови. Рушилась система власти, основанная на безжалостной диктатуре одного лица. Наивно полагать, что, падая с тысяч пьедесталов, бронза и гранит этой фигуры, никого не задев, мирно рассыпались. Все тогда смешивалось: большое и малое.

Помню, когда Хрущев узнал (а это было как раз в октябре 1956 года), что советская спортивная делегация собирается отправиться в Австралию на Олимпийские игры, он пришел в страшное негодование: «Какие Игры?! В Египте – война. Австралия – союзник Англии. Их там арестуют». Он поднял трубку телефона и начал о чем-то нервно говорить с Булганиным. Я решил, что поездка, видимо, не состоится. Закончив разговор с Булганиным, Хрущев ничего мне не сказал, хотя понял, что я тоже собираюсь в дорогу.

Однако на утро следующего дня в «Комсомольской правде» мы узнали, что делегация спортсменов все-таки отправляется в Австралию и туда полетит группа журналистов. Видимо, уже поздно вечером Хрущева убедили в том, что неучастие советской делегации в Олимпийских играх могло бы показать нашу нервозность, неуверенность.

Никаких особых эксцессов в Мельбурне не произошло. Небольшие толпы венгерских «контрас», спешно переброшенные в Мельбурн, не получили никакой активной поддержки австралийцев. В командном зачете советские спортсмены были первыми. Мы опередили команду США чуть ли не на сотню, если

не больше, очков. Владимир Куц стал легендарным героем Мельбурна, выиграв забег на 10 000 метров у знаменитого английского стайера Пири. Только во время финальной игры наших и венгерских ватерполистов вспыхнула драка. Солдаты дивизии генерала Кларка, охранявшие Олимпиаду, быстро навели порядок на трибунах и в воде. Венгерская делегация выступила тоже успешно. Газетам не удалось посеять панику в ее рядах. Лишь один спортсмен объявил себя невозвращенцем.

Представляясь руководству советской спортивной делегации перед началом Олимпиады, этот генерал (воевавший, кстати, в Корее) заявил, что все будет «о'кей»: он не даст потушить олимпийский огонь. Так это и случилось.

1957 год начался более спокойно. Летом этого года Хрущев решил отправиться в Венгрию с дружественным (!) визитом.

Главную речь Хрущев произнес на многотысячном митинге в центре города. Хрущева не остановило предупреждение охраны об опасности стоять перед огромной массой людей после известных событий. Хрущев не то чтобы был беспечным человеком, но он понимал крайнюю необходимость обратиться именно к такому большому собранию. Хрущев не побоялся коснуться щепетильной темы о войсках царя Николая Первого, потопивших в крови восстание венгерских патриотов против гнета австрийцев в 1848 году.

Перед началом митинга Янош Кадар сказал Хрущеву, что на балконе американского посольства стоят и слушают его американский посол и скрывающийся в здании посольства кардинал Миндсетти. Это только возбудило Хрущева. Он повернулся лицом к американскому посольству и посылал туда непарламентские фразы. Посол демонстративно удалился. Когда митинг закончился, Хрущев ринулся в толпу слушателей. Здесь, в тесной толпе, Хрущев рассказывал о своей дружбе со многими венгерскими товарищами. Напомнил, как еще в 1929 году на военных сборах Ференц Мюних (ставший вскоре после событий 1956 года Председателем венгерского правительства) влепил Хрущеву трое суток ареста на гауптвахте за нескатанную по правилам шинель. Хрущев отвечал на вопросы толпы о Сталине, напоминая при этом, что и товарищ Янош Кадар был жертвой сталинского произвола.

Новые проблемы и в нашей стране, и в мире, относящиеся к 56-му и 57-му годам, отодвигали венгерскую, да и не только венгерскую, историю на второй план. Египет отстоял свою независимость. Происходило политическое прозрение в самых разных общественных кругах. Так или иначе, но разрыв со сталинизмом все более углублялся. Те, первые, начавшие эту

работу, не были безгрешными. Чтобы честно судить о них, следует помнить и точки отсчета, а не относить объяснения тяготевшего над обществом сталинского прессинга насчет некой поздней самоадвокатуры.

Драма Венгрии долго не давала покоя Хрущеву. Дело состояло не в том, что Хрущев на каком-то этапе изменил свое мнение о необходимости и правомерности того военного шага. Пожалуй, именно после венгерских событий он начал более четко представлять себе, как сложно рвать с пуповиной, которая связывала нас всех со Сталиным и сталинизмом. И еще. Я помню, что Никита Сергеевич часто заговаривал о присутствии советских войск, пусть и на дружеских, но все-таки чужих территориях. Он считал, что надо уйти от этой необходимости. Никогда не забуду фразы, которую в пенсионные годы часто повторял Хрущев: «Это невероятно – держать рай под замком». Он относил эту мысль к свободе поездок советских граждан за границу, но, думается, ее следует понимать шире.

Года через три после венгерских событий, во время встречи с Яношем Кадаром в Крыму, Никита Сергеевич спросил у него: «Быть может, пора нашим солдатам вернуться с венгерской земли?» Кадар помедлил. «Лучше уж, товарищ Хрущев, пусть у нас побудут ваши солдаты, а у вас – Ракоши. И вы дадите гарантии, что он к нам никогда не вернется».

Ракоши, ставленник Сталина, бежавший из Венгрии осенью 1956 года, доживал свой век в Краснодаре. Не только Кадар, но и Хрущев понимали, что в Венгрии есть круги, на которые Ракоши все еще надеялся опереться.

В те годы Хрущева не оставляла мысль о выводе наших войск не только из Венгрии, но и из Польши. Об этом он говорил с Гомулкой. Хрущев, конечно, не мог не считаться с НАТО, с американцами в Западной Европе, вот почему он твердо подчеркивал, что присутствие Советской Армии в ГДР необходимо. Там проходила линия прямого противостояния Варшавского Договора и НАТО…

Много позже, уже в 1968 году, когда советские войска вошли в Чехословакию, Никита Сергеевич воспринял это известие более чем нервозно. Я просто не помню, чтобы какое-то иное событие той поры так взволновало его. Он делился своим беспокойством, чувством большой тревоги.

«Там совсем не такая ситуация, как была в Венгрии, – рассуждал Хрущев. – Очень трудно будет это объяснить в Чехословакии… А потом, – добавил он, – войска легче вводить в другие страны, чем выводить их оттуда».

Вполне допускаю, что Хрущев руководствовался больше

эмоциями, чем анализом фактов, когда говорил о Чехословакии. Наверное, не ушли из его памяти и события в Венгрии.

Правда, так говорил уже другой Хрущев, все-таки другой. Ни в чем не изменившийся принципиально, а просто получивший способность спокойного, «для себя», анализа пережитого. Возможности, как в кинематографе, замедлить кадры собственной жизни. Он, конечно, осознал, что не всегда бывал прав и разумен и что вечная правота одного человека – иллюзия, которая рано или поздно рассыпается в прах.

Сегодня не только мы в нашей стране, но и многие вокруг нас, далекие и близкие, переосмысливают те процессы, которые шли тридцать и более лет назад. В Венгрии, что само по себе естественно, хотят проанализировать минувшее, в том числе и 1956 год, в свете новых фактов и взглядов. И Венгрия это, конечно, сделает. Важно только, мне кажется, понимание одного существенного обстоятельства. Рассматривать следует не одно звено, а всю цепь событий того времени.

Вспоминая сейчас Хрущева на пенсии, я забегаю вперед. Но, пожалуй, такое упреждение событий оправдано.

Мир Хрущева в пенсионные годы был очень ограничен. Никто и никогда из прежних коллег не звонил ему по телефону, не поздравлял с праздниками, не расспрашивал его о здоровье и уж тем более не навещал. Даже Анастас Иванович Микоян, попрощавшись с ним после заседания октябрьского Пленума ЦК партии в 1964 году, ни разу не говорил с Хрущевым. Сын Микояна Серго, отвечая уже в 1988 году на вопросы о том, почему его отец, так близко стоявший к Хрущеву, ни разу не встретился с Никитой Сергеевичем, поведал в оправдание отцу, по-моему, малодостоверную историю. Будто бы Хрущева и Микояна поссорили между собой их шоферы (?!). Один говорил своему опальному хозяину что-то нелестное о Микояне, а другой рассказывал, как ругают в его машине Хрущева. Наивное объяснение. Оба они, и Хрущев, и Микоян, прекрасно знали, как могут обернуться их возможные встречи и разговоры. По старому опыту они берегли не столько себя, сколько семьи.

Анастас Иванович Микоян умер в 1978 году. В его сейфе обнаружили книгу «Хрущев вспоминает», изданную в Америке. Как рассказывал мне один из сыновей Анастаса Ивановича, Иван, этот факт вызвал страшный гнев власть предержащих. Охранники Микояна, не «уследившие» за появлением крамольной книги, были строго наказаны.

Лишь один человек долго выражал Хрущеву знаки дружеского расположения. Это был Янош Кадар. Ко дню рождения Никиты Сергеевича из венгерского посольства

присылали ящик любимого Хрущевым красного вина «Бика вер» и знаменитые венгерские яблоки.

Однако всему этому еще предстояло быть.

Вздох облегчения

В самом начале я рассказал о новогоднем вечере в кругу друзей, об Олеге Ефремове, о том, как он определял те самые десять лет, которые в середине 60-х уходили в молчание. Сейчас Ефремов – художественный руководитель МХАТа, Герой Социалистического Труда.

А начиналось это в 50-х… 15 апреля 1956 года на маленькой сцене студии Художественного театра в поздние ночные часы несколько молодых актеров играли пьесу Виктора Розова «Вечно живые».

Самые пышные премьеры тех лет не собирали такой блестящей публики. «Блестящей» не в расхожем смысле слова – не было там дам в роскошных туалетах, влиятельных чиновников, присяжных, критиков. И в зале, и на сцене чувствовалось иное. Ум, талант, искренность, открытость. Никто не говорил тогда о XX съезде, никто вообще не произносил громких слов, люди чувствовали неуместность прежних оборотов речи.

В этот вечер родился московский театр «Современник». На много лет он стал выразителем времени, его спектакли воспринимались не только как художественное откровение, но и как политическое событие – соединение этих двух важнейших для искусства начал и было тем новым, что приходило в нашу жизнь после XX съезда. Мы возвращались к лучшему в прошлом, не боясь ответственности за будущее.

«Как это вы так рисковали? – спросил меня уже после 1964 года один начинавший преуспевать газетчик. – Хвалили в «Известиях» «Современник», а ведь там не все нравилось». – «Очень просто, – отвечал я. – Смотрели спектакли, обменивались мнениями в редакции и решали, как быть». – «Сами?!» – с неподдельным изумлением переспрашивал собеседник. Он, видимо, после спектакля узнавал (по ответственным телефонам) «мнение» и уж потом писал рецензии. Не знаю, о чем он думал, затевая разговор, но, наверное, расхожее: «Ну, этому-то за широкой спиной все было позволено». Наверное, так думали и другие. По такой логике трудно понять самое простое: человек в любом положении за все расплачивается сам. Жизнь наша, увы, устроена так, что в лучшем положении часто оказываются те, кто ничего не делает.

Моим сверстникам не нужно напрягать память, чтобы прошли перед глазами кадры из фильмов «Летят журавли», «Иваново детство», «Чистое небо», «Судьба человека», «Девять дней одного года». В отчаянной схватке отстаивали мы в газете фильм «А если это любовь…». Первыми поддержали статью Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанную в «Новом мире». И нисколько не удивились неискреннему возмущению столоначальников от критики, которые сразу же набросились на газету.

XX съезд придал ускорение такому множеству дел, привел в движение такие разные структуры общественной жизни, что было бы наивным предполагать, что кто-то один может не то что проанализировать, но просто все вспомнить. Осенью 1987 года я прочитал в «Огоньке» любопытное эссе критика Сергея Чупринина. Он напомнил, что всего за несколько послесъездовских лет только в Москве были созданы или возобновлены журналы «Юность», «Молодая гвардия», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Театр», «Вопросы литературы», «Иностранная литература», еженедельник «Литература и жизнь» (позднее переименованный в «Литературную Россию»), проведен учредительный съезд Союза писателей РСФСР. Возникли в различных регионах страны литературно-художественные и общественно-политические журналы «Нева», «Север», «Дон», «Подъем», «Волга», «Урал». А как восторженно, в каких спорах были восприняты первые сборники «Дней поэзии», как сама поэзия взорвала тишину и вырвалась на улицы и стадионы!

Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Юлия Друнина, Евгений Винокуров, Новелла Матвеева, Давид Самойлов… А проза? Остановлюсь, ибо перечень был бы велик, неполон и субъективен.

Спустя почти тридцать лет напомнил я Андрею Вознесенскому его спор с академиком Петром Александровичем Ребиндером. Дело было в редакции «Известий». Андрей читал новые стихи, в том числе и «Антимиры». Вдруг негодующая тирада академика: «Молодой человек! У вас в стихах все неправильно. Какая отметка была у вас по физике?» И язвительный академик начал критиковать «Антимиры» за «несоответствие» законам физики. «Нельзя же так буквально», – кипятился Андрей. «Нет, именно буквально и надо», – настаивал Ребиндер. Петр Александрович не лишен был юношеской запальчивости, азарта в спорте, любил поэзию, но не мог простить поэту неточностей.

Всех примирил чай. Мы пили его из большого медного самовара, отысканного репортерами отдела информации невесть где, и ели горячие бублики – главное угощение на встречах с друзьями газеты. Эти встречи стали регулярными. Во многих редакциях рождались, возобновлялись, активизировались «четверги», «пятницы», «субботы». Люди соскучились по общению, соскучились по возможности говорить громко обо всем, что тревожило.

Колеблющаяся чаша весов

Во время майской демонстрации 1960 года на Красной площади у меня состоялось «секретное» знакомство с группой молодых людей – Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрианом Николаевым, Павлом Поповичем, Валерием Быковским. Кто мог догадаться, какая компания на трибунах! Пожали друг другу руки и разошлись, чтобы никто не обратил на нас особого внимания. Все для этих ребят было еще впереди. Но они уже стояли на трибунах Красной площади. Крепкие парни, небольшого роста, в несколько однообразных демисезонных пальто, плащах, шляпах – все только что из магазина. Военные летчики явно стесненно чувствовали себя в штатском. Такими я впервые увидел будущих космонавтов.

Писать тогда о них не разрешалось, как не упоминалось имя человека, который стал для своих молодых подопечных близким, родным. Сергей Павлович Королев очень долго оставался секретной личностью, обозначавшейся для непосвященных торжественным словосочетанием – Генеральный конструктор.

Королев, Глушко, Келдыш, Курчатов вместе и порознь часто бывали на даче Никиты Сергеевича. Множество самых разных дел не мешало Хрущеву с радостным нетерпением ждать их в выходной день к обеду. Он вообще ценил людей науки, инженеров, ставил их, так сказать, выше гуманитариев. Для него такие люди реального, конкретного дела связывались с тем, что можно пощупать руками, что может дать видимую пользу. За научными, техническими открытиями его ум мгновенно отыскивал материальную выгоду, способ движения вперед и, главное, социальный эффект.

Однажды в воскресный день Никита Сергеевич поехал вместе с Королевым к нему на «фирму» и пригласил меня с собой. «Все, что увидите, забудьте», – только и сказал в машине.

Расстаюсь с тайной, и чего-то жаль…

О том, что я увидел тогда, пишу в первый раз.

Наши современные представления о лабораториях космической техники, испытательных стендах со множеством дисплеев, хитроумных самописцев, мерцанием таинственных огоньков – свидетелей бесшумной работы искусственного интеллекта ЭВМ – сложились так прочно, так связаны с гигантской сложностью задач, что, боюсь, разочарую читателя.

В небольшом зале висела обыкновенная школьная доска, совсем такая, как у первоклашек. Королев мелком чертил на ней траекторию будущего запуска, обозначая в разных точках те или иные ракурсы полета ракеты. Потом он пригласил всех в большой зал, и тут я увидел стального цвета рыбину, протянувшуюся на многие метры. Сергей Павлович что-то объяснял Никите Сергеевичу, они то и дело останавливались. Хрущев пригибался, заглядывал под ракету, ощупывал ее лоснящееся холодное тело.

Потом все долго рассматривали двигатель ракеты. Громадина напоминала по форме мячик для игры в бадминтон, отороченный юбочкой плиссе. Миллионы лошадиных сил способны были придать ракете умопомрачительную скорость.

Позже, когда многие полеты уже состоялись, я напомнил Королеву о своем первом знакомстве с его детищем. «Я ведь думал – ты из охраны Хрущева, знал бы – отправил вон», – полушутя сказал Королев. Он не выбирал выражений.

Почему-то Сергей Павлович часто бывал печальным, а может быть, сосредоточенным? На кремлевских приемах держался в сторонке от незнакомой публики. Сияющим от счастья я видел Королева только один раз. И это тоже было в Кремле. С первыми экземплярами свежих номеров «Правды» и «Известий» Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор «Правды», и я никак не могли пробиться к «главному» столу. «Пропустите газетчиков!» – крикнул Сергей Павлович и тем помог нам доставить газеты по назначению. Он стоял рядом с Гагариным, по-отцовски обняв его за плечи, – кряжистый, высоколобый, чуть клоня голову вперед, будто от ее тяжести. В нем дышала упрямая, властная сила.

Наверное, именно эта сила помогала ему устоять вначале во внутренней тюрьме на Лубянке, а затем в Бутырке, куда он попал после ареста в июне 1938 года (его товарища Глушко арестовали в марте).

Совсем недавно я узнал, по чьему доносу – стандартному набору обвинений во вредительстве – был арестован и осужден Сергей Павлович. «Отличился» коллега по работе. Из зависти, от ничтожества души.

12 апреля 1961 года Королев, позвонив Хрущеву с Байконура, кричал в телефонную трубку осипшим от усталости и волнения

голосом: «Парашют раскрылся, идет на приземление! Корабль в порядке!» Речь шла о приземлении Гагарина. Хрущев все время переспрашивал: «Жив, подает сигналы? Жив? Жив?» Никто тогда не мог сказать точно, чем кончится полет. Наконец Хрущев услышал: «Жив!»

А теперь мы не сразу и вспомним фамилии тех, кто работает в сей момент в околоземном пространстве: нужен какой-то особо сложный рекордный запуск или нечто из ряда вон выходящее, чтобы вновь приковать наше внимание. Естественное дело – привычка. Труд космонавтов по-прежнему рискован и предельно тяжел, нагрузки возрастают, программы усложняются. Человек уже прошел по Луне и прикидывает маршруты для полета на Марс.

Но в тот давний теперь уже день, когда самолет с первым человеком Земли, увидевшим нашу планету из космических далей, подлетал к Москве, весь город охватило волнение. Сотни тысяч людей высыпали на улицы и площади, спешили к Ленинскому проспекту. Пробиться на балконы домов, мимо которых пролегал путь торжественного кортежа, было потруднее, чем получить билеты на самый популярный спектакль. Никто не прогонял ребятню с крыш, деревьев и заборов. Приветствия были и на огромных полотнищах, и на листках бумаги: «Наши в космосе!», «Ура Гагарину!», «Здравствуй, Юра!» Взрыв патриотической гордости рождал радость и веселье, душевную раскованность и легкость. Сказать коротко, это было счастье.

Но вот истребители почетного эскорта отвернули от серебристого Ила, шасси машины легко чиркнули от бетону посадочной полосы, пыхнув синей струйкой гари, самолет осел и замер.

На трапе Гагарин. Приостановился на секунду и пошел легкой, изящной походкой по красному ковру к трибуне. Потом мы узнаем, что у него развязался шнурок на ботинке и это терзало его. Журналисты, сидевшие на металлической этажерке близко к самолету и все видевшие, переживали, как бы он не наступил на него и не упал. Майор Гагарин, военный человек, ступал по ковру так, как если бы всю жизнь ходил именно по этой торжественной дорожке.

В нем были природное чувство достоинства, самообладание, простота, скромность и уверенность в себе. Эти его человеческие качества с поразительной точностью разгадал Сергей Павлович Королев.

Юрий Гагарин остановился перед трибуной, легко вскинул руку к голубому околышу фуражки и, обращаясь к Никите Сергеевичу Хрущеву, начал рапорт.

А затем в течение многих лет главным организатором всех космических достижений страны будет считаться Брежнев. Судя по фильмам тех лет, Гагарин рапортует «пустоте». На трибуне Мавзолея тоже «организуют» странное одиночество героя (великие возможности киномонтажа и ретуши давно вошли в практику), и желающих именно таким образом представить начало космической эпопеи найдется более чем достаточно.

Как не будут писать и о том, что после короткого заседания Военной коллегии Верховного суда под председательством Ульриха 27 сентября 1938 года Королеву дадут десять лет за вредительство. Не так-то просто окажется выскочить из лап «правосудия» того времени. В ответ на заявления о невиновности, об абсурдности обвинений создадут специальную комиссию, в составе которой окажется все тот же Ульрих да еще Берия. Через два года после ареста особое совещание определит Королеву наказание – восемь лет заключения.

Королев расскажет жене Нине Ивановне, что от смерти его спасла случайность: когда его этапировали из бухты Нагаево во Владивосток для пересмотра дела, пароход «Индигирка», на котором предстояло плыть Сергею Павловичу, не пришел. А чуть позже стало известно, что он затонул со всеми пассажирами.

В сентябре 1940-го Королева по распоряжению Кобулова, заместителя Берия, переведут в особое техническое бюро. Так еще с начала 30-х годов использовались многие специалисты-«вредители». Надо думать, это очень продвигало нас вперед в создании технического оснащения Красной Армии. Удобно: сидит и работает.

Никогда – ни раньше, ни теперь – не спорю я с теми, кто так или иначе находит оправдание всему этому, усматривает в докладе Хрущева о Сталине, в постановлении о преодолении последствий культа личности чуть ли не ошибку. В застойные годы такая точка зрения высказывалась более чем активно. В этой позиции легко угадывалось торжество административно-приказной системы, вновь пробудившейся и получившей право отдавать распоряжения и повелевать всем и всеми. Как приятно снова слышать: «Будет сделано!» Завод и опера, роман и поэма, газета и дом… Как приятно видеть рабскую покорность в глазах подчиненного! И неважно, какой завод и какая опера. Желающие слепить нечто подходящее всегда найдутся.

Эта тоска не по Сталину, а по той системе власти, которую он создал, и по страху. Через страх, считают подобного рода люди, наводится порядок, растут урожаи, выпускаются лучшие в мире машины, снижаются цены, вершится многое множество всего другого, полезного для народа. И разве имеет значение, как там в

реальной жизни, а не в утвержденной схеме? Как там по правде…

И вот еще что. Страх не позволяет задать главного вопроса, практически и политически самого существенного из всех, на который, как я уже сказал, имеет право каждый: а какова цена? Нет, не та, которая диктуется спросом и предложением, конъюнктурой рынка или соподчиненностью людей, а высшая цена бытия и дела. Ведь если размышляешь об этом, значит, ищешь самый гуманный, рациональный вариант решения проблемы, если нет – обманываешь себя и других.

XX съезд проводил четкую грань в этом противостоянии, противоборстве взглядов. Непоследовательность Хрущева начнет сказываться не сразу, и лишь через годы поставит его самого перед тревожным фактом пробуксовки: капитальный ремонт командно-приказной системы хозяйствования, прополка сорняков, окна дома, открытые в большой мир, – все это пока дает эффект, однако днище корабля все гуще обрастает ракушками; корабль еще идет вперед, но это требует все больших оборотов машины, а она уже на пределе.

В тех десяти годах – полет Гагарина, реактивные скорости гражданской авиации, многие другие научно-технические открытия и достижения, удивлявшие мир. В конце 50-х на советские экраны вышел фильм немецких кинодокументалистов Торндайков «Русское чудо». В зеркале этого фильма мы как бы заново оценили многое из того, что успели сделать за короткий срок. Вера в человека и вера человеку – вот что олицетворяет для меня то время. Оно определяло взгляды, перечеркивая фальшь, утверждая правду.

Во втором номере журнала «Новый мир» за 1987 год в статье В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра» есть такие строки:

«По-настоящему быстро народное хозяйство развивалось в 50-е годы. Этот период, по нашим оценкам, выглядит самым успешным для экономики. Темп роста превзошел тогда прежние достижения. Но суть не в одних темпах. Всего важнее то обстоятельство, что впервые рост был достигнут не только за счет увеличения ресурсов, но и благодаря лучшему их использованию. Производительность труда поднялась на 62 процента (это почти 4 процента в год!), фондоотдача – на 17, материалоемкость снизилась на 5 процентов. Достаточно гармонично развивались все отрасли – не одна тяжелая промышленность, но и производство потребительских товаров, сельское хозяйство, жилищное строительство.

Впечатляющие успехи в кредитно-денежной сфере. Была обеспечена товарно-денежная сбалансированность, казавшаяся дотоле недостижимой. Если с 1928 по 1950 год розничные и

оптовые цены выросли примерно в 12 раз, то в 1951–1955 годах розничные цены снизились, а оптовые стабилизировались. Во второй половине 50-х произошел лишь небольшой рост цен.

Как видим, то, к чему мы сегодня стремимся, однажды уже было сделано: экономика изрядное время работала эффективно. Поэтому важно выявить истоки успеха, отделить преходящие факторы от уроков, пригодных и поныне».

Те годы должны были бы стать уроком на будущее, но о них постарались забыть. И очень скоро началось движение вспять.

В иных кабинетах раздался вздох облегчения. Ведь прежде, в те десять лет, рушился мир знакомых установлений, созданная за долгие сроки административная пирамида власти. Телефон молчал. Никто не говорил «надо», «немедленно», «доложить». Многие терялись перед задачами дня, не могли отдавать приказы с такой властностью, как прежде. Требовались поступки, решения, дела, а эти люди привыкли перекладывать заботы на плечи других. По-своему их было жаль. Мне приходилось слышать недоуменное: «Чем я виноват? Почему мне портят жизнь, если я выстраивал ее по точным приказам? Никогда не сбивался в сторону. Поддерживал. Пропагандировал. Внедрял!»

Легко ли сжечь мосты?

Последний год в «Комсомольской правде», 1958-й, я работал уже главным редактором. Газета дала опыт, умение.

Странной выдалась первая самостоятельная планерка – утреннее короткое совещание, на котором утрясается очередной номер. На столе передо мной лежала записка. Развернул ее. Гроб, череп, скрещенные кости и подпись: «Не подходи, убьет». Спросил, кто написал. Тут же встал сотрудник. Сказал: «Я, – чуть помедлил и добавил, – так, в шутку». Никогда не спрашивал его, что стояло за этой шуткой. Он продолжал работать в «Комсомолке» и после моего ухода в «Известия».

В один из первых дней работы в качестве «главного» мне позвонил В. П. Московский из отдела пропаганды ЦК – попросил принять посетителя. «Он тебе объяснит, в чем дело».

Посетителем оказался мужчина лет сорока, с редкими поседевшими волосами и какими-то робкими, потухшими глазами. Это я заметил сразу – странные, жалостливые глаза. Рассказал он такую историю. В 1938 году написал в «Комсомольскую правду» письмо, как он выразился, «не совсем хорошее», по молодости лет. А через какое-то время за ним пришли, потребовали объяснений и укатали за контрреволюционные высказывания на 15 лет в далекие края. В 1956 году обвинения были сняты, его реабилитировали, и вот он пришел в газету с небольшой просьбой. «Какой?» – поинтересовался я. «Нельзя ли отыскать то письмо и уничтожить, ведь всякое может случиться…»

Я сказал, что письма в газете, конечно, нет, мы так долго не храним архивы, да и нечего теперь бояться. «Как знать, – ответил он. – Постараюсь письмо все же отыскать и сжечь». Сжечь мосты… Естественное желание, если на том берегу кое-кто еще остался.

В маленьком дачном поселке под Дмитровой мы соседствуем с Георгием Степановичем Жженовым. Народный артист СССР, замечательный товарищ, прекрасный, ироничный рассказчик. Стоит его «подбить» надлежащим образом, и он выдаст маленькую новеллу. Передам смысл одной из них, так как скопировать Жженова невозможно, его надо слышать.

Разгримировался он как-то после спектакля; в комнату вошла пара. Помялись у двери, ласково поздоровались и горячо, сердечно поблагодарили за «исключительно высокое мастерство» и «проникновенное, до слез, исполнение». Ушли, а Жженов мучился, никак не мог вспомнить, где видел этих людей. Через

несколько недель они появились вновь. Те же слова, та же нижайшая благодарность, то же умиление от «исключительно высокого мастерства» и «проникновенного, до слез, исполнения».

И тут Георгия Степановича осенило. Поздравлял его начальник одного из лагерей, в котором он провел «некоторое время». В разных лагерях Жженов в общей сложности пробыл 17 лет. Ни за что. Сначала арестовали брата-студента, а затем и Георгия Степановича. В Ленинграде, где они жили, после убийства Кирова сеть забрасывали частую.

Чем же интересовались посетители? Стал ли Жженов членом партии? Готовы были дать ему наилучшую рекомендацию…

Тот первый рывок не мог быть без сбоев. Не стоит смазывать и замалчивать их. Самый быстрый и безапелляционный судья – апломб и незнание. Подкрепленные сложившимися стереотипами, они обретают такую силу «достоверности», поколебать которую практически невозможно. Если мы не откажемся от такой манеры, в подобном же духе может быть судим и любой другой период нашей истории.

Многие из нас, как я уже говорил, не заметили, как начался отлив, как вновь в нашей жизни стали появляться те самые «установления», от которых мы вроде бы навсегда освободились. С высоты прожитых лет все заметнее.

Перед самым новым, 1963 годом в «Известия» позвонила Ирина Александровна Антонова, директор Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В музее готовилась к открытию большая выставка работ французского художника Фернана Леже. Подобные выставки в ту пору бывали не так часто, как теперь, контакты только-только налаживались. Вернисаж, естественно, вызвал повышенный интерес и внимание. Интерес и внимание! Ирина Александровна, человек опытный, хорошо понимала разницу этих слов.

Выставку привезла жена художника, Надя Леже, большой друг нашей страны, хранительница работ Леже во Франции, в Ницце, где ее стараниями создан прекрасный музей. Надя Леже непременно приглашала к себе советских гостей, посещавших этот город. Женщина энергичная, она не просто хранила память о близком человеке, но и умело пропагандировала его творчество. Я бывал в этом музее и, хотя не считаю себя знатоком живописи, восхищался фантастической зрелищностью многих работ Леже, его художническим азартом, необычным видением мира.

И вдруг звонок Ирины Александровны и дружеская просьба приехать для консультации и, возможно, помощи. Ирину Александровну беспокоили некоторые абстрактные полотна Леже.

Только что в Манеже Хрущев разнес своих абстракционистов, а тут еще и француз с его непонятными полотнами. Мы проходили зал за залом, я, выступая в роли судьи-инквизитора, поскольку присутствовал на экзекуции в Манеже, отвечал на вопросы Антоновой: «Как это полотно?», «А этот гобелен?» При всей серьезности ситуации в нашей озабоченности было что-то нелепое. Недаром говорится, что от трагического до смешного – один шаг. Не хотелось ни Ирине Александровне, ни мне доставлять таким шагом радость искусствоведам особого рода. Что-то решили упрятать в боковые отсеки, что-то убрать. Однако изъять все «опасное» из ретроспективной выставки Леже было просто немыслимо, как немыслимо было и отменить ее.

Сложность состояла и в том, что Надя Леже уже побывала в музее, предстояло объяснить ей причины изменения экспозиции. Как объяснить? Рассказать о выражениях, какими поносили московских абстракционистов в Манеже? Сомнительный аргумент – Надя хорошо говорила по-русски, могла и сама опереться в споре на непарламентские выражения. В Москве для нее начальников не было.

Я понимал, как противна Ирине Александровне, умной, образованной женщине, блестящему искусствоведу, смелому организатору выставочного дела, вся эта возня, но что поделаешь? Ведь не предложишь Хрущеву прослушать лекции по истории искусств. Уповать на поддержку тех, кто по роду своей деятельности мог бы спокойно разъяснить, что к чему, не приходилось. Президент Академии художеств Серов только что в Манеже продемонстрировал свою точку зрения. Можно было твердо рассчитывать, что ни Хрущев, ни Суслов на выставку не пожалуют. Но вот другие…

Екатерина Алексеевна Фурцева, в ту пору она была министром культуры СССР, тоже беспокоилась. Вдруг на новогоднем приеме в Кремле мадам Леже со свойственным ей темпераментом заведет разговор на тему об искусстве с «самим» Хрущевым? Возможен скандал. Решено было предложить Наде Леже встретить Новый год в домашней обстановке, чтобы избежать официальной скуки. Чем не военная операция? Нашлись острословы, реакция которых на все эти события выразилась в эпиграмме: «С этой выставкой Леже как бы не было хуже, как бы не было хуже, если б не было уже».

В культурной жизни нарастала напряженность. С трудом пробился на экраны фильм «Председатель», а картина «Застава Ильича» одной из первых подверглась разносу и легла на полку. Не иссякла, правда, надежда на то, что все это временно. В литературе, искусстве, театре, кинематографе споры, однако,

обострялись, от письменных столов перекинулись на трибуны. Кто-то принимал повесть Эренбурга «Оттепель», кто-то ее хулил, кому-то нравился роман Дудинцева «Не хлебом единым», иные обвиняли автора в посягательстве на основы. Все более четко вырисовывались пристрастия. Разговоры о консолидации ни к чему уже не приводили. Не скажешь, чтобы ситуация эта сложилась неожиданно, ее истоки все там же – в решениях XX съезда. Понимал ли сам Хрущев, как неоднозначно приняли этот съезд литераторы? Думаю, что понимал.

Летом 1957 года состоялась первая встреча партийного руководства с деятелями культуры, затем вторая, третья.

Хорошо помню первую. Ее устроили на дальней сталинской даче под Москвой – в Семеновском. Встреча была задумана Хрущевым как пикник. Гости катались на лодках, на тенистых полянах их ждали сервированные столики отнюдь не только с прохладительными напитками. Обед проходил под шатрами. Легкий летний дождь, запахи трав и вкусной еды – все должно было располагать к дружеской беседе. Но шла она довольно остро. Выступали многие известные писатели, актеры, музыканты, художники. У каждого была своя боль.

Слово взял Константин Симонов. Едва он начал, Хрущев перебил его, сказал примерно следующее: «Когда я встретил вас в Сталинграде, в самую отчаянную пору сражения, вы показались мне более храбрым человеком, чем теперь. После XX съезда голос писателя Симонова звучит как-то невнятно».

Симонов ответил: «Никита Сергеевич! Даже автомобилисту, чтобы дать задний ход, необходимо выжать педаль сцепления и на какое-то время перевести рычаг в нейтральное положение. Думаю, что многим из нас потребуется известное время на раздумье».

В посмертно опубликованных записках Симонова «Глазами человека моего поколения» писатель честно пишет о нелегкой для себя поре переосмыслений. Симонов в ту пору даже уехал из Москвы в Узбекистан, вновь стал газетчиком – корреспондентом «Правды», хотел подумать…

Да, были смельчаки и герои, кто принял крушение сталинщины как требование к очищению. А те, кто был близок к Сталину, как Фадеев, многие годы руководивший Союзом писателей СССР?

Как-то вечером в квартире Хрущева раздался телефонный звонок. Он несколько минут разговаривал, а потом, выйдя в столовую, сказал: «Застрелился Фадеев. Вот ведь как резануло человека».

Хрущев выступал на Втором съезде писателей, встречался с

художниками перед их съездом и был на этом съезде, принимал многих деятелей культуры, литературы, в частности Александра Трифоновича Твардовского. С ним у Хрущева был долгий разговор. Твардовский, конечно, говорил Хрущеву правду. Обо всем, в том числе о 30-х годах, о том, как шло раскулачивание. Вспомните поэму Александра Трифоновича об отце. Хрущев относился к Твардовскому с большим уважением, любил его стихи. В августе 1963 года Александр Трифонович читал Хрущеву поэму «Теркин на том свете». Прозвучали последние строки. Хрущев обратился к газетчикам: «Ну, кто смелый, кто напечатает?» Пауза затягивалась, и я не выдержал: «Известия» берут с охотой». Поэма была опубликована. С разрешения Александра Трифоновича я предпослал ей небольшое вступление. Нисколько не хотел я таким способом приобщиться к славе великого поэта. Мне казалось тогда важным не только опубликовать поэму, но и рассказать о том, кто и где ее слушал, как отнеслись к новой работе поэта, как решилась ее судьба.

Казалось, едкая и горькая сатира на Сталина и сталинщину, на наши непробиваемые даже на «том свете» узколобые установления, прозвучавшая с блестящей силой, поддержит дух литературного свободомыслия. Но все чаще такие порывы гасились.

Подчеркивая особое уважение к М. А. Шолохову, Хрущев приезжал в Вешенскую, пригласил Михаила Александровича с собой в США. Шолохов приезжал на дачу к Никите Сергеевичу. Читал последнюю, только что написанную главу «Поднятой целины». Трагический эпилог тронул Хрущева. «Так хотелось, чтобы Давыдов остался жить», – сказал он писателю. Шолохов отвечал: «А надо по правде».

Часто Никита Сергеевич просил почитать ему вслух:

«Пусть мои глаза отдохнут, а ваши поработают», – говорил он, протягивая книгу. Видел он хорошо, но глаза от непомерной нагрузки у него очень уставали. Чтения вслух вошли в обыкновение. Хрущев мог слушать часами, особенно в дни отпуска.

Так, «на слух», он познакомился с «Синей тетрадью» Казакевича, «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына и многими другими произведениями писателей, ожидавшими «особого решения». Слушал Никита Сергеевич очень внимательно, сидел неподвижно, иногда прикрывал глаза.

При мне он никогда не комментировал услышанное, и понять его отношение было невозможно. Оно становилось понятным по судьбам некоторых книг: они быстро выходили в свет. Увы, не все новые книги смог прочитать Хрущев, не все спорные

литературные проблемы были ему известны. Не все он сумел бы и принять, а точнее, понять. Чем шире и сложнее становились его государственные заботы, тем меньше оставалось времени на литературу. Даже в театре Хрущев бывал все реже и реже, главным образом с официальными гостями.

С годами давление на Хрущева разного рода советчиков «по культурным вопросам» усиливалось, он часто становился раздражительным, необъективным. В пору, когда я работал в «Известиях», мы не раз испытывали бессилие, пытаясь дать свою оценку тому или иному произведению. Так случилось и с книгой И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Публикация критической статьи В. В. Ермилова по поводу воспоминаний Эренбурга была предопределена без нас. И в целом ситуация была зыбкой. Сняли нелепые обвинения с Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, начали публиковаться Ахматова и Зощенко, вернулись в литературу и искусство многие славные имена. Правда, далеко не все. Очистительный процесс шел, повторяю, отнюдь не безболезненно. Хрущев все в большей степени оставлял за собой право давать резкие и однозначные оценки тем или иным произведениям. К сожалению, это право не всегда сочеталось с широтой взглядов, образованностью, эрудицией, доверием и желанием выслушать тех, кто может дать вдумчивый совет. Уже на пенсии Никита Сергеевич часто говорил о мере терпимости…

Хрущев нередко укорял Суслова за упущения в идеологической работе, за серость и мещанство в кино, в театре. Суслов напрягался, нервничал и переводил замечания в привычное русло: одернуть! Исполнители поручений закручивали гайки. Сталкивались мнения, страсти, предположения, выяснялось, что было сказано и кем в схожей ситуации. Бывали и неожиданности: вдруг что-то прорывалось, вспыхивали надежды, прогрессисты активизировались, но при очередной «накачке» затихали. На одном из заседаний Симонов, академик Кириллин и я начали уговаривать Поликарпова – он ведал вопросами культуры в ЦК – попробовать «пробить» в свет роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Поликарпов взорвался: «Да знаете ли вы, кто возражает?..» Никакие доводы не действовали. Поликарпов сам, быть может, и считал нужным опубликовать роман, но привычное «как бы чего не вышло» делало его непреклонным. И все-таки время работало на тех, кто развивал в общественном самосознании демократические начала, кто боролся за утверждение в нашей жизни идеалов XX съезда. Я говорю прежде всего о молодых поэтах, писателях, кинематографистах, актерах и режиссерах, о людях, которых знал лично. Они «поймали» в своих произведениях нерв времени,

утверждали себя и свое понимание нравственности широко и активно. На фоне этого обновления потускнели иные знаменитости. Их стали читать меньше, хвалить реже, критиковать жестче. Сложное было время. Неприязнь друг к другу не камуфлировалась, ибо была предварена жестокими обстоятельствами только что ушедших лет. Вспомним кампанию по борьбе с космополитизмом, оголтелую безнравственность, с которой действовали ее активисты.

Бесконфликтность, лжепатриотизм, безапелляционность, чиновничьи приоритеты уходили из литературы, искусства тяжело и надсадно, и те, кто так или иначе должен был уступить дорогу, занять иное место, а может быть, и вовсе уйти, пускали в ход все мыслимые и немыслимые способы удержания высот. Любой промах возводился в принцип, любое слово ставилось в строку. К сожалению, и многим молодым литературным звездам того времени не хватало взвешенного взгляда на совокупность событий «внутри» и «вовне». Их упоение успехом, убежденность в своей абсолютной правоте оборачивались просчетами. Оказалось, что не так просто развеять прах прошлого. Самое печальное состояло в том, что азарт нетерпения, некоторые – по-своему объяснимые – перехлесты давали повод тем, кто всегда четко отмерял свои поступки, кто «не выходил из берегов», не рисковал, не дерзил, грозить назидательно пальцем: «Вот ведь куда их заносит, вот ведь на что они поднимают руку – на святая святых!» А там уже разрешать спор начинали те, кто имел право и власть…

Часто на такое подбивали и самого Хрущева, и он бывал непростительно груб.

Недавно я прочел, что роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был «арестован» в 1961 году и Гроссман написал Хрущеву. Тогда я ничего не знал об этом. Думаю, что Хрущев не читал письма либо не вник в его суть. Как пишут очевидцы, объяснение по поводу романа у Гроссмана было с Сусловым. Он заявил, что книга не увидит свет и через двести пятьдесят лет.

В 1988 году, как известно, роман опубликовали.

Могло ли это случиться раньше? Что изменилось бы в его судьбе, прояви Хрущев больше внимания к работе Василия Гроссмана? Думаю, что Никита Сергеевич не смог бы постичь всю сложность этого романа, не смог бы принять его. Постижение романа требует не только интуиции. Вполне возможно, что Хрущев был бы (или был?) солидарен с Сусловым.

Спрашиваю себя: если мне пришлось бы решать судьбу книги Гроссмана в то время, как бы я поступил? Должен честно признаться: не предложил бы ее к публикации. Я был потрясен, прочитав книгу в 1988 году, долго не мог прийти в себя от

внутреннего озноба – ум еще противился, не хотел соглашаться с тем, как связана и к чему ведет логика романа, будто он написал не о нас, не о нашем мире. Только постепенно собственная ущербность уходила, и я уже не мог оторваться от страниц.

Позвонил своему университетскому товарищу критику Анатолию Бочарову. В журнале «Октябрь», где печатался роман, было опубликовано его эссе. Одним из первых Бочаров назвал роман Гроссмана народной драмой, «Войной и миром» XX столетия.

Становилось понятно, почему нас «отлучали» от таких книг. Ортодоксальное видение мира, сужая горизонт, утверждало в людях духовное убожество. Оно было нашей судьбой и бедой, в том смысле, что избавляло от чувства духовной неполноценности. Все в нас самих и вокруг казалось самым лучшим, в том числе и литература. Она вполне обходилась без писателя Гроссмана и десятков других, подобных…

В пенсионные годы Никита Сергеевич прочитал «Доктора Живаго» Пастернака. Книга не понравилась ему, показалась скучной. Сложная вязь повествования, герои, чуждые по духу и биографиям. Многое, как он говорил, показалось несущественным, не входившим в круг его устремлений. Но тогда же он пожалел, что роман этот не был напечатан, и с какой-то грустью признался: «Ничего бы не случилось…»

Это позднее признание показательно. Оно выражает взгляды Никиты Сергеевича не только на литературные процессы и взаимоотношения деятелей искусства с руководством в пору его пенсионных раздумий, но и на «технологию» обострений, случавшихся в то время, когда был у власти. Отчего произошел взрыв ярости «первого лица», когда он узнал о присуждении Пастернаку Нобелевской премии? Этот взрыв диктовался отнюдь не литературными соображениями. В этих вопросах Хрущев не был силен. Общественная ценность литературы связывалась в его сознании с непременной подчиненностью писателя задачам дня, курсу политического и социально-культурного развития общества. А кто же в таком случае судья? Кто определяет социальный заказ деятелю искусств? В широком смысле слова – народ. А практически – партия, то есть на каждый данный момент партийное руководство, а еще точнее – партийный аппарат.

Какое-то время Хрущев силился отгонять от себя мысли о безупречности собственных суждений, однако сдерживающих факторов было явно недостаточно. Он был типичным партийным руководителем той эпохи. Чем более его втягивали в лабиринты командно-административной Системы, от которой он хотел уйти, тем сильнее в нем действовал инстинкт своеволия,

безапелляционности. Он считал себя вправе судить обо всем, в том числе об искусстве и литературе без всяких оговорок.

В конце лета 1950 года случилось такое событие. Хрущев прогуливался по парку на даче. Я шел рядом с ним. Вдруг на одной из берез зазвонил телефонный аппарат. Такие аппараты были прикреплены ко многим деревьям в парке, дабы Сталин мог быстро связаться с нужным ему лицом. Я снял трубку. «Мне Микиту», – послышался глуховатый голос вождя. Хрущев взял трубку. Я отошел в сторонку, чтобы не мешать разговору. Хрущев выслушал какие-то вопросы. Пошел по дорожке снова. Через минуту спросил: «Читали роман Галины Николаевой «Жатва»? Я ответил утвердительно. «Положите книгу мне на стол», – сказал Никита Сергеевич. Ничего больше не прибавил.

Потом мне стало известно, что Сталин интересовался мнением Хрущева о том, все ли в этой книге «правильно» с точки зрения изображения сельской жизни в послевоенные годы. Тут Сталин, по-видимому, больше полагался на Хрущева, чем на писательницу. Вскоре, в 1951 году, роман Галины Николаевой удостоили Сталинской премии. Хрущев подтвердил высокий выбор вождя. Вот и привыкал Никита Сергеевич к такому подходу: «правильно» – «неправильно», нужно – не нужно. Все остальное – художественные достоинства, боль и гнев художника, его сомнения и поиски – все за гранью, от лукавого, от интеллигентских метаний. Интеллигенция, в особенности занимавшаяся гуманитарными проблемами, всегда была под подозрением, и неприязненное отношение к ней весьма культивировалось.

И уж вовсе невозможно было успокоить Хрущева и что-то объяснить ему, если то или иное произведение литературы получало высокую оценку на Западе, за границей. Тут Хрущев непременно искал подвох. Пастернака награждают Нобелевской премией? Значит, делают это в пику нашей стране, в пику ему, Хрущеву. Если он не проявит гнева, значит, не продемонстрирует партийной принципиальности. Он, Хрущев, вынужден ведь был оглядываться по сторонам, видеть настроения своих коллег, улавливать настроение аппарата. До него доходили сведения о том, что его считают чересчур либеральным, а либерализм ведет к расшатыванию устоев. Я хорошо знал иезуитскую механику создания подобных настроений и слухов, она выстраивалась по очень сложным схемам. Тут воздействовали на Хрущева и военные, например маршал Чуйков, наговаривавший Никите Сергеевичу множество «жутких» историй о проникновении в нашу идеологию враждебных настроений, и кое-кто из-за границы. Особенно усердствовал Вальтер Ульбрихт – тот тоже запугивал

Хрущева. Из Москвы, дескать, доносится тлетворное буржуазное влияние.

Летом 1964 года во время визита Хрущева в Швецию премьер-министр Эрландер заговорил с ним о намерении наградить академика П. Л. Капицу, блестящего советского физика, золотой медалью Шведской академии. Никита Сергеевич воспринял разговор очень нервно. Он прямо сказал Эрландеру, что Советское правительство может воспринять это известие как вызов. «Почему?» – удивился Эрландер. «Многие у нас воспримут это как желание выделить физика, который отказался работать над атомным оружием, поступил непатриотично…»

Эрландер не стал переубеждать Хрущева, да и сделать это было невозможно. При всем том, что Хрущев отыскивал пути к спокойным отношениям между странами и народами, он не смог полностью разрушить сталинской установки недоверия к заграница. «Железный занавес» был поднят, но возле стояли очень бдительные товарищи. Смешно и грустно вспоминать, но замечательная балерина Майя Плисецкая выехала впервые за границу с личного разрешения Хрущева, под его поручительство. В этом случае Хрущев не отреагировал на «сигналы» тех, кто запугивал его возможными последствиями: что, если Плисецкая станет невозвращенкой? Такие вот проблемы решались на самом верху и не без борьбы.

В своих воспоминаниях Никита Сергеевич пишет о многих подобных историях: о выезде за границу пианистов С. Рихтера, В. Ашкенази, о том, что он лично стоял за большие свободы на этот счет. Но вот что примечательно. Рассуждения о своих гуманных решениях он сопровождает такой фразой: «Я шел на большой риск и доказывал коллективу, с которым я работал, что без риска нельзя…» Вот это «доказывал» и «без риска нельзя» многое объясняет в позиции Хрущева, показывает атмосферу, которая тогда в стране существовала…

Хрущев не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, в общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил эренбурговское определение «оттепель», считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущева использовали довольно умело. К 1963 году, когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущев был «заведен» до предела. Ему всюду мерещились происки злосчастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчатость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены

вожжи, не наступил ли тот самый грозный паводок? В нем жили два человека. Один осознавал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего слушать, не принимал никаких возражений.

Теперь чаще всего вспоминают именно такого Хрущева. Но мне хочется вот о чем рассказать. Именно в 1963, «остром» году Никита Сергеевич посмотрел как-то на «Мосфильме» картину об американских летчиках, которые должны были нанести по нашей стране атомный удар, но, поднявшись в воздух, вопреки команде сбросили бомбы в океан. Я так и не смог узнать название этого фильма. Рассказывали, в какую ярость пришел Хрущев. Как же так, мы показываем наших потенциальных противников этакими благородными рыцарями, гуманистами, нарушающими приказ о бомбежке России! Какую же идейную нагрузку несет такой фильм? Он что, сделан советскими кинематографистами или его производство оплачено американцами? Хрущев поручил Суслову разобраться в этой истории.

Следствие началось, а через несколько дней было готово соответствующее постановление. В нем шла речь не только об этой картине. В «черный список» включили немало других, в том числе и только что вышедший на экран «Девять дней одного года». Как главный редактор газеты я был ознакомлен с проектом этого постановления. Оно вызвало у меня смятение. Дело в том, что за несколько дней до этого «Известия» статьей А. Аграновского решительно поддержали фильм «Девять дней одного года», а «Правда» поместила резко отрицательную рецензию на него В. Орлова. Тогда я не стал звонить «главному» «Правды», чтобы выяснить причину отповеди нашей газете, не подумал, что за этим кроется нечто большее, чем просто разница в оценках.

Прочитав проект постановления, решил посоветоваться с одним из помощников Хрущева. Он подтвердил мои худшие опасения: раздраженная реакция Хрущева на фильм об американских летчиках проецировалась Сусловым на другие фильмы, никак с ним не связанные. Что было делать? Ведь речь, по сути, шла о резкой перемене взгляда на работы лучших мастеров кино, на фильмы, созданные после XX съезда. Владимир Семенович Лебедев, занимавшийся в секретариате Хрущева вопросами идеологии, сам ничего уже поделать не мог. «Просись на прием к Хрущеву, объясни ему ситуацию, выскажи свою точку зрения». – «Когда, как?» – спросил я. «Прямо сейчас, времени в

запасе нет. Хрущев один в кабинете (шел уже одиннадцатый час вечера), я доложу».

Надо сказать, что на прием к Хрущеву я просился впервые. Не знаю, что он подумал, когда Лебедев доложил ему обо мне.

Никита Сергеевич выглядел очень усталым. Спросил, в чем дело. Коротко рассказав о ситуации, я положил листок постановления на стол и ушел. На следующее утро в ЦК было срочное совещание. Его вел Хрущев. Не хочу по памяти воспроизводить его выступление. Постановление в том виде, как оно готовилось, не было принято. Многие прекрасные картины, в том числе и «Девять дней одного года», составившие гордость обновленного кинематографа, там не упоминались.

Не так просто, как иным товарищам кажется, давались мне и другим газетчикам подобные акции. Думаю, что Суслов не простил мне этого обращения к Хрущеву. Когда на Пленуме ЦК речь шла о смещении Никиты Сергеевича, он бросил несколько реплик в мой адрес. Одна поразила меня. «Представьте себе, – говорил Суслов, – я открываю утром газету «Известия» и не знаю, что в ней прочитаю».

В «отставке» Хрущев вроде бы осознал, что не все ладилось у него во взаимоотношениях с интеллигенцией. Однако до конца дней он полагал, что его требования носили вполне оправданный характер – нельзя даже в мелочах поступаться идейными убеждениями. Когда он «размахивал кулаками», стыдил, бранил, горячился, он не держал камня за пазухой. Во время более чем жаркой дискуссии со скульптором Неизвестным он пообещал прийти к нему в мастерскую. Видел вполне реалистические композиции скульптора и говорил: «Вот это другое дело».

Автором памятника на могиле Хрущева стал Эрнст Неизвестный.

На выставке в Манеже, посвященной тридцатилетию МОСХа, пояснения Хрущеву давал президент Академии художеств Серов. Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренно негативными акцентами говорил Серов о Фальке и некоторых других художниках, впервые за многие годы выставленных явно «для объективности» (а точнее, чтобы «раздразнить», разъярить Хрущева). Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких грубых оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался.

Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущева в минуты его раздраженных объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссерами. Казалось бы, критиковать Хрущева было проще в застойные годы, это находило всяческую

поддержку. Но, видно, не все хотели тогда подчеркивать свою связь с эпохой XX съезда. Иных вполне устраивало «застойное» личное благополучие. Не потому ли так важно им сегодня напомнить о себе: вот ведь, на меня топал ногами сам Хрущев!

Иногда мне хочется спросить: была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Хрущева? И, с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после XX съезда, только с теми или иными чертами характера Хрущева? Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, какое дает подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, анализ событий верен и научно взвешен, советы дали необычайно быстрый эффект, когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами, – легко ли сохранить чувство самоконтроля? Административная система власти, созданная Сталиным, как раз и была рассчитана на непререкаемость мнений одного человека, вождя. Ушел из жизни Сталин, но Система не сдавалась. Эта Система – самое великое изобретение Сталина. Она пережила потрясения XX съезда. Сломать ее в те годы не удалось. И кое-кто будет стоять за ее сохранение до последнего и сегодня.

Черные пятна былого

Хоть и говорят «не хлебом единым жив человек», однако жизнь его зависит прежде всего от хлеба. Существенное состояло в том, что наряду с устойчивой работой промышленности, важнейших ее отраслей, опорой на достижения научно-технического прогресса стабильнее развивалось сельскохозяйственное производство. На XXII съезде партии в 1961 году были приведены такие цифры: если за пятилетие с 1951 по 1955 год среднегодовое производство зерна составляло 5442 миллиона пудов, то с 1956 по 1960 год оно выросло до 7742 миллиона пудов. В пересчете на меру, которая принята у нас сейчас, это около 130 миллионов тонн.

Больше стало зерна за счет повышения урожайности, но главным образом благодаря освоению целинных земель. Деревня переставала быть той дойной коровой, из которой город, промышленность без расчета черпали свои ресурсы, мало заботясь о том, чтобы соблюдался разумный баланс единого народнохозяйственного комплекса. Усиление материальной

заинтересованности крестьян, продажа колхозам сельскохозяйственной техники и сосредоточение ее в одних хозяйских руках, введение гарантируемого минимума оплаты труда на селе, пенсий колхозникам, выравнивание их социального статуса в обществе приносили заметные плоды.

Но происходили и серьезные срывы, в том числе вызванные нетерпением и очковтирательством. Рязанский «опыт», по которому выходило, что в три раза можно за короткий срок увеличить производство мяса, оказался чистой авантюрой, и секретарь Рязанского обкома партии Ларионов покончил самоубийством. В то время, когда казалось, что вот-вот мы перегоним Соединенные Штаты Америки по производству мяса на душу населения и вдоль шоссе красовались соответствующие призывы, часто рядом с выспренними фразами можно было видеть ироничные приписки: «Не уверен – не обгоняй».

И тут уж читатели вправе спросить нас, газетчиков тех лет: а где же были вы? Неужели видели, понимали, и не нашлось мужества сказать правду? Неужели сам Хрущев в эйфории успехов растерял реальные представления о сельских делах и предпочитал жить в мире иллюзий? Неужели финал Ларионова не показался таким уж страшным? Не предостерег?

Сегодня можно бить себя в грудь, каяться, признаваться в трусости, поддакивании, любых прегрешениях. В основе куда более существенные просчеты. В экономике отсутствовала твердая концепция, происходило смешение разных подходов к ведению хозяйства. Верх брали то «купцы», то «кавалеристы», и последние все чаще. Писать резко и открыто о промахах и просчетах в экономике становилось труднее.

Хорошо представляю себе душевное состояние редактора, любого сотрудника газеты в час, когда валы ротационной машины проглатывают нескончаемые ленты бумаги, материализуя слово, обращая его к миллионам читателей. На какой-то срок наступает опустошение, как будто из тебя что-то вынули.

Утром следующего дня усталость проходит, должна пройти.

Газетчики приносят одним радость, другим – разочарование, а то и горе. Профессия эта не терпит равнодушных. Она сродни медицинской. Однако врач беседует с одним человеком, а газетчик, обозревающий работу дня на огромных просторах с участием множества людей, обращается к миллионам. Пишет ли он о герое или разоблачает рвача, вскрывает факты воровства и приписок, рассказывает ли об умном опыте – он как натянутая тетива, а на ней множество стрел, и хочется, чтобы каждая попала в «десятку». Точность попадания зависит от многого. Хуже всего, когда перед самым выстрелом дергают за руку. Я с уважением

отношусь к моим собратьям по профессии и знаю, как горьки такие одергивания.

Две редакции были главными в моей судьбе – «Комсомолка» и «Известия». Многое довелось увидеть, узнать, понять, и нисколько не жалею об избранной профессии.

В мае 1959-го я пришел в «Известия». Считался я в ту пору редактором молодым: мне исполнилось тридцать пять, хотя, как оказалось, и не самым молодым в истории газеты. Один из моих предшественников, Л. Ф. Ильичев, принял «Известия» в тридцать четыре.

В редакционном коллективе работали опытные журналисты, тертые, ироничные. Мне показалось, что они несколько шокированы тем, что в солидную газету назначили «мальчишку».

При назначении было сказано, что необходимо как-то разделить сферы влияния «Правды» и «Известий» не только по формальной принадлежности (газета партии и газета Советов), но и по сути – уж очень они были одинаковые. Отыскивать варианты размежевания предстояло вместе со всем коллективом. Своеобразное напутствие получил я и от Анастаса Ивановича Микояна. Он рассказал следующее.

В 1947 году Сталин во время одного из заседаний не впервой заговорил о том, как формируется у нас общественное мнение. Мысль Сталина сводилась к тому, что хоть нет у нас и не может быть оппозиционной партии, нельзя забывать о возможности неофициальных взглядов и суждений. Если, считал Сталин, они не находят выхода, значит, вынуждены таиться, а знать правду необходимо и полезно, в особенности правящей партии, которая одна выражает интересы всех классов и социальных групп общества, полезно, если иметь в виду склонность кадров к спячке, зазнайству, некритичным оценкам.

Сталин рекомендовал расширить критическое поле деятельности «Литературной газеты», дать ей возможность выступать смелее. Закончил Анастас Иванович так: «Острая газета нравилась товарищу Сталину какое-то время, а потом стала раздражать. Думаю, главного редактора Симонова могли ждать большие неприятности, если бы Сталин не умер раньше, чем успел дать распоряжение разобраться с газетой, где редактором был товарищ Симонов…»

Кстати, в своей последней неоконченной работе «Глазами человека моего поколения» Константин Михайлович Симонов воспроизводит разговор со Сталиным о «Литературной газете». Рассказанное мне Микояном и написанное Симоновым совпадает, если не дословно, то по мысли.

Уроки большой газеты

Первый день работы в новом коллективе… Площадь Пушкина реконструировалась. Ангар кинотеатра «Россия» готовился принять зрителей. Здание газеты, образец конструктивизма 30-х годов, соседствовало с особняком, который называли домом Фамусова, хотя, как рассказывал мне знаток старой Москвы Виктор Васильевич Сорокин, к пьесе Грибоедова «Горе от ума» этот дом не имел прямого отношения. Просто он был великолепным образцом русской архитектуры конца XVIII – начала XIX века. Это никого не остановило. С легкостью необыкновенной старинный особняк снесли.

На двери в редакцию газеты висело небольшое объявление: «Парикмахерская работает с (далее шло указание часов), лица со стороны не обслуживаются». Я подозвал вахтера, и мы стали отдирать фанерку с объявлением, она поддалась, но вместе с ней рухнуло и большое стекло, засыпав пол мельчайшими осколками. В это время начал подходить редакционный народ, большинство прежде меня не видело, и я услышал не слишком вежливые остроты по поводу двух типов, нашедших время для дурацкого занятия.

Утренняя планерка началась с обсуждения плана очередного номера газеты. Все шло в каком-то замедленном темпе, я едва сдерживал раздражение. И сегодня больше всего не принимаю в людях, в их деловом поведении глубокомысленной неторопливости, скрывающей по большей части лень и равнодушие.

В конце планерки появилась уже знакомая читателям Соня с подручной. На двух огромных подносах они внесли в зал стаканы с чаем и бутерброды. Один из заместителей главного редактора, упреждая вопрос, наклонился ко мне и сказал: «Теперь мы будем зачитывать вслух передовую номера и обсуждать ее». Бутерброды аппетитно высились на подносе, но брать их не решались. Пробежав глазами передовую, я сказал: «Давайте отменим это правило! Достаточно, чтобы за качество передовой статьи отвечали ее автор, редактор отдела и главный». Потом я предложил заняться бутербродами, а сам углубился в чтение. Четыре машинописные странички содержали набор общих слов, штампованных призывов. «Как вы думаете, – обратился я к коллегам, – быть может, сегодня выйдем без передовой?»

Внутренне я гордился своей решительностью. Однако вскоре узнал, что именно так поступал Юрий Михайлович Стеклов, редактировавший газету с октября 1917 до 1925 года. Он предпочитал вместо подобных никчемных передовиц ставить

несколько конкретных заметок. Они так и назывались – «стекловицы». Мы часто прибегали к этому испытанному приему. «Стекловицы» известинцы писали охотно. Заметки шли с авторскими подписями. Пришлось отбиваться от «указующих» звонков – я ссылался на Юрия Михайловича Стеклова. Ссылка на авторитеты – самый надежный способ успокоить проверяющих.

Вечером пошел по этажам редакции. В неприютных кабинетах стояли перекошенные шкафы, заваленные до потолка растрепанными подшивками журналов и газет, старый паркет во многих местах был залатан квадратами линолеума. По сравнению с «Комсомольской правдой» все казалось убогим.

Грязь и запустение во многих наших учреждениях иногда оправдывают теснотой, отсутствием уборщиц, множеством других обстоятельств. Все верно. Кроме одного. Заинтересованный человек найдет возможность достойно устроить свое рабочее место.

Вскоре известинцы провели первый (но не последний) субботник – убрали свой дом. Теперь не стыдно было принимать посетителей. А когда мы получили средства на капитальный ремонт, начали перестраивать редакционные помещения. В пыли, грохоте, среди дурманящих запахов лака и краски отыскивали новые темы, новый ритм. Все стали двигаться быстрее. Меня очень поддержали тогда известинские корифеи – Татьяна Тэсс, Евгений Кригер, Борис Галич, Василий Коротеев… Они имели право не приходить в редакцию, получать задания по телефону, брать творческий отпуск. Но, видно, шум и грохот чем-то притягивали: они стали появляться все чаще и чаще.

Редакционный ремонт обернулся неожиданной стороной. Библиотеку эвакуировали во временное помещение, и молодые сотрудники отдела информации должны были перенести туда подшивки газеты прежних лет. Попросил давать их мне для просмотра. Подписав в свет номер, задерживался и листал старые страницы. Никакие рассказы очевидцев, сборники статей, ученые записки, даже кадры кинохроники не могут дать того, что содержит в себе такое знакомство. Кажется, будто эти номера выпустил в свет ты сам и они только что сошли с ротационной машины. Эти вечерние часы путешествие не только к хлебу истории – фактам, но и к чувствам, ибо история живет и чувствами тоже.

Константин Сергеевич Станиславский считал: ошибается тот, кто думает, что жизнь даже очень целеустремленных людей – прямая линия между двумя точками. Прямая линия – отсутствие характера, индивидуальности, борьбы. Истинная линия жизни вся в изломанных острых отрезках, отклоняющихся далеко от прямой,

но постоянно возвращающихся, стремящихся к ней.

Читал стенографические неправленые отчеты с Пленумов ЦК 20-х годов и поражался прямоте, откровенности, с какой говорили друг с другом их участники. Не таились, не боялись обострений. Я, конечно, знал о партийных дискуссиях, университетский курс перечислял их с дотошной аккуратностью, но какими безжизненными казались мне еще не забытые лекции. Иной мир вставал со страниц старых газет.

Почти в каждом номере – дискуссионные статьи о стройках, проектах, книгах, научных работах, направлениях общественного развития, никто не боялся высказывать свою точку зрения.

А дальше пошли иные сюжеты. Трудно поверить, что такое было возможно, кому-то было нужно. На четырех газетных полосах помещается около 80 машинописных страниц текста. В некоторых номерах газет 1937–1938 годов всего десяток страниц содержали хоть какую-то деловую информацию. Остальное – статьи с разоблачениями врагов народа. Публиковались сообщения о раскрытых и арестованных группах, бандах, тайных контрреволюционных организациях. Призывы к бдительности не просто подталкивали, а требовали искать врагов повсюду: в сельских кооперативах, комсомольских организациях, в партийных, советских органах; среди военных, писателей, инженеров, агрономов, колхозников. В сотнях подробностей сообщалось о вражеской маскировке, необходимости всеобщего недоверия, подозрительности, поощрялись и восхвалялись доносы.

Все, что стало известно после XX съезда, касалось в основном видных партийных, советских, военных деятелей, интеллигенции. В газетах же тех лет можно было прочитать о том, как совершенно незаметные люди выдавались за крупных замаскированных противников Советской власти.

Газеты одергивали, предупреждали. В такой-то области недостаточно энергично ищут, там-то малодушествуют и т. д. Вверх выползали те, кто больше разоблачил, арестовал, осудил, выслал.

Подшивки 20-х и подшивки 40-х! Они не выдавались в библиотеках без специального разрешения и после XX съезда партии. Но разве можно знать собственную историю по чьему-то разрешению и лишь узкому кругу лиц?! Наша история – это мы сами. На долю моего поколения пришлась череда сложнейших, а подчас и трагических перемен, но ничто не погасило в нас веры.

Личное на фоне общего

У меня сохранилась фотокопия одного номера газеты «Известия» за 15 июня 1937 года. На первой полосе сообщение и фотографии о похоронах Марии Ильиничны Ульяновой. Траурная процессия движется от Колонного зала Дома союзов к Красной площади. У Мавзолея урну с прахом покойной принимают на плечи Сталин, Молотов и другие руководители партии, в том числе и Хрущев. Сталин и Молотов скорее суровы, чем печальны. Оба они не любили семью Владимира Ильича, и вряд ли им так уж горька была эта утрата.

На митинге выступали В. Я. Чубарь (от ЦК ВКП(б), Н. А. Филатов (от московских организаций), Р. С. Землячка (от Комиссии Советского контроля). В их речах не только дань памяти покойной, но и жгучая тема дня: приговор Верховного суда СССР по делу военной контрреволюционной организации, в которую якобы входили М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, Р. П. Эйдеман, В. К. Путна, Б. М. Фельдман, В. М. Примаков. «Восьмерка» уже расстреляна, и проклятия неслись вслед, очевидно, в назидание всем последующим «заговорщикам». Среди них окажутся многие из присутствующих на похоронах.

Вся третья полоса газеты отдана откликам трудящихся на процесс. «Клеймят и негодуют» рабочие, крестьяне, интеллигенты, военные. Со всего мира поступают сообщения о полной поддержке сурового приговора: «Собакам собачья смерть».

Читаю заметки, подписанные писателем Всеволодом Ивановым, академиком Николаем Вавиловым, балериной Екатериной Гельцер, поэтом Перецем Маркишем. Его отклик стихотворный: «Рассудит истина: снарядам никаким не превратить нас в прах, не превратить нас в дым. Отныне нам бывать владыками сражений!»

Сражения уже начались. В Испании республиканские войска, обливаясь кровью, отступают под натиском дивизий мятежника Франко. Немецкие самолеты поливают свинцом кварталы Мадрида и Бильбао. Добровольцы всех стран оказывают помощь испанским патриотам.

Испания – зарево второй мировой войны. Непостижимо, но в это время Сталин с настойчивостью маньяка уничтожает лучших, талантливых военачальников Красной Армии. Перец Маркиш ошибался. Нам долго не придется быть владыками сражений.

В этой же газете статья философа М. Розенталя. Она посвящена 90-летию работы Маркса «Нищета философии». «Классовая борьба, – пишет Розенталь, – будучи доведена до высшей степени своего напряжения, является полной революцией». Лишь в условиях, когда не будет классового

антагонизма, «социальные эволюции перестанут быть политическими революциями». До тех же пор последним словом социальной науки будет: «Война или смерть: роковая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса».

Маркс ведет спор с идеализмом Прудона, Розенталь использует цитату из Маркса для сиюминутной задачи – оправдать сталинскую концепцию обострения классовой борьбы по мере укрепления социализма в СССР.

В одной упряжке – старый коммунист Чубарь, академик Вавилов, балерина Гельцер, философ Розенталь. Рабская нить угодничества, приспособленчества тянется из 20-х к 40-м и 50-м годам. Энтузиазм толпы, «митинговое правосудие», говоря современным языком, «поп-политика», в основе которой – догматизм, начетничество, слепая вера в непререкаемость мысли и воли Сталина.

И уже на совести моего поколения журналистов такое же бездумное «клеймение» безродных космополитов, вейсманистов-морганистов, лжеученых-кибернетиков, врачей-убийц, Ахматовой, Зощенко, Шостаковича, Прокофьева, Пастернака. К стыду своему, я сам принимал участие по меньшей мере в пяти таких газетных кампаниях. Ничем себя теперь не оправдаешь, ничего не переменишь, и правы те, молодые, кто не может понять и простить нас, как мы, в свою очередь, не должны прощать тех, кто уродовал нашу нравственность…

В том же номере газеты от 15 июня 1937 года есть еще одна заметка. Она называется «Беззаконие в Ширяевском районе», я приведу ее полностью.

«Комиссией Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) были вскрыты факты грубейшего нарушения советских законов и Сталинской Конституции, факты вопиющего издевательства над колхозниками и единоличниками, допущенные секретарем райкома партии, председателем райисполкома и другими работниками Ширяевского района Одесской области.

Расследованием установлено, что в большинстве сельсоветов (Викторовском первом и втором, Малигоновском, Нико-Мавровском и других) имели место возмутительные издевательства над колхозниками и единоличниками и их избиение. Так, в Викторовском (втором) сельсовете была организована «ночная бригада» по взысканию налогов и платежей по займу, которая многократно вызывала по ночам колхозников и единоличников, незаконно описывала их имущество, проводила обыски, глумилась над людьми. По Григорьевскому сельсовету также была создана «финансовая бригада». Эта бригада, явившись к колхознице Бондаренко А. – матери двух красноармейцев,

взломала сундук и забрала последние носильные вещи, принадлежащие ее сыновьям. Так же поступил сельсовет с колхозниками и колхозницами Назаренко, Стеблецкой, Овчанецкой и многими другими.

По большинству других сельсоветов также производились незаконные обыски, избиение колхозников, описи и отобрание имущества.

Все эти факты явились прямым результатом преступных методов руководства работников района, которые не только оставляли безнаказанными виновных в издевательствах над колхозниками и единоличниками, не только покрывали их, но прямо наталкивали их на эти издевательства, чтобы вызвать недовольства колхозников и единоличников.

Прокуратурой Союза ССР в данное время следствие по этому делу закончено.

К уголовной ответственности привлечены: бывший секретарь райкома ВКП(б) Талдыкин, бывший заместитель секретаря райкома Кривошей, бывший председатель райисполкома Гриненко, заведующий районным финансовым отделом Дьяк, заведующий районным земельным отделом Атаманчук, бывший районный прокурор Юнитер, председатель Викторовского (второго) сельсовета Пугач, его бывший заместитель Фурман, бывшие председатели сельсоветов Коровелков и Карпов.

Дело слушается в районном центре Ширяево выездной сессией Верховного суда Украинской ССР».

Перед сталинским законом все равны – маршал Тухачевский, секретари райкомов и председатели сельсоветов. И в том и в другом случае дела решаются в Верховных судах.

Не знаю, случайно ли совпали по времени два процесса – в Москве и Ширяеве. Спустя уже более полувека эти сообщения воспринимаются во взаимосвязи, как образец сталинского лицемерия. Но в 30-х они казались верхом сталинской справедливости: все видит, все знает, всем воздается поровну.

В 1937 году, когда происходили эти события, мне шел тринадцатый год. Уже несколько лет я жил в Москве. Как оказался здесь, откуда? Родился я в знаменитом на весь мир древнем городе Самарканде. Самое раннее детство связано для меня с образом мамы, а потом и отчима. Отца я почти не знал.

Иван Савельевич Аджубей оставил семью, когда мне было чуть больше двух лет. Лишь однажды он попросил мать «показать ему сына», и я поехал в Ленинград. Шла война с финнами. Город был затемнен, однако большой тревоги жители, видимо, не испытывали. Работали театры, толпы народа заполняли зимний, припорошенный снегом проспект Кирова, бывший Невский, вновь

обретший свое старинное название в 1944 году, когда наши войска прорвали блокаду города.

За ту неделю, что я пробыл у Ивана Савельевича, мы никак не сблизились. Было неприятно, когда он целовал меня узкими холодными губами в щеку. Седая щетина отцовской бороды покалывала так, что я съеживался. Иван Савельевич именовал меня ласково – «сыночка», отчего казался и вовсе противным.

Жил Иван Савельевич в большой, мне тогда даже казалось огромной, комнате на углу Загородного проспекта в доме № 3. Цифру «3» я запомнил потому, что в Москве на Воронцовской улице мы жили в квартире 3. Четыре окна угловой комнаты делали ее очень светлой и нарядной. Блестящий паркет, большой рояль. На крышке лежали твердая кожаная подушечка и небольшая палочка, похожая на короткий биллиардный кий. Висело несколько фотографий отца. Он в театральном костюме в обнимку с Федором Шаляпиным. Под снимком подпись «Ивану-гвоздиле» от собрата Федора». Дело в том, что до революции отец пел в Мариинской опере, у него, как рассказывали, был сильнейший и редкий голос драматического тенора.

Откуда у вас такая «турецкая» фамилия? – спрашивают меня иногда. Отвечаю: она украинская, как Кочубей и многие другие похожие. На Украине фамилия не вызывает удивления.

Иван Савельевич родом из Кировоградской области, села Алексеевка, из бедной крестьянской семьи. Пел мальчиком в церковном хоре. Помещица угадала в мальчике талант и – пришел срок – устроила его «казеннокоштным» (то есть на стипендию) студентом в Петербургскую консерваторию.

Там он проучился пению несколько лет и в 1910–1913 годах стал именитым певцом, выступал вместе с Шаляпиным и Собиновым. В опере он взял себе псевдоним «Войтенко».

Началась первая мировая война, затем гражданская. Иван Савельевич воевал с 1914 по 1920 год и раненым оказался в госпитале в Самарканде. Сестрой милосердия там работала моя мама – Нина Матвеевна Гупало. Читатель вправе нарисовать в воображении сентиментальную картинку, влюбленный солдат и молоденькая сестра милосердия…

В 1924 году родился я, а в 1926 мать и отец расстались. Иван Савельевич уехал в Ленинград. Петь он не мог, мешали раны, полученные на фронте. Стал преподавать вокал. И преуспел в этом. «Ставить голос» к Ивану Савельевичу приезжали многие певцы из Москвы, других городов.

Мой сосед по дому, народный артист СССР Павел Герасимович Лисициан, как только мы поселились в одном подъезде, спросил: не сын ли я Ивана Савельевича Аджубея?

Оказалось, он тоже учился у отца. «Иван Савельевич, – рассказывал Лисициан, – вел занятия очень строго: лупил по кожаной подушке на рояле палкой и кричал: «Обопри дыхание на диафрагму…»

Уж коли я пустился в плаванье по семейному морю, расскажу и о том, как очутилась в Самарканде моя мама – в ней текла украинская и русская кровь, с некоторыми «добавками» польской и армянской.

Мама родилась во Владикавказе, а когда ей исполнилось восемь лет, было это в 1906 году, всю семью выслали в колонию в Самарканд: мамин отец и его братья сочувствовали социал-демократам. Видно, материальное положение семьи стало ненадежным. Маму и брата Георгия, моего дядю, определили в монастырский приют.

Я очень любил маму. Она часто говорила, что ненавидит свою портняжную профессию, что ей надоели кичливые бабы, которых она вынуждена одевать. Но это «вынуждена» исчезало начисто, когда Нина Матвеевна брала в руки большие ножницы и безо всяких мелков, «на глаз» разрезала куски нарядных тканей. Алексей Толстой как-то увидел маму в работе, заехав в мастерскую со своей женой Людмилой Ильиничной, и прислал ей книгу «Хождение по мукам» с дарственной надписью: «Великому мастеру Нине Гупало. Алексей Толстой».

И еще мама была щедрой. Деньги для нее существовали только для того, чтобы их с охотой тратить. Когда Елене Сергеевне Булгаковой бывало «не по средствам» одеваться у Гупало, Нина Матвеевна говорила: «Бросьте, Алена, о деньгах – сочтемся».

Когда материальное положение Елены Сергеевны поправилось – а это случилось после издания книги «Мастер и Маргарита» во многих странах мира, – она была подчеркнуто щедра к маме. Эта щедрость выражалась в еженедельных посылках блоков импортных сигарет – другие подарки мама не принимала. Елена Сергеевна оставалась единственной женщиной, которой Нина Матвеевна разрешала приехать на «совет», когда мама уже тяжело болела. Елена Сергеевна умерла за полгода до смерти Нины Матвеевны, осенью 1970 года. Не успела вкусить сполна ни славы, ни богатства. Умерла, как и мама, в одночасье.

Какой-то магнит притягивал этих женщин друг к другу, быть может, умная бесшабашность и уверенность в своих силах.

Второй муж матери – Михаил Александрович Гапеев вошел в мою детскую жизнь как дядя Миша. Мы дружили с ним. Он служил юрисконсультом, занимался организацией юридической службы в хлопковых трестах Средней Азии. Мы часто переезжали

из города в город. Жили в Бухаре, Новом Кагане, а в зиму 1931 года уехали в Караганду.

Дядя Миша держал себя со мной по-мужски, «на равных», случалось, защищал от суровых наказаний матери – она хоть и не часто, но умело работала ремнем.

Зима 1931 года в Караганде проходила ужасно. Жили мы в каменном барачного типа доме для ИТР. Вьюга так заносила входную дверь, что по утрам Михаил Александрович с трудом открывал ее и обнаруживал в сугробах замерзших. Голодные люди искали спасения у дверей человеческого жилья, но их голоса поглощала вьюга…

Михаил Александрович приехал в Караганду по просьбе своего старшего брата профессора-угольщика, занимавшегося карагандинским угольным бассейном в начале 20-х годов. Он должен был наладить хозяйственно-юридическую службу, а затем мы собирались переехать в Москву.

В начале лета 1932 года Михаил Александрович заболел тифом и, так как никакой серьезной медицинской помощи больные не получали, умер. Мама решила искать счастья в Москве. На несколько месяцев мы остановились у Александра Александровича Гапеева, старшего брата дяди Миши.

В начале 30-х с жильем в Москве была полная катастрофа. С трудом нам удалось снять «угол» в переполненной коммунальной квартире, в районе Таганской площади, на Воронцовской улице. Трехэтажный особняк, где мы поселились, принадлежал некогда графу Воронцову. Эта улица до сих пор – Воронцовская, по-видимому, городские власти упустили из виду «аристократическое происхождение» ее названия.

Наша хозяйка Александра Васильевна работала трамвайным кондуктором и растила двух дочерей – Зою и Аню. Она отгородила фанерой часть своей комнаты, навесила легкую картонную дверь и положила за проживание ежемесячную плату в 160 рублей. По тем временам – немалые деньги, почти половина того, что мать зарабатывала, но иного выхода у нас не было. Мать устроилась портнихой в модное тогда ателье «Всекохудожник» и, чтобы содержать семью, пропадала на работе с утра до ночи. В ту пору в Москве властвовали три закройщицы: Батова, Данилина и Ефимова. Очень скоро они позволили Нине Матвеевне занять место рядом с собой. Батова, грубоватая, не чуравшаяся рюмки, сказала: «Становись, Нина, к закройному столу, набирай бригаду, ты еще нас обойдешь».

В большой кухне нашей квартиры шипели и отравляли воздух два десятка примусов и керосинок, стены и потолок усеивали тучи рыжих тараканов. Однако убогое жилье да и быт не

отражались на настроении жильцов, не помню, чтобы вспыхивали крупные ссоры, разве что перебранка, если кем-нибудь нарушались сроки уборки мест общего пользования: коридора, крошечного клозета и ванной, в которой стояла дровяная колонка. Топили ее по очереди: мылись по три семьи в вечер. В 1937 году приехала в Москву из Самарканда моя бабушка Мария Матвеевна. Мне стелили постель на столе, бабушка спала на крошечном диване, а мама располагалась на полу в узком проходе.

Москва оглушила меня. Я долго скучал по Самарканду, маленькому саду за домом, где рос урюк, черешня, несколько виноградных лоз. Перед домом – раскидистые тутовые деревья. Когда поспевала приторно-сладкая белая или почти черная ягода, жильцы выносили простыни, натягивали их под ветками и трясли деревья. Потом приходило время грецких орехов. Мальчишки срывали их и очищали плотную зеленую мясистую кожуру о камни. Пальцы у нас при этом становились коричневыми, как у заядлых курильщиков, и не отмывались до поздней осени.

Вечером на Ургуцкую улицу приходил поливальщик. Он шел вдоль арыка и, орудуя лопатой-черпаком, бросал воду на мягкую песчаную мостовую. Улица становилась прохладной, и мы носились босиком по этой упругой, холодившей ноги, земле…

В Москве, за особняком графа Воронцова, тоже располагался сад, некогда плодоносящий, но куда ему было до щедрого южного собрата. Культурные яблони выродились. Остались только дички, упрямые и жизнестойкие, как все дети вольной природы. Едва начинали краснеть кислые сморщенные яблоки, как мальчишки и девчонки срывали их и наедались до резей в желудке.

Нашим главным развлечением был трамвай. Лихое занятие – прыгнуть на ходу на заднюю площадку второго или третьего вагона. Кондуктор зорко наблюдала за акробатическими прыжками мальчишек. Дергала протянутую под потолком вагона веревку – подавала звонком сигнал вагоновожатому. Случалось, остановив трамвай, вагоновожатый и кондукторша старались поймать нарушителя, бежали за ним до ближайшей подворотни и кричали вслед: «Поймаем, уши оторвем!» Но никакой спринтер не мог бы изловить ловких мальчишек с Таганки.

В квартире, где я жил, кроме меня, мальчиков не было. Дочери нашей хозяйки Зоя и Аня садились вечерами на подоконник и пели под гитару. Они хорошо знали все песни Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко. Пели и плакали от томившей их тоски по любви.

Две другие девушки-«коммуналки» считались интеллигентками. У Лели отец – инженер-строитель, у Нины –

отец и мать именовали себя счетными работниками, попросту говоря, были бухгалтерами. Когда у Зои родился ребенок, пришлось освободить «угол». Нас приютили Емельяновы, Лелина семья. Ее мама Нина Антоновна и она сама стали для меня родными людьми.

В начале 50-х годов мы с женой навещали Нину Антоновну – маленькую хлопотливую старушку, угощавшую нас чаем с сахарином. Бывало, я просил у Нины Антоновны спички, она долго рылась в своем чуланчике, приносила коробочку – и сахарин, и спички хранились у нее с 20-х годов, от нэпа. Нина Антоновна очень боялась повторения голода и запаслась «дефицитом» до самой смерти.

По вечерам Леля и Нина заводили патефон с записями песен Вари Паниной, модной исполнительницы цыганских романсов, короля городских шлягеров Юрия Морфесси, эмигрантов Петра Лещенко и Александра Вертинского.

Вся эта музыка была тогда под запретом. Прежде чем завести патефон, двери плотно закрывали, завешивали окна, иначе можно было прослыть «недобитыми нэпманками». В гости к девушкам, «на танцы» приходили красивые молодые люди, чаще других актер театра Вахтангова Надир Малишевский, балетный либреттист Петр Аболимов. Он одержал верх и стал мужем Нины. После войны Петр Федорович ходил в помощниках Ворошилова, был директором Дворца съездов. Когда ожидался визит молодых людей, девушки норовили отправить мам из дома. Мамы соглашались с условием, что в комнате останется Алеша. Я садился к патефону и исполнял роль диск-жокея. Гости одаривали меня плиткой шоколада или конфетами, чтобы умерить мою бдительность.

Память о 1937-м. Мне тринадцать лет, возраст первых раздумий, первых слез от того, что придется умереть. Но это во сне, а наяву? Мы тогда и слов таких не слышали: массовые репрессии. В нашей квартире забрали ночью только одного жильца, угрюмого человека. На кухне у него не было керосинки. «Этот питается по столовкам» – для хозяек примусов и керосинок в этом было что-то ненадежное. Его исчезновение никого особенно не взволновало. Только проходя мимо опечатанной красным сургучом комнаты, вспоминали про себя о жившем здесь человеке.

1937 год в доме, где жила с родителями моя будущая жена, восьмилетняя Рада, – там другое дело. В романе Юрия Трифонова «Дом на набережной» описано все это иезуитское буйство сталинских репрессий. Он жил там, близ Кремля, а я совсем в

другом – рабочем – районе Москвы, в той ее части, где мальчиков одолевали иные заботы.

1937 год. В то время для нас существовала только Испания, бои с фашистами. В моду вошли шапочки-испанки – синие с красным кантом пилотки, а также большие береты, которые мы лихо сдвигали набок. Непривычный запах апельсинов и мандаринов, доселе неизвестных нам фруктов, казалось, донесся на Таганку прямо из жаркой Испании. Мы обжирались этими прекрасными плодами. В мальчишеском жаргоне самым сильным ругательством стало слово «фашист». Так мы называли тех, кого ненавидел весь двор: трусов, жадин и доносчиков. От клички фашист «отмывались» в нешуточных драках.

Еще была школа. 478-я – трудовая, политехническая, только что отстроенная. Труд здесь был главным, и наш директор Петр Иванович Симаков ценил ребят прежде всего по трудолюбию. Ему не пришло бы и в голову уговаривать или даже просто разговаривать о снежных заносах, преграждавших дорогу к школе, или иных хозяйственных проблемах с учениками, уговаривать взять в руки лопаты – все решали сами ребята. Разводили огонь под огромными чанами, куда ссыпались снежные кучи, «топили» снег – вывозить его на авто было невозможно, не было авто; сгружали уголь для котельных, ремонтировали школу. Это само собой разумелось. В школе реально действовало самоуправление.

Да, были суды над Тухачевским, другими высшими военачальниками, были другие оглушительные процессы 30-х. Однако воспитательные акценты расставлялись умело и четко: для мальчишек и девчонок того времени мир делился только на «белых» и «красных». Нам и в голову не приходило раздумывать, на чьей быть стороне. В этом красном мире жили и совершали подвиги полярные исследователи, челюскинцы, папанинцы, Чкалов, Беляков, Байдуков, Громов и его товарищи, только что совершившие беспосадочные полеты в США, отважные летчицы Гризодубова, Осипенко, Раскова, установившие мировой рекорд дальности полета для тяжелых самолетов.

В 1939 году в школах усилили военно-спортивную подготовку. Ввели обязательные ночные лыжные походы на длинные дистанции. В одну из ночей сводный лыжный батальон 478-й школы занял позиции вдоль полотна Павелецкой железной дороги, когда в Москву шли поезда с делегатами XVIII партийного съезда.

Мы жгли костры на высоких насыпях и грелись в их пламени. Поезда поднимали снежную поземку и пропадали в серебристой темноте, и мы верили, что наша бдительность охраняет старших товарищей от вражеской диверсии.

Учителя без тени смущения прославляли смелость донесшего на родителей-кулаков Павлика Морозова, поскольку самым родным каждому человеку были не мать и отец, а великий друг детей – Сталин.

Таким существовал наш мир, и ничего уже не переменишь. «Нам нет преград на суше и на море…» – пели мы в ту пору.

В те же годы на Таганской площади произошло два приметных события местного значения. Открылся роскошный магазин с непривычным названием «Гастроном» и не менее прекрасный кинотеатр. В гастрономе за прилавками манили взор небольшие деревянные бочонки с несколькими сортами черной и красной икры разного посола, а еще паюсная – тягучая, липнущая к зубам, надолго оставлявшая во рту терпко-солоноватый вкус. В гастрономе можно было купить колбасные обрезки, они стоили значительно дешевле и состояли из вполне приличных кусочков колбас – отдельной, любительской, языковой, ливерной, буженины, тамбовского окорока и массы других вкуснейших изделий. Продавцы работали в высоких поварских колпаках, и, если покупался фунт или два, услужливо спрашивали: «Вам куском или нарезать?» Отвечая на просьбу «нарезать», хватали длинные тонкие ножи, прижимали колбасный батон большим пальцем и с умопомрачительной скоростью – так и казалось, что они отхватят себе руку, – нарезали груду ломтиков колбасы или ветчины.

В кинотеатре перед сеансами непременно выступал джаз-оркестр, танцевали Анна Редель и Михаил Хрусталев – блестящая эстрадная пара тех лет. А главное – шли потрясающие фильмы. Многие мальчишки смотрели «Чапаева» по двадцать раз, и героика гражданской войны опаляла наши души.

Мальчишки с Таганки редко выбирались в центр города. Мир наших интересов ограничивался ближними московскими заставами – Крестьянской, Абельмановской. Нина Антоновна была театралкой. Она вывела меня в театр. Я видел в довоенных постановках «Дни Турбиных» Булгакова во МХАТе (Нина Антоновна непременно обливалась слезами), «Отелло» и «Уриэля Акосту» с великим актером Остужевым в Малом театре. Больше всего меня потрясло, когда я узнал, что он глухой. «Принцессу Турандот» у Вахтангова, «Даму с камелиями» в Камерном. Там играла «звезда» театральной Москвы Алиса Коонен, а ставил спектакль Александр Таиров. В 1950-м их судьбы были сломаны, а театр закрыли, подвергнув разносной критике.

В доме на Воронцовской жили, естественно, семьи разного достатка, но это не очень бросалось в глаза, да и не принято

было, точнее сказать, боялись «выпендриваться». По-настоящему убогую жизнь, как и в голодном Самарканде, я увидел в селе Рыболово, под Москвой, куда в 1937 году мама отправила меня на лето с сыном ее сослуживицы Олегом Иконниковым – он был года на три старше меня.

Деревня стояла на голом высоком берегу Москва-реки. В песчаных откосах гнездились тысячи ласточек, а когда мы прыгали с кручи в воду, на нас пикировали растревоженные птицы.

Раз в неделю матери привозили нам городские продукты. Раскладывая их на маленькой кухне, бабушка Ольга закрывала окна: «Чтобы не сбежались на запахи соседи». Она отрезала у селедок хвосты и головы, делила на кучки и одаривала потом родню, приговаривая – это им в картофельный отвар для вкуса и запаха. Вдоволь в деревне было только молока и вишен.

Лето и осень 1940 и 1941 годов я проработал в Казахстане в геологоразведочной экспедиции. Добрался до Москвы только в начале октября 1941 года, а в 1942-м ушел в армию.

И вот теперь держу в руках номер газеты «Известия» за 15 июня 1937 года. Прошло более полувека. Недавно проезжал по Таганской площади, Воронцовской улице. Нет там знаменитых торговых рядов архитектора Бове, нет кинотеатра «Таганский», сгинул и гастроном. Наш дом обезлюдел, окна его забиты тяжелыми досками. В той «коммуналке», где некогда коптили потолок двадцать керосинок и примусов, была, оказывается, зала графа Воронцова, и там, на балах, как говорят, появлялся Пушкин. Я помню, за буфетом Нины Антоновны сохранилась часть росписи потолка – лента из цветов и милые амурчики. И вот теперь дом ждет реставрация.

На одном из заседаний редакционной коллегии «Известий» редактору отдела пропаганды Юрию Константиновичу Филоновичу было поручено подготовить биографические очерки о выдающихся деятелях страны, павших жертвами культа личности либо вычеркнутых из нашей истории. Нам казалось важным, чтобы читатели, в особенности молодые, знали не только их имена, но и судьбы. Такие материалы вызывали интерес, об этом мы знали по редакционной почте.

Очень скоро, однако, публикации начали встречать скрытое сопротивление. Дело было не только в разного рода звонках и «опровержениях», а в ощущаемом нами недоброжелательстве. Авторов материалов да и редакцию в целом запугивали: «О ком печетесь? Кого расхваливаете?»

Иногда складывались странные ситуации. Для «Недели» был

набран очерк о командарме Второй Конной Филиппе Кузьмиче Миронове. История этой армии, как и роль ее командующего, долго была за семью печатями.

В очерке было рассказано о сложном боевом пути этого храброго человека.

Член казачьего отдела ВЦИК, неординарная личность, он в августе 1919 года вопреки запрету Реввоенсовета с недоформированным корпусом выступил из Саранска на фронт. Был арестован за нарушение приказа, приговорен Ревтрибуналом к расстрелу, но помилован ВЦИК. В то же время ЦК РКП(б) снял выдвигавшееся против него обвинение в контрреволюционной деятельности. С сентября по декабрь 1920 года Миронов командовал Второй Конной армией. За успешные бои против врангелевских войск в Крыму был награжден почетным оружием и вторым орденом Красного Знамени.

Очерк журналиста В. Гольцева был уже сверстан. Поздним вечером в редакцию позвонил Семен Михайлович Буденный. Не знаю уж, каким образом и что ему стало известно, но он настойчиво советовал не печатать ничего об этом «предателе». До выхода «Недели» оставались считанные минуты, странное предупреждение Буденного обескуражило меня и Гольцева. Я решился позвонить домой М. А. Суслову. Коротко рассказал ему о разговоре с Семеном Михайловичем. Суслов был немногословен: «Печатайте», – отрезал он. Очерк вышел, но я почувствовал, как долго может жить в душе человека ненависть, далеко уводя в сторону от истины.

Миронов был убит во дворе Бутырской тюрьмы в 1921 году. Тайна этого убийства так и не прояснена.

Звонок Буденного в редакцию «Известий» был не случаен. Он продолжал настойчиво бороться и с решением о реабилитации другого видного военачальника времен гражданской войны – Б. М. Думенко. Бывший вахмистр царской армии, Думенко активно включился в борьбу с донской контрреволюцией и уже к концу 1918 года командовал Сводной кавалерийской дивизией. Его помощником был С. М. Буденный. Первая Конная армия сформировалась на базе Сводного конного корпуса, во главе которого стоял Думенко. Владимир Ильич Ленин приветствовал героические подвиги конников Думенко. По ложному доносу Думенко был осужден и расстрелян. В 1964 году его полностью реабилитировали. «Известия» рассказали об этом человеке. Буденный уже не звонил в редакцию. Но в 1970 году во втором номере журнала «Вопросы истории КПСС» обрушился с нескрываемой злобой на своего бывшего командира. Его не смущал и факт реабилитации. Семен Михайлович хорошо

чувствовал, что можно и чего нельзя, понимал разницу между 1964 и 1970 годами.

Опыт работы в «Комсомольской правде» здесь, в большой официальной газете, невозможно было применить впрямую, но и делать ее, как прежде, тоже не хотелось. Небольшой тираж солидного издания не делал ему чести. Сложность состояла не только в том, чтобы готовить материалы более острые, злободневные, но, что оказалось труднее, – человечные. Какими бы извилистыми путями ни шла в ту пору общественная жизнь, главное в ней определялось, я бы сказал, раскрепощением души человека.

Тяга к открытости, к искренности, дружелюбию, взаимопомощи была основой перемен, определяла общественный оптимизм. Две публикации в «Комсомольской правде», напечатанные почти перед самым моим уходом в «Известия», такие разные по сюжетам, связывались единством моральных принципов и до сих пор остаются, с моей точки зрения, хрестоматийными. Я говорю об очерке Нины Александровой «Чужие дети» и публицистическом репортаже Аркадия Сахнина «Эхо войны».

Очерк Нины Александровой прост. Это история любви и преданности, выдержки и благородства двух взрослых и двух детей, нечаянный случай, обыденная драма, даже мелодрама, а за ней – высокие страсти, не на сцене, а рядом с нами, на нашей улице, в наших днях; сила любви и спасение в ней – вот о чем писала прекрасный журналист, наша Нина. «Чужих детей» экранизировали, передавали в радиоспектаклях, читали вслух. Нет, не сентиментальные реминисценции в духе Чарской привлекали умы и сердца читателей. Миллионы людей услышали сигнал «SOS» и вытаскивали себя из безразличия и апатии…

Нина Александрова перешла на работу в «Известия». Она погибла трагически. Отправилась в командировку, чтобы проверить читательское письмо. Самолет потерпел аварию…

Репортаж Аркадия Сахнина был о другом. Эхо войны раздалось близ Курска, где нашли огромные склады боеприпасов, оставленных немцами при отступлении. Сотни бомб, снарядов, мин, упрятанных под землю, а рядом жили люди.

Аркадий поехал к саперам. Он видел молодых солдат, не прошедших испытания войной, их старших товарищей, поседевших в минувших боях, за смертельно опасной работой. Любое неверное движение могло стать последним. Скупо и сдержанно Сахнин написал о военном подвиге в мирное время.

Такие человечные, жизненные истории без фальши,

показного бодрячества свидетельствовали о новом взгляде журналистов на окружающий мир. В конце 50-х в «Комсомольской правде» напечатали еще один, запомнившийся мне материал. Он вызвал буквально взрыв общественного интереса. Это была передовая статья очеркиста Веры Бендеровой «Мама». Тысячи писем пришли в редакцию.

В них слышался крик души старых матерей и отцов, которых бросили их дети. Речь в письмах шла даже не о материальной помощи, хотя и о ней тоже, а о разрыве нравственных нитей, ведущем общество к распаду.

Со студенческих и даже школьных лет нам вдалбливали в голову не подвергаемые обсуждению установки о типическом и нетипическом в жизни. Все, что выходило за рамки утверждений о самом гуманном и счастливом обществе, в котором живут советские люди, все, что показывало реальные процессы и коллизии, обозначалось клеймом «очернительство».

Жесткие установки сталинизма, определившие структуру общественной жизни: политику, экономику, культуру, традиции, рамки семейных взаимоотношений, скреплялись мощным внешним ободом – вечной тревогой о неизбежности войны.

Хрущев в Америке

Не могу не отметить, так как об этом часто забывают, что именно на XX съезде была подтверждена ленинская концепция о взаимоотношениях социалистического государства с мировым сообществом – мирное сосуществование. Было сказано и о том, что не существует фатальной неизбежности мировой войны.

Первый в истории отношений между двумя великими странами визит главы Советского правительства в Соединенные Штаты Америки стал конкретным выражением нашей решимости не только декларировать свои цели и намерения, но и подкреплять их делами.

Илья Эренбург в статье «Время надежд», опубликованной в «Известиях» накануне визита, писал, что приглашение Хрущева в США в равной степени идет от правительства этой страны и от ее народа…

В нью-йоркском «Колизее» только что завершила работу советская выставка «Наука, техника, культура в СССР», ее открывал член Президиума ЦК партии, секретарь ЦК Ф. Р. Козлов. Посетили выставку президент Д. Эйзенхауэр и вице-президент Р. Никсон и дали ей высокую оценку.

У нас была низкая производительность труда, отставала

технология, удручали качество многих изделий легкой промышленности, состояние сельскохозяйственного производства, но через четырнадцать лет после окончания опустошительной войны наши надежды опирались на крепнущий материальный фундамент.

Во времена «холодной войны» появился термин «железный занавес». Не откажешь Черчиллю – а это его определение – в хлесткости выражений. Его тут же подхватили журналисты. Оставим в стороне спор о том, кто и с какими целями опустил этот занавес между востоком и Западом, – его «придерживали» с обеих сторон. И вот этот занавес, кажется, начал подниматься и открывать миллионам людей мир, в котором все активнее проявлялось человеческое взаимодействие…

14 сентября 1959 года Хрущев отбыл в США.

Ту-114 после долгого разгона оторвался от бетонных плит взлетной полосы, и сразу пропал грохот мощных турбин, он как бы остался на земле. Салоны самолета, в то время самого большого в мире, казались чрезвычайно просторными. Летел вместе с Хрущевым и сын Андрея Николаевича Туполева Алексей – авиаконструктор, один из создателей Ту-114. Андрей Николаевич, прощаясь, шутил: «Не волнуйся, Никита Сергеевич, за новую машину, я тебе в виде заложника сына отдаю. Знал бы, что дело ненадежное, полетел бы сам». Андрей Николаевич практически ко всем обращался на «ты», к Хрущеву тоже, но это было, пожалуй, не данью привычке, а знаком уважительной близости.

Под крылом самолета лежал Атлантический океан. Четыре года назад его волны резал форштевень пакетбота «Иль де Франс», на борту которого советские журналисты плыли в Америку. Как встретит она советских людей теперь? Иной уровень визита, иные времена. Никита Сергеевич вместе с Алексеем Туполевым осмотрел самолет. Близ пилотской кабины по обе стороны фюзеляжа мирно спали какие-то люди. Алеша Туполев сказал, что это заводские инженеры-мотористы и что он сейчас их разбудит. «А зачем у этих товарищей наушники?» – спросил Хрущев, останавливая Туполева-младшего. Тот ответил. «В их обязанность входит прослушивание работы двигателей». – «Пусть спят, – сказал Хрущев, – их ничего не тревожит, значит, моторы работают нормально».

В апреле Никите Сергеевичу Хрущеву исполнилось 65 лет. Пять из них он – на посту Первого секретаря ЦК КПСС и полтора – Председателя Совета Министров СССР. Хрущев полон сил, энергии. Приглашение посетить США мировая пресса назвала сенсацией. Можно понять настроение человека, на долю которого

выпала такая миссия.

Никита Сергеевич знакомится с американским штурманом Гарольдом Ренегаром. Американец спрашивает о нашей второй космической ракете, доставившей на Луну советский вымпел. Хрущев просит принести ящичек с вымпелом. Показывает его Ренегару. Тот с наигранной простоватостью произносит: «Здорово придумали! Одну такую штуку запустили на Луну, а вторую запускаете к нам, в Америку».

Военный аэродром на базе Эндрюс стал местом встречи по необходимости, без всякого «второго смысла». Ни один гражданский аэродром Вашингтона не мог принять воздушный исполин. Аэродромной службе пришлось спешно надстраивать трап для пассажиров – еще десяток ступенек из алюминия. Деталь, мгновенно переданная в газеты всеми репортерами.

Официальная церемония. Гимны двух стран. Короткие речи Д. Эйзенхауэра и Н. С. Хрущева. Торжественный въезд в столицу Соединенных Штатов Америки. День яркий, солнечный, еще летний. Осень с красными листьями приходит в Америку значительно позже.

Протокол встречи высокого гостя соединял в себе пристрастия американцев: кони и гром техники. Автомобильный кортеж упреждают всадники эпохи борьбы Штатов с колониальным господством. Грохочущая армада мотоциклов обрамляет «стальным клином» первую машину.

Но поразило даже не это великолепие.

Толпы народа, заполнившие широкие проспекты Вашингтона, находятся в каком-то странном оцепенении. Люди как зачарованные. На лицах едва просвечивают улыбки, а чаще удивление и настороженность. Будто ожидают увидеть не подобных себе, а инопланетян. Вот-вот может случиться нечто, оправдывающее их опасения и скованность.

В руках у многих – американские и советские флажки, но люди не спешат размахивать ими.

Медленно движется почетная кавалькада, народ безмолвствует. Постепенно проходит оцепенение, раздаются возгласы приветствия. Еще робкие, нерешительные, совсем не такие, какими они будут через несколько дней, когда Америка услышит Хрущева и узнает его чуть больше.

Всему – и этой первой настороженности, и знакам дружелюбия и сердечности, с какими пройдет визит Хрущева в Соединенные Штаты Америки, – есть свое объяснение. Достаточно вспомнить, что подобными первыми контактами на международной арене едва обозначались и оттепели в бастионах «холодной войны». По-своему эта война держала миллионы

людей в напряжении и неведении, оставляя за избранными право начать в любой миг войну горячую. Однако мир начал меняться. Спустя 26 лет после официального дипломатического признания Советского Союза Соединенные Штаты решились пригласить к себе главу Советского правительства.

Америке понравился Хрущев. Честной и смелой постановкой сложных проблем, контактностью, способностью понять собеседника, его настроение: если серьезно, так серьезно; в шутку, так в шутку; с напором, так с напором.

Каждый американец, на улице или на железнодорожной станции, в цехе завода, столовой самообслуживания, среди пышных декораций Голливуда, на изысканном обеде, каждый журналист (а моих коллег в «хвосте» Хрущева было около пяти тысяч – рекордное по тому времени число) открывал в Хрущеве не только и не столько политического деятеля великой страны, сколько живого искреннего человека. Они поверили, что он приехал с дружескими намерениями. Маршрут поездки лежал через многие американские города. С запада на восток и обратно.

Спустя три месяца несколько советских журналистов, сопровождавших Никиту Сергеевича, написали книгу «Лицом к лицу с Америкой». Она вышла большим тиражом, издавалась на многих языках. Не знаю, куда подевались экземпляры этой книги с иных полок, но когда ко мне обращаются с просьбой дать прочесть, предупреждаю, что сохранился у меня один экземпляр. Спрашивал книгу в разных библиотеках – нигде нет. Да и шутка сказать: миновало без малого тридцать лет!

О том, что и как происходило в Америке в ту пору, яснее станет из отчета самого Никиты Сергеевича о поездке. Прилетев в Москву, он прямо с аэродрома направился в Лужники, где во Дворце спорта произнес речь, наметки которой продиктовал в самолете. Правда, записи эти ему, как часто бывало, не понадобились: говорил он не по бумажке. Приведу несколько отрывков из этой речи.

«…С первых шагов по американской земле меня начали так усиленно охранять, что не было никакой возможности вступить в контакт с рядовыми американцами. Эта охрана превратилась в своего рода домашний арест. Меня начали возить в закрытой машине, и я только в окошко мог видеть людей, которые нас встречали. А люди приветствовали, хотя зачастую и не видели меня.

Я далек от того, чтобы все те чувства дружбы, которые выражались американским народом, принять на свой счет или даже на счет нашей коммунистической идеологии. В этих приветствиях американцы заявляли нам, что они так же, как и

мы, стоят на позициях борьбы за мир, за дружбу между нашими народами.

В первой половине путешествия нам бросилось в глаза, что повторялась одна и та же пластинка. Ораторы утверждали, будто я когда-то сказал, что мы «похороним капиталистов». Вначале я терпеливо разъяснял, как это было в действительности сказано, что мы «похороним капитализм» в том смысле, что социализм придет неизбежно на смену этой отживающей свой век общественной формации так же, как в свое время на смену феодализма пришел капитализм. В дальнейшем я увидел, что люди, которые настойчиво повторяют подобные вопросы, вовсе не нуждаются в разъяснениях. Они ставят определенную цель – запугать коммунизмом людей, которые имеют очень смутное представление о том, что это такое.

В городе Лос-Анджелесе на одном из приемов, где мэр города, который не хуже других мэров, но, быть может, менее дипломатичен, опять начал говорить в таком духе, я был вынужден высказать свое отношение к этому.

Я заявил: вы хотите мне организовать в каждом городе, на каждом собрании демонстрацию неприязни? Если вы так будете меня встречать, то что же, как говорится в русской пословице, «от чужих ворот невелик поворот». Если вы еще не созрели для переговоров, если вы еще не осознали необходимости ликвидации «холодной войны» и боитесь, что она будет ликвидирована, хотите ее продолжать, то нам ветер тоже не дует в лицо, мы можем терпеть…

Мне пришлось тогда вступить в дипломатические переговоры. Я попросил министра иностранных дел товарища Громыко пойти и заявить представителю президента г-ну Лоджу, который меня сопровождал, что, если дело не будет исправлено, я не сочту возможным дальше продолжать свою поездку и должен буду вернуться в Вашингтон, а оттуда в Москву.

Должен сказать, что такие переговоры через товарища Громыко имели место ночью, а когда утром я проснулся, действительно все изменилось. И когда мы из Лос-Анджелеса поехали в Сан-Франциско, с меня были сняты, образно говоря, «наручники», и я получил возможность выходить из вагона, встречаться с людьми…

Слушая мое выступление, кое-кто может подумать, что Хрущев, говоря о дружественных встречах, утаил враждебные демонстрации. Нет, я не собираюсь замалчивать факты враждебного или неприязненного отношения к нам. Да, такие факты были. Знаете, как американские журналисты были моими спутниками в поездке по США, так и фашиствующие беглецы из

разных стран кочевали из города в город, выставляя напоказ несколько жалких плакатиков. Встречались нам и злые, и хмурые американские лица…

Было очень много хорошего, но не нужно забывать и плохое. Этот червячок, вернее червячище, еще жив и может проявить свою жизненность и в дальнейшем…

…Президент проявил любезность, пригласив меня на свою ферму. На ферме я познакомился с внуками президента и провел с ними совещание. Спросил, хотят ли они поехать в Россию. Внуки в один голос от мала до велика заявили, что хотят ехать в Россию, хотят ехать в Москву. Старшему внуку 11 лет, младшей внучке – 3–4 года. Я заручился их поддержкой. В шутку я сказал президенту, что мне легче договориться об ответном визите с его внуками, чем с ним самим, потому что у внуков хорошее окружение, а у него, видимо, имеются какие-то препятствия, которые не дают возможности реализовать его желание в таком духе и в то время, когда он хотел бы.

Время – хороший советчик, как говорят русские люди: «Утро вечера мудренее». Это мудро сказано. Давайте мы обождем утра, тем более что мы прилетели в конце дня и я выступаю уже вечером. И может быть, пройдет не одно утро, пока мы хорошенько выясним это. Но мы не будем сидеть сложа руки и ожидать рассвета, ожидать, куда будет склоняться стрелка международных отношений.

Но и со своей стороны будем делать все, чтобы стрелка барометра шла не на бурю и даже не на переменно, а показывала бы на ясно…»

Во время пребывания в Соединенных Штатах Америки Хрущев выступил и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он внес предложение о всеобщем и полном разоружении. Больше чем кто-нибудь другой Хрущев знал, как далеки мы были в то время от такой радужной перспективы. И вместе с тем первое слово было сказано. Хрущев призывал к решительному шагу, высвечивая цель, предвидя тяжесть пути к ней, подчеркивая, что Советская страна готова со всей возможной активностью начать работу по переустройству мировых взаимоотношений от разобщенности – к единству, от распрей – к дружбе, от несправедливости – к честности и доверию.

За несколько дней до этого выступления у Никиты Сергеевича был непротокольный разговор с Д. Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде, летней резиденции президента. Вспоминали вторую мировую войну, знаменитые сражения. Вдруг Эйзенхауэр спросил Хрущева, каким образом Советское правительство регулирует

выделение средств на военные программы. «А как вы, господин президент?» – поинтересовался, в свою очередь, Никита Сергеевич. Эйзенхауэр развел руками, прихлопнул по коленке: «Прибегают ко мне наши военные, расписывают, какие у русских потрясающие военные достижения, и тут же требуют деньги – не можем мы отстать от Советов!» – «Вот так же и у нас, – подхватил мысль президента Хрущев, – приходят военные, расписывают, какие потрясающие достижения у американцев. И требуют денег. Мы ведь не можем отстать от Соединенных Штатов!»

Гость и хозяин рассмеялись. Никита Сергеевич часто пересказывал этот эпизод.

Видно, неспроста заговорил Эйзенхауэр с Хрущевым о том, кто взвинчивает гонку вооружений. В конце своей президентской карьеры он предупредил нацию о не поддающемся контролю влиянии военно-промышленного комплекса США. Этот комплекс может стать самодействующей политической силой, способной втравить Америку в страшные авантюры.

Наша страна демонстрировала свое миролюбие конкретными действиями. На январской сессии Верховного Совета СССР 1960 года Н. С. Хрущев так охарактеризовал динамику развития Советских Вооруженных Сил за несколько десятилетий. В 1927 году они насчитывают 586 тысяч человек; в 1937-м – 1433 тысячи; в 1941-м – 4207 тысяч; в 1945-м – 11365 тысяч; в 1948-м – 2874 тысячи; в 1955-м – 5763 тысячи; в 1955–1958 годах – 3623 тысячи. От имени Советского правительства на этой сессии он внес предложение провести очередное сокращение советских войск еще на 1200 тысяч человек. Наши вооруженные силы составят 2423 тысячи солдат и офицеров – это меньше того уровня, который обусловливали западные державы. Верховный Совет СССР принял это предложение. «Известия» публикуют дружеский шарж. Перед строем солдат – Н. С. Хрущев. Звучит команда: «Каждый третий – выходи!» На этой же сессии было принято Обращение Верховного Совета СССР к парламентам и правительствам всех государств о мире. Кажется, на земном шаре становилось спокойнее.

Будучи главой партии и правительства, Хрущев посетил более 35 стран. Но к моменту, когда он занял пост Первого секретаря ЦК, в 1953 году, мир для него оставался «терра инкогнита». Только однажды, сразу после войны, с разрешения Сталина Хрущев посетил Австрию. Не знаю, под какой фамилией путешествовал, как его представляли местным властям, думаю, что по традиции «генералом Ивановым». Впечатлениями о той первой поездке он не делился, только изредка вспоминал красоты Австрии, ее замки, дороги и, конечно, охотничьи ружья, которыми хвастались наши генералы оккупационных войск. Хрущев был заядлым охотником, метко стрелял: «летающие тарелочки» только успевали разлетаться после его выстрелов.

Знакомство с жизнью народов других стран, обликом новых земель, культурой, традициями в разных государствах, возможность беседовать с политическими и государственными деятелями, самому уяснять ситуацию укрепляли убежденность в необходимости получать информацию из первых рук. Эту потребность он ощущал постоянно.

После десятилетий угрюмого затворничества Сталина перед Хрущевым встало великое множество сложных проблем. О некоторых из них я уже говорил. «Десталинизация» в европейских странах народной демократии, в мировом коммунистическом и рабочем движении, новые принципы отношений со странами «третьего мира», а это движение в ту пору, в середине 50-х годов, только обретало организационные формы: связи с Китаем, странами Юго-Восточной Азии – все требовало конкретных знаний.

Хотя Хрущев с 1939 года входил в Политбюро ЦК, он фактически только в самой общей форме был знаком с теми или иными стратегическими и тактическими целями внешнеполитической деятельности Советского государства. Международными делами при Сталине в основном занимались Молотов и Вышинский, партийными связями – Жданов и Маленков.

После XX съезда «завалы» в международных отношениях СССР с рядом стран мира во взаимоотношениях с социалистическими государствами были существенно расчищены. Социалистический лагерь (только значительно позже это весьма многозначительное терминологическое клише было заменено более демократичным – «социалистическое содружество»)

пережил сложную пору обновления. Приходили к руководству партиями и странами новые люди, подчас при драматических ситуациях. Маршал Тито рассказывал членам советской делегации, посетившей Югославию в 1955 году, как Сталин «сталкивал» лбами, ссорил Болгарию и Югославию. Димитрову говорил, что только он достоин занять место лидера коммунистического движения после его, Сталина, смерти; то же самое слышал от Сталина и Тито в свой адрес. Сталин видел будущее развитие социалистических стран с непременным «главным» по заслугам и чину «вождем», которому все будут подчиняться.

Становилось ясно, что и здесь были необходимы иные подходы. На совещаниях коммунистических и рабочих партий в Москве (в 1957 и 1960 годах) вырабатывалась новая концепция межгосударственных и межпартийных отношений, в которой более четко говорилось о равенстве, о самостоятельности партий, невмешательстве в дела друг друга, уважении странами и партиями общих социалистических принципов и национальных особенностей каждой.

Самоисчерпывался постулат: «Во главе с Советским Союзом», как противоречащий вновь выработанным принципам. Казалось, что в конце 50-х – начале 60-х наступает пора более спокойных отношений, и дух равноправного товарищества будет определять политическую атмосферу содружества. Жизнь показала, что до этого было еще очень далеко.

В 1959 году резко обострились отношения между КПСС и Албанской партией труда, затем затяжной кризис ухудшил отношения между КПСС и Китайской компартией. Албанское руководство той поры довело отношения между нашими странами до полного разрыва. Связи СССР и КНР были резко свернуты. Хотя причины, породившие эти надрывы и разрывы, были внешне различны, за ними стояло главное совпадающее – неприятие курса XX и XXII съездов КПСС. Наша компартия в ряде китайских, да и не только китайских, документов и статей стала именоваться «ревизионистской», а «ревизионистом № 1» называли Хрущева. Немало сыпалось и других хлестких эпитетов в наш адрес – «гегемонизм», «социмпериализм» и т. д.

В партийных кругах все это воспринималось болезненно, так как разрушались въевшиеся в плоть и кровь стереотипы. Во время визита делегации Верховного Совета СССР в Югославию во главе с Председателем Президиума Верховного Совета СССР Брежневым (а было это уже в 1962 году!) буквально за несколько часов до подписания советско-югославского коммюнике возникла странная ситуация. Коммюнике выработали на совместных рабочих

заседаниях и согласовали с югославским руководством. И вдруг из Москвы последовал «совет» исключить фразу о том, что «советская делегация ознакомилась с ходом социалистического строительства в Югославии», заменив ее выражением более общего порядка. И Брежнев, и другие члены делегации поняли, что стоит за этим «пожеланием». Брежнев говорил по телефону с секретарем ЦК Козловым (связаться с Хрущевым ему не удалось, тот был в отъезде), но Козлов не захотел разделить ответственность. «Какой социализм ты там увидел? Здесь тебя не поймут», – сказал он. Брежнев поехал к Тито, в резиденцию вернулся расстроенным. Сказал нам: «Тито все понял и не показал вида, что это обижает югославских товарищей. «Время нас рассудит, товарищ Брежнев, передайте это Хрущеву». Тягостно было смотреть в глаза наших «хозяев».

Время действительно многое прояснило, оценило, отсеяло.

В Китайской Народной Республике происходят перемены, раскрепощающие наши отношения, возвращая им стабильность и доброжелательность. Я видел эту замечательную землю, знаком с ее древнейшей культурой, ощутил, какой громадный потенциал заложен в народе, поднимающем свою родину к новой жизни. Недавно в китайской печати появилась иная, чем прежде, оценка деятельности Хрущева. Его «ревизионизм» и тяга к реформам определяются теперь как первые попытки к обновлению социализма…

Во время поездок за границу Хрущев не становился в позу именитого путешественника, которого ничего не интересует: снобизм в нем начисто отсутствовал, он не стеснялся говорить хозяевам о том, что ему нравится, чему мы хотели бы поучиться. Я бы мог привести длинный перечень того, что вызвало интерес Хрущева, что он советовал перенять.

После поездки в США в 1959 году у нас появились не только семена гибридной кукурузы. Хрущев дотошно расспрашивал фермера Гарста о раздельной уборке хлебов. Особенно его заинтересовала организация труда: отряды комбайнов в дни страды находились в постоянном движении. Механизированные колонны катились с американского севера на юг по мере созревания хлебов. При такой технологии выработка на комбайн увеличивалась против нашей в три раза – с 200 до 600 гектаров. Магазины и столовые самообслуживания тоже «приехали» из США. Во время второго визита в Австрию в 1958 году Хрущев заинтересовался подземными пешеходными тоннелями, остановил машину, пересек под землей «Ринг», и вскоре такие переходы начали строить у нас.

Там же, в Австрии, Хрущев посетил новейший

металлургический завод. В огромном цехе, похожем на лабораторию (рабочие были одеты в белоснежные халаты), гости увидели, как за сорок минут «сварили» порцию стали заданной марки. Я не специалист и не знаю точно, в чем отличие этого австрийского способа под литерами «ЛД» от нашего кислородно-конверторного; видимо, в «ЛД» какие-то преимущества имелись – уж очень активное завязалось обсуждение. Хрущев, его первый заместитель по Совету Министров Косыгин, министры Непорожний, Тихонов дали высокую оценку работе австрийских сталеплавильщиков. Зашла речь о покупке лицензии и даже завода, на что австрийские хозяева дали согласие. Однако сделка не состоялась…

Уже в Москве началась массированная «обработка» Хрущева (не знаю, какую позицию заняли члены делегации, на чьей стороне они оказались), и патент «ЛД» остался в Австрии. Оправдывали отказ тем, что мы располагаем не менее эффективным кислородно-конверторным способом, его и будем внедрять с удесятеренными силами.

И внедрение началось. За ходом его следила газета «Правда». Развернулась острая дискуссия. Новый способ наткнулся на плотное сопротивление «доменщиков», утверждавших, что отказ от привычной технологии опасен, может привести к спаду производства и т. д. «Правда» получала постоянную поддержку Хрущева, однако напор противников оказался сильнее его «волюнтаризма».

Сталь во всех развитых странах мира получают сегодня только методом электро– и кислородно-конверторного производства, а у нас и в 1987 году его доля едва равнялась 47 процентам.

Примечательный разговор состоялся у меня однажды с Андреем Николаевичем Туполевым. По приглашению его дочери Юли мы приехали с женой к нему на дачу. Андрей Николаевич, которого мы не видели с поры отставки Хрущева, сидел в плетеном кресле перед домом, отчужденный, весь в себе. Он не любил старости, она его тяготила. После смерти жены, к которой относился с большой нежностью, его не оставляли грустные мысли. Было холодно, и Туполев набросил на плечи старую пилотскую меховушку. Увидев Раду, Андрей Николаевич оживился. Попросил принести американский авиационный журнал «Эйркрафт». «Смотри, признают ведь, что первый в мире реактивный пассажирский самолет сделали русские», – говорил он, листая страницы, посвященные его детищу – Ту-104.

Туполев стал вспоминать перипетии с созданием самолета. Рассуждал о нашей вечной проблеме: как тяжко пробивается все

новое. «Я тогда имел сильную поддержку твоего отца, – сказал он. – Если б не давили вместе с ним, не быть бы нам основоположниками реактивной пассажирской авиации».

Вспомнил Туполев и одну из бесед со Сталиным. Тот вызвал конструктора и сказал, что есть возможность детально изучить американскую «летающую крепость» Б-26. Хорошо бы точно скопировать машину для опытных целей. «Сколько времени понадобится для этого?» – спросил Сталин. Я подумал и ответил, что года через два мы построим самолет лучше, чем Б-26. Сталин сказал своим глуховатым голосом: «Если вы измените в самолете, о котором идет речь, хоть один узел и он не будет соответствовать образцу, я вновь отправлю вас в тюрьму».

Туполев засмеялся: «Так тоже можно руководить конструкторами. У нас ведь как? Есть у человека хорошая идея, есть наброски – ему дают конструкторское бюро под новое дело. Лет пять на раскачку, еще три на первый образец. Потом еще пару лет на доводку. А идея себя уже исчерпала. Как быть? В бюро уже тысячи сотрудников. Престиж, звания! И вместо ожидаемого «чуда» начинают штамповать простейшие доильные аппараты. Можно понять людей из такого КБ. Хотя и знают, что дело «швах», держатся за кресло. Не все способны переучиваться, менять место жительства, прощаться со званиями и должностями. У капиталистов проще: не нужен – уходи; у нас же не бросишь человека на произвол судьбы!»

Да, многое смешалось в сложном процессе: человек – наука – техника – производство. В те годы нам еще только предстояло найти экономические и социальные механизмы, которые не требовали бы постоянного давления со стороны «сильных мира сего». Оказалось, что это не так просто. Консерватизм, стремление очернить все, что определяло на каком-то этапе движение мирового научно-технического прогресса, привели нас к существенному отставанию.

Петр Кузьмич Анохин – выдающийся советский физиолог – был ближайшим учеником Ивана Петровича Павлова. Оттолкнувшись от работы своего учителя, начатой еще в 1916 году и не продолженной Павловым, он пришел к поразительному открытию. В ответ на сигнал-раздражитель собака подходила к корму. Однако, обнаружив, что на тарелке не хлеб, к которому она привыкла, а мясо, животное поворачивало обратно. Только спустя мгновение, после некоторого раздумья, собака возвращалась и съедала его. Так Анохин на практике доказал теорию о второй сигнальной системе. Учитель не слишком радостно воспринял открытие ученика. Оно вносило неупорядоченность в стройную павловскую теорию. Нет, Павлов

не гневался, не порицал ученика за самостоятельность вывода. Он просто деликатно удалил Анохина из своего окружения. Позже, после смерти Павлова, этим воспользовались некоторые ретивые сподвижники. В годы, когда легко было спровадить конкурента куда подальше, этим мнимым недовольством Павлова воспользовались и укатали Анохина в отдаленные места.

Только после XX съезда Петр Кузьмич Анохин вернулся и стал активно работать в Москве. Он рассказывал мне, что когда в нашу страну приехал «отец кибернетики» Роберт Винер, посетил институт имени Сеченова: хотел познакомиться с Петром Кузьмичом. Американец с признательностью отметил, что первооткрывателем законов кибернетики считает Анохина, поскольку в основе кибернетических принципов – его теория о второй сигнальной системе. А мы объявили кибернетику лженаукой. Впрочем, как и многое другое.

Поездки Хрущева за рубеж снабжали его массой конкретных, на первый взгляд неприметных деталей, за которыми он угадывал и открывал для себя немало существенного.

Президент Франции де Голль, встречая Хрущева на парижском аэродроме Орли, обратился к Никите Сергеевичу с весьма дружеским приветствием: «И вот, наконец, вы здесь…»

Март 1960 года еще не был омрачен резкими рецидивами «холодной войны», еще не вырулил на старт шпионский самолет Пауэрса, «контрас» не атаковали кубинские берега, и в мире укреплялся тот дух мирного сотрудничества, который усилила поездка Хрущева в Америку.

В ту пору Франция стараниями президента де Голля заняла активную, ярко выраженную национальную политику во взаимоотношениях с разными государствами мира, заявила о выходе из военной организации НАТО. Де Голль, вопреки нажиму реакционных кругов, вел дело к мирному урегулированию алжирской проблемы, распался колониальный круг французской империи, и де Голль принял эту реальность.

Герой сражающейся Франции, человек, сумевший отстоять ее достоинство в сложном сплетении военных и послевоенных интриг бывших союзников по антигитлеровской коалиции, добившийся для Франции места среди великих держав-победительниц, де Голль был в ту пору одним из самых популярных политических деятелей мира.

Хрущев оценивал место Франции в европейском доме и место ее президента в системе личных взаимоотношений между лидерами различных государств. Независимая и сильная Франция могла стать хорошим партнером нашей страны: она

противостояла амбициям Западной Германии, Италия уступала ее экономическим и политическим влияниям, наконец, Великобритания не могла не считаться с фактором советско-французского сближения.

Хрущев многое имел в виду, когда отправлялся в эту поездку.

Не меньший политический капитал приобретал и де Голль.

Визит Хрущева во Францию подтверждал приверженность СССР политике мирного сосуществования, а динамизм, с каким эта политика проводилась, свидетельствовал о ее фундаментальном значении для нашей страны.

Было что-то трогательно-комичное, когда президент и его гость, подобно Пату и Паташону, знаменитым комикам немого кино, вышагивали рядом: высокий, с военной выправкой аристократ и низенький толстяк, похожий на простака-крестьянина, случайно попавшего на великосветский раут. Хрущев вынужден был делать два шага, чтобы «подстроиться» к шагу де Голля.

Однако эти внешние различия не мешали двум лидерам хорошо понимать друг друга, и вся поездка Хрущева проходила под знаком нараставшего интереса французской общественности к СССР и ее лидеру. Во многих городах при встрече главы Советского правительства перед мэрией, куда обычно прибывал Хрущев, собирались десятки тысяч людей и начинали скандировать «Хрущев о балкон» (по традиции гость города должен появиться на балконе и выступить с речью). Хрущев очень скоро вошел во вкус, с охотой выходил к собравшимся, и его душа оратора-пропагандиста находила заинтересованных слушателей.

Де Голль видел, что такой горячий прием организован левыми силами, но это его не смущало. Он ловко угадывал настроение толпы, направлял ее энтузиазм в сторону французского патриотизма, величия Франции, ее места в современном мире.

Журналистов, сопровождавших Хрущева в поездке по Франции, поражала необычайная экспрессия и артистизм, с каким де Голль произносил свои речи. Он мастерски владел всеми интонационными красками своего звучного голоса, как опытный вояка, привыкший отдавать команды под грохот артиллерийских разрывов.

Тесно сдвинутые к переносице глаза генерала зорко наблюдали за слушавшими его, как бы гипнотизируя собравшихся.

Уже на первом приеме журналисты с удивлением обнаружили, что речи де Голля, произносимые экспромтом, абсолютно совпадали с печатными листками, которые заранее

раздавала пресс-служба президента. Во время одного из приемов во дворце Рамбуйе мы окружили генерала де Голля и попросили объяснить, как это у него получается. Де Голль на секунду задумался: «Неужели это не ясно? Я учу эти речи наизусть и потом произношу их перед зеркалом. Если вы помните, точно так поступал император Наполеон».

Де Голль удивил Хрущева своей коллекцией карикатур на де Голля, которой президент Франции очень гордился. Когда он с явным удовольствием показывал их Хрущеву, тот сказал, что в первые годы революции у нас рисовали карикатуры на Ленина и это не вызывало у него гнева. Де Голль тут же передал несколько карикатур на Хрущева и посоветовал следовать этой традиции…

Контакты с Францией на высшем уровне, продолженные и после ухода Хрущева на пенсию, значительно усилили влияние советской внешней политики в Европе.

В конце июня 1966 года де Голль посетил Советский Союз. Его принимали с подчеркнутой доброжелательностью.

Из окна моей квартиры хорошо просматривается Советская площадь перед Моссоветом, конная скульптура Юрия Долгорукого, установленная в честь 800-летия Москвы. Де Голль выразил желание обратиться к москвичам с балкона Моссовета. На площади собралась большая толпа, но к моменту, когда президент Франции начал свое выступление, хлынул проливной дождь. Через минуту только самые стойкие, прижавшись к постаменту и распахнув зонтики, еще внимали президенту, громовые раскаты его хорошо поставленного голоса перекрывали шум ливня. Дождь хлестал ему в лицо, но он продолжал речь с истинно французской экспрессией. А я вспоминал Францию, залитые солнцем южные города, крики толпы «Хрущев о балкон» и откровенный ответ президента советским журналистам по поводу того, как он готовит свои речи.

В конце лета 1988 года я беседовал с корреспондентом французской газеты «Фигаро». Он спросил меня, чем объясняется такое «прохладное» отношение к памяти Хрущева в нашей стране. Я задал ему контрвопрос: а почему во Франции подобное «охлаждение» коснулось президента де Голля в 1969 году, когда он проиграл референдум? Отчего Франция в ту пору забыла человека, стараниями которого она утвердила свое величие в послевоенной Европе?!

Теперь воздают должное де Голлю.

Думаю, случится так и с Хрущевым.

Президент Египта Гамаль Абдель Насер, президент Алжира Бен Белла, президент Ганы Кваме Нкрума, президент Индонезии Сукарно, премьер-министр Бирмы У Ну, глава Камбоджийского

государства принц Сианук, президент Гвинеи Секу Туре, премьер-министр Конго Патрис Лумумба. Хрущев знал этих лидеров пробуждавшегося «третьего мира». Политическое чутье Никиты Сергеевича подсказывало ему неортодоксальные подходы к взаимоотношениям со странами, которые вскоре образуют мощное движение неприсоединения.

Во время визита Хрущева в Югославию в 1955 году маршал Тито обратил внимание Никиты Сергеевича на президента Египта Насера, посоветовал отнестись к нему внимательно. По существовавшим тогда у нас представлениям Насер был типичным военным диктатором: он пришел к власти в 1952 году в результате «революции офицеров». Его действия в Египте отнюдь не свидетельствовали о торжестве демократии: Насер сурово расправился с левыми силами. Одного этого было достаточно, чтобы, по меньшей мере, «не связываться» с египетским руководством.

Хрущев не спешил предавать политической анафеме этих новых людей в большой политике только за то, что они носили военную форму. Хрущев, может быть, не был силен в философии, не знаю, читал ли он когда-нибудь внимательно Гегеля, но природное чутье, жизненный и политический опыт помогали ему не скатываться на заезженные теоретические дороги, которые чаще всего никуда не ведут.

Он внимательно следил за тем, что происходит в Египте, в других странах «третьего мира».

В 1955 году Советский Союз решил продать Египту оружие, что стало мировой сенсацией. За этим актом последовала череда чрезвычайно важных событий, втянувших в свою орбиту Францию, Англию, воинственный Израиль, а затем Соединенные Штаты и Советский Союз.

Агрессия Англии, Франции и Израиля против Египта в 1956 году, после национализации президентом Насером Суэцкого канала, явилась, по сути, самым опасным рецидивом колониальных амбиций в 50-е годы. Советский Союз решительно поддержал Египет. Президент США Эйзенхауэр отмежевался от действий своих союзников. Хрущев «поймал на слове» американского президента и предложил ему немедленно ввести в Египет объединенный контингент советско-американских войск. Военная авантюра трех стран закончилась отставкой премьера Англии Идена, Франции – Фора. Египет отстоял свое право на суверенную эксплуатацию канала. Это принесло стране не только важные политические дивиденды, но и серьезные валютные поступления – много десятков миллионов долларов…

В Египет я приехал впервые в 1957 году. В Порт-Саиде

проходила учредительная конференция солидарности молодежи с юношами и девушками стран Азии и Африки. Там я познакомился с президентом Насером. Он встречался с делегатами.

А затем я бывал в Египте, Ираке, Алжире, Ливии и других странах этого региона.

В Каир приезжал много раз. Мое первое, «порт-саидовское» знакомство с президентом Насером продолжалось. Объяснялось это и тем, что редактор египетской правительственной газеты «Аль-Ахрам», с которой «Известия» поддерживали контакты, Мохаммед Хейкал был близким Насеру человеком, по сути – идеологическим советником президента, а его газета отражала точку зрения правящего ядра египетской революции.

Наши отношения с Хейкалом выстраивались небезоблачно. Господин Хейкал был напичкан антикоммунистическими и антисоветскими штампами, однако в нем чувствовался тот личный интерес, тяга к фактам, которые приводили его, хоть и медленно, к существенным переоценкам.

Любопытно, что когда я спросил Хейкала о том, когда организовалась газета «Аль-Ахрам», он ответил: «Очень давно, в первой трети XIX века. – И добавил – Существенную материальную поддержку нам оказал русский царь Николай…»

Эта фраза воскресила в памяти другой эпизод – парад королевской гвардии в Таиланде. Гвардией командовала королева, одна из самых красивых женщин в мире. Королева принимала парад в форме русского гусарского полка. По площади двигались бородатые гвардейцы, будто сошедшие с гравюры XIX века. Но виденное мной происходило в декабре 1963!

Как попали в жаркий тропический Таиланд, за многие тысячи километров от родины, русские батальоны? Оказалось, что и здесь в первой трети XIX века Россия сильно обозначила свое влияние. Когда после войны 1812 года рухнула империя Наполеона и заморское влияние Франции пошло на убыль, Сиам (так назывался тогда Таиланд) сблизился с Петербургом.

В Таиланде в королевском дворце я видел портреты русских княгинь, породнившихся с сиамской знатью, живописные картинки заснеженного Петербурга. Зимний дворец в столице Таиланда выстроил Растрелли. Здание повторяет архитектурные линии знакомого нам дворца в Ленинграде. Только высокая крыша в традиционном восточном стиле, окрашенная в зеленый цвет, придает зданию характерные «восточные» черты.

Николай I в знак особого расположения подарил сиамскому правителю один из полков своей гвардии. Полк выстроили на Сенатской площади, скомандовали: «В Сиам шагом марш!» – И

двинулись в многолетнее пешее путешествие русские гвардейцы.

На королевском параде в декабре 1963 года на знойной площади столицы Таиланда равняли ряды праправнуки – пятое поколение – тех русских солдат. Опереточное шествие воспринималось, однако, не только как «монаршья шалость» Николая, а реально свидетельствовало о вещах более серьезных: Россия давно играла в мировой политике не последнюю роль. Не только на ближнем, но и на дальнем востоке…

В Египте в середине XX века советская политика поддержки национально-освободительных движений находила благожелательный отклик. И президент Насер, и многие другие лидеры африканских и азиатских государств увидели в Советском Союзе не только надежного политического союзника, но и верного партнера в экономических вопросах. После неудачных обращений к западным державам с просьбой о разработке проекта Асуанской плотины и оказании содействия в ее строительстве Насер смело пошел на контакты с Советским Союзом.

Президент Насер стремился глубже понять не только официальную сторону советской действительности. Встречаясь с ним, я чувствовал его чисто человеческий интерес к нашим традициям, быту. На книжных полках в его доме становилось все больше книг, свидетельствующих о широте интересов. Тот полковник Насер, с каким я познакомился в Порт-Саиде в 1957 году, и президент Насер конца 50-х годов существенно разнились. Опыт политической борьбы, в том числе и поражения, связанные, например, с неудачной попыткой объединения с Сирией на чисто националистических основах, или разрыв с Ираком президента Касема, умудрял Гамаль Абдель Насера, раскрывал в его натуре черты крупного политического деятеля.

Приезжая в Египет, я часто беседовал о президенте с советским послом Владимиром Яковлевичем Ерофеевым, знатоком положения дел в Египте. Работал там в ту пору и серьезный исследователь арабского мира корреспондент «Правды» Игорь Беляев. Оба они помогали увидеть и оценить нараставшие под руководством Насера перемены в египетском обществе. Он активно проводил политику национализации, создавал основы для развития крупных государственных промышленных предприятий. Шло ограничение земельной собственности, велась борьба с паразитирующими элементами той части национальной буржуазии, главным образом земельной, которым были чужды интересы развития нового Египта.

Когда я приезжал в Каир по своим журналистским делам, Насер обычно передавал приглашение посетить его дом. Там наши беседы носили непротокольный, непринужденный характер.

Президент расспрашивал о моей семье, детях, газетных заботах, культурной жизни в Москве. Сдержанный с виду, немногословный, он располагал к себе тем внутренним обаянием, которое быстро улавливается, если идет от искренности чувств.

После приезда Насера в Москву в 1957 году у него укрепились отличные отношения с Хрущевым.

Строгий семьянин, Насер был очень внимателен к своим детям. Сыновья президента все лето проводили на небольшом островке под Александрией под присмотром старого солдата, много лет служившего с полковником Насером. Так они приобщались к самостоятельной жизни.

В домашней обстановке президент Насер становился мягче, рассказывал о своей семье, отце – почтальоне в небольшом городке под Каиром. Как-то отец президента явился к сыну с упреком по поводу продолжавшегося урезания земельной собственности. «Когда мы объявили об ограничении земельного надела до 200 акров, – рассказывал Насер, – отец приехал, чтобы похлопотать за своего знакомого помещика, считая его хорошим хозяином и человеком. Как мне было переубедить его? Я вспомнил, что мне докладывали о неблаговидных делишках этого помещика, спекулировавшего на близости к отцу президента. Он тайно торговал спиртом, не исключая и святой для мусульманина период рамадана, когда предписано строгое воздержание даже от еды. Показал отцу фотографии изъятых запасов виски. Он был ошеломлен. Уехал молча. Больше никогда не обращался с подобным заступничеством».

«Почему бы вашей семье – жене, детям – не приехать в Египет?» – спросил однажды президент. Так наши мальчишки Никита и Алеша побывали в этой сказочной стране. До сих пор храним мы кинопленку, снятую во время «международного футбольного матча между сыновьями Насера с их товарищами и советской «сборной», в которую входили наши мальчишки, сын Игоря Беляева и дети сотрудников посольства. Наши проиграли. Советская «сборная» рыдала на краю пыльной поляны. «Это все жара», – оправдывались наши.

Зимой мы пригласили детей Насера приехать к нам в гости. Президент согласился отпустить только дочь – Ходу. «Мальчишки еще успеют, сейчас у них разгар школьных занятий, а Хода примет приглашение. Сказать вам честно, – добавил президент, – это будет ей полезно. Увидеть Россию, русскую зиму она давно мечтает…»

Ходе было уже 17 лет, и она окончила колледж.

Когда мы с женой встречали ее на аэродроме в Москве, специально для гостьи термометр показывал 30 градусов мороза.

Хода вышла из самолета в легкой нейлоновой курточке. Хорошо, что Рада захватила ей валенки и теплую шубу. В первые минуты девушка не могла открыть рта. Холодный воздух ошеломил ее. Но она быстро привыкла к морозу. Уже через день Никита Сергеевич пригласил Ходу, посла Мурада Галеба с супругой на конезавод в Горки Х. Там, укутав гостей меховой полостью, их прокатили на русских тройках.

Внимание Никиты Сергеевича к Ходе Насер не было чем-то исключительным. Он часто приглашал в дом многих иностранных гостей, послов с семьями, причем не вкладывал в это каких-то дипломатических сверхзадач. В его естестве было и личное любопытство к этим людям, и искреннее желание завязать чисто человеческие отношения, отбрасывая официальные церемонии.

В книге «Роберт Кеннеди собственными словами» высказывается мысль об американском после в Советском Союзе Ллелуине Томпсоне. Роберт Кеннеди говорит, что посол не пользовался в Москве большим влиянием. Роберт Кеннеди ошибался. Было известно, что Томпсон получил назначение в Москву в ожидании пенсии. Но здесь он пришелся очень «ко двору», завязал крепкие контакты с советским руководством и оказывал серьезное влияние на советско-американские отношения. Президент Кеннеди ценил посла.

Никите Сергеевичу нравился Томпсон. Его дочери учились не в американской школе, а в обыкновенной, советской. Помню, жена посла Джейн рассказала Хрущеву забавную историю из их школьной жизни. Однажды Томпсон пришел на родительское собрание, сел за парту, выслушал замечания о занятиях и поведении своих девочек. Затем он пригласил весь класс вместе с учителями в американское посольство на день рождения дочери. Приглашение вызвало панику. Только через день был дан положительный ответ. Потребовались консультации на разных уровнях, вплоть до Министерства иностранных дел.

Оказалось, мидовцы спрашивали даже у Хрущева: как быть? Нет ли тут какого-нибудь подвоха? «Не волнуйтесь, – сказал Никита Сергеевич, – за наших детей. Пусть они дружат с детьми из других стран. Полезно и учителям понять важность этого».

Перед отъездом Томпсона в США Хрущев пригласил его со всей семьей на дачу. Ребята привезли Никите Сергеевичу свои рисунки с забавными подписями, чувствовали они себя как дома.

Жена советского посла в США Ирина Добрынина навестила чету Томпсонов. Джейн рассказала ей, что девочки хотели продолжать занятия русским языком. Пригласили учителя, и вдруг дочери взбунтовались. На вопрос, в чем дело, ответили: «Этот учитель не знает русского языка, на котором говорят в

Москве».

…Весной 1964 года Насер пригласил Хрущева на торжественное открытие Ассуанской плотины. Комплекс гидротехнических сооружений на Ниле строился при содействии СССР.

Египет поразил Хрущева. Грохочущий Каир, беспредельная пустыня, примыкающая к самому городу, пирамиды Хеопса, каменная голова загадочного Сфинкса. Никита Сергеевич наблюдал, как за несколько минут от подножия пирамиды к самой ее вершине поднялся, точнее сказать, проскакал, подобно горному козлу, щуплый, дочерна обгоревший на жгучем солнце человек. Так же легко, прыжками он спустился вниз. Никита Сергеевич снял часы с руки и подарил их ловкому артисту. Того тотчас окружила толпа собратьев по профессии, кормящихся за счет пирамиды – погонщиков верблюдов, предлагающих туристам экзотическое путешествие на «кораблях пустыни», мальчишек-разносчиков воды и прохладительных напитков, – «часы Хрущева» явно подняли престиж их нового владельца.

Открытие Ассуанской плотины было похоже на вавилонское столпотворение. Сотни тысяч людей, главным образом крестьяне со всех концов Египта, жители Каира, других городов, адская смесь из шума автомобильных моторов, гудков, рева верблюдов, ослов, гул этой колышущейся, как море, толпы, громоподобные призывы мощнейших динамиков соблюдать порядок, не спускаться к барьеру плотины, не прыгать в воду, беречь детей.

Мы стояли вместе с господином Хейкалом на деревянном помосте для прессы и наблюдали, как нильские воды начинают затапливать котлован. Вода поднималась все выше и выше, и вот уже несколько человек беспомощно барахтались в мутных потоках. Я понял, что они не выберутся. Хейкал тоже наблюдал за несчастными. Не было никакой возможности оказать им помощь. Когда последняя голова скрылась под водой, Хейкал проговорил: «Аллах дал, аллах взял…»

Человеческая жизнь все еще мало ценилась в этой пробуждавшейся к новой жизни стране…

В один из дней Хрущева пригласили отправиться в путешествие по Красному морю на парусном баркасе, какие строили в Египте и тысячу лет назад. Подхватил сухой напористый ветер пустыни потрепанный рыжий парус, и баркас, мерно кланяясь синей волне, заспешил от причала.

Баркас, на котором мы плыли, собрал на своем борту команду молодых политиков, жаждавших новых свершений: Насер, его ближайший друг маршал Амер, члены руководства Али

Сабри, Анвар Садат, гости из многих стран, примыкавших к Египту не только географически, но и политически.

Хрущев откинулся на жесткую спинку лавки у кормы суденышка и казался мне Стенькой Разиным, ведущим задушевную беседу. Это была та среда, те слушатели, какие особенно нравились Хрущеву, возбуждали в нем образное мышление. Он говорил доходчиво, увлеченно, с юмором, желая обратить слушателей в свою веру.

Для лидеров тех стран, кто слушали Хрущева, пример Советского Союза был куда ближе, доступнее, чем какой бы то ни было другой. Никто не мог отрицать того факта, что всего за несколько десятилетий отсталая Россия превратилась в могучую державу. Хрущев не говорил, какая цена за это заплачена. Не посвящал слушателей в лабиринты нашей внутренней жизни, жестокостей сталинизма, не говорил о голоде, изничтожении крестьянства, истреблении инакомыслящих и многом другом, разорительном и страшном, что выпало на долю народа, рвавшегося к лучшей жизни. Он не любил вспоминать об этом, во всяком случае вслух.

Баркас шел между коралловыми рифами. Ветер в парусах негромко пел свою песню. Море казалось беспредельным.

Разошлись по разным путям участники той беседы. Вчерашние друзья стали врагами, самые «левые» сдали на правый фланг. Бен Белла, когда-то приговоренный во Франции за революционную деятельность к смертной казни, а потом ставший первым президентом независимого Алжира, был свергнут своим товарищем по заключению (тоже «смертником») Бумедьеном. Теперь Бен Белла снова в Париже, но во главе самой реакционной мусульманской организации.

Президента Насера смерть отчасти спасла от трагических перипетий. Он не узнал о том, что к власти в Египте пришел Анвар Садат и круто повернул политический руль в противоположную сторону. Карьера этого человека, предавшего идеалы революционного обновления Египта, закончится печально.

Многое переменилось во многих странах.

Не обошла превратностями судьба и редактора «Аль-Ахрам» господина Хейкала. После смерти президента Насера, в пору правления Садата, он был арестован, затем эмигрировал из Египта, а теперь вернулся на родину. Весной 1964 года мы виделись с ним в последний раз.

Я рассказывал Хейкалу, что под Багдадом во время поездки в Ирак совершил экскурсию по маршрутам библейского предания. Вначале экскурсионный автобус отвез нас к раскопкам

Вавилонской башни. Затем проехали километров двадцать по шоссе. Автобус неожиданно остановился. Подумали, что в машине какая-то неисправность. Но нет, нас приглашали выйти. До самого горизонта лежала абсолютно безжизненная земля. Через несколько минут мы ощутили, как нестерпимый жар прожигает подметки. Раскаленный воздух втягивал в себя серо-золотистые песчинки, и этот мерцающий полог парил над барханами, создавая иллюзию их движения. Девушка-гид, нисколько не боясь лучей солнца, бодро рассказывала, что в этих вот местах, по преданию, некогда располагался рай, цвели и плодоносили сады, Адам и Ева, согрешив, дали начало роду человеческому…

Хейкал выслушал меня с грустной улыбкой. «И царства богов, и жилье человека бесследно исчезают с лица земли. Я ведь археолог и знаю, как трудно иногда откопать тонкую ниточку древней истории. Здесь, под Каиром, мы долго искали хоть какие-то остатки поселений времен Хеопса и других фараонов. Гигантские захоронения и храмы уже были открыты, а где обитали простые люди, оставалось тайной. Неожиданно под двадцатиметровым слоем песка стали обнаруживать медные клювы и лапы священной птицы ибис. Медные останки лежали в строгом порядке, по прямой линии. И мы поняли, что это – улица, сохранившиеся клювы и лапки ибисов – отметки бывших жилищ. Изображения священной птицы венчали некогда крыши домов. Жилища строились из тростника и за тысячелетия истлели.

А вот шапки пирамид-могильников, – заключил Хейкал, – так заметны».

Надолго запомнился этот вечер в доме Хейкала.

Последний заграничный визит был у Хрущева в 1964 году в Скандинавию. Он плыл морем, и летняя Балтика щедро одаривала его покоем и солнцем. От многого устал этот беспокойный человек, и видно было, как годы гасят в нем прежний пыл. Позже эту поездку ставили Хрущеву в вину, так как она, дескать, не диктовалась политической необходимостью. Может быть, это и так. Однако Хрущеву она дала много. В Швеции и Дании он познакомился с постановкой животноводства. Прекрасные фермы на датском острове Фьюм, где корова дает около десяти тысяч литров молока в год, при жирности в 4–5 процентов, были для него не только образцом, но и укором. Во всяком случае, посещая хозяйства, Хрущев не давал фермерам никаких советов.

Еще несколько как бы мимолетных впечатлений дали толчок к серьезным раздумьям. Вначале он отнесся к тому, что узнал и

увидел, с некоторой иронией, а позже расценивал по-иному. Чтобы точнее понять его реакцию, стоит еще раз вспомнить об отношении Хрущева к различным, как мы сейчас говорим, привилегиям. Почти сразу после XX съезда партии отменили дополнительную «закрытую» зарплату, коей одаривали со сталинских времен довольно широкий круг аппаратчиков. Я сам, как главный редактор «Комсомольской правды», получал такие конверты. Их разносил обычно главный бухгалтер издательства «Правда» А. Васильев, безмолвно пожимал руку и удалялся. Эта «добавка» увеличивала мое жалование почти вдвое. С этих денег не брали никаких взносов, в том числе партийных, не взимали налогов – они как бы были божественным ниспосланием, манной небесной, которая сыпалась в избранные карманы. В подмосковный правительственный санаторий «Барвиха» стали пускать только в отпуск, по путевкам, а не в служебное время для «передышки». Ввели плату за пребывание там.

Долго бился Хрущев с персональными автомобилями. Их количество резко сократили, ввели для ряда лиц талоны на пользование разъездными автомашинами либо такси, разрешили продажу учрежденческих машин этому кругу лиц в личное пользование с тем, чтобы те обходились без шофера.

Давалось все это тяжко. Мало кто хотел «распривилегировываться». Хрущеву, конечно, докладывали, что все уже проведено в жизнь, поездки на казенных машинах по магазинам и базарам жен ответственных товарищей пресечены, отдых оплачивается теми, кто годами привык ничего за это не платить… Кое-что удалось переломить, но, в принципе, Хрущев понял, что ему не совладать с этой махиной, что аппарат не сдается. И все-таки «вспышки» демократизации, тяга к социальному равенству не оставляли Хрущева. Вернусь в этой связи к Скандинавии.

Хрущев давал прощальный прием в честь премьер-министра Швеции Эрландера. В конце вечера пошел проводить его к подъезду. Эрландер пожал руки советским товарищам, а затем подозвал гостиничного мальчика в красивой форме, сунул ему в руку монетку и о чем-то попросил. Через минуту мальчик подвез Эрландеру велосипед. Садясь на него, премьер сказал Хрущеву, что этот транспорт полезнее и экономичнее автомобиля, поскольку лимит на бензин очень строго ограничивает поездки премьер-министра.

Хрущев долго смотрел вслед высокопоставленному велосипедисту. Никак это событие не комментировал.

Видел ли он себя в эти минуты на таком вот велосипеде, подъезжающим к Кремлю?!

Рассказываю это не как анекдот. В Дании премьер-министр Краг извинился перед Хрущевым и попросил его к себе на обед в небольшой компании, так как у него тесная квартира, да и та принадлежит супруге, известной датской киноактрисе. Обед вела жена Крага. Это был действительно семейный скромный вечер.

Вернувшись в Москву, Хрущев попросил своего шофера А. Г. Журавлева, который работал с ним с 30-х годов (у нас в семье этого милого, аккуратного человека, прекрасного водителя называли дядей Сашей), подготовить и подать к дому малолитражный «Москвич». На нем он и приехал однажды в Кремль. Скоро «Москвич» исчез с горизонта. Уговорили Хрущева, убедили. До его отставки оставалось совсем недолго. Могу себе представить, в каких выражениях честили «Никиту» те, кому надоели эти его «закидоны».

«Чудачество» Хрущева с поездкой на «Москвиче» не идет из головы и представляется отнюдь не шалостью старика, скорее, это был жест отчаяния, ибо выражал он смятение души, надлом в характере личности сильной, волевой, понимающей, что не удалось вырваться из плена аппаратной империи. Должность «партийного царя» не прельщала Хрущева, этому противилась его натура, рабочее происхождение, идеалы молодых лет, тот жизненный опыт, который существовал в нем глубже, чем внешняя приверженность к существующим правилам поведения. Но чем дальше, тем меньше у него оставалось сил, для того чтобы побороть установившиеся иерархические порядки.

Я уже говорил, что в пенсионные годы, щадя Никиту Сергеевича, не приставал к нему с расспросами и досужими разговорами, но иногда такие беседы возникали сами собой. Спросил как-то Хрущева о Суслове, о том, как мог он принимать этого сухого догматика-сталиниста, едва таившего свою неприязнь ко всему, что происходило в стране после XX съезда. Неужели не видел, что Суслов, по сути, был лишь «примкнувшим» к Хрущеву в ту пору, когда в июне 1957 года шла отчаянная схватка с просталинской группой Молотова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича, Булганина и «примкнувшим» Шепиловым? Странным казалось, что секретарь ЦК Шепилов (умный, образованный человек, к которому Никита Сергеевич относился очень уважительно, ценил его, выделял) оказался среди противников Хрущева, а его сторонником стал ортодокс и сталинист Суслов. Хрущев ответил, что верил искренности Суслова, но, видимо, плохо знал его.

Конъюнктурные попутчики рано или поздно обнаруживают свое истинное лицо. На всех пленумах ЦК, где речь шла о смещениях, персональных столкновениях, докладчиком

назначался Суслов. Он выступил «застрельщиком» в истории с антипартийной группой Молотова, с маршалом Жуковым, секретарем ЦК Фурцевой, наконец, получил вожделенную возможность покарать и самого Хрущева. Его речь на октябрьском Пленуме ЦК 1964 года, полная прямо-таки садистского удовлетворения, раскрыла в нем человека мелкого, не забывшего ни одного упрека в свой адрес и не простившего никому даже самого малого неповиновения. Еще одна перемена декораций, еще одна смена табличек в коридорах властей, а он цел. Оставалось «прислониться» к Брежневу.

Суслов быстро понял, чего хочет дорогой Леонид Ильич: стать любимым вождем партии и народа. Пирамида власти, какой ее представлял Суслов, непременно должна была увенчиваться единственным креслом. Работа закипела. Мои собратья по профессии, поверившие, как и я, в демократические, коллегиальные принципы руководства, после октябрьского Пленума ЦК в 1964 году стали убеждаться в том, что ошибались. Смена декораций шла неспешно, втихую, но вполне целеустремленно. Сменились главные редакторы почти всех центральных газет и журналов, радио и телевидения, венцом «очистительного» разгрома стала история «Нового мира» Александра Твардовского. В 1971 году строптивого главного редактора принудили подать в отставку.

Уже к началу 70-х, а затем по нарастающей взвинчивались идеологические страсти вокруг имен многих литераторов, деятелей театра, кинематографа, художников. Суслов делал это и при Хрущеве, многое успел и тогда, но действовал с опаской: а вдруг очередной разгром сорвется? Случалось и такое. А тут стало проще.

Темы XX и XXII съездов исчезали под грифом «секретно». С громадным трудом пробивались через издательства, многочисленных цензоров книги, спектакли, фильмы, созданные в духе 60-х годов.

Полки в хранилищах ломились от арестованных, запрещенных лент. Режиссеры Алексей Герман, Элем Климов, Андрей Тарковский, Кира Муратова и многие другие оказались не у дел. Запрещали даже фильмы о Ленине.

Так случилось с четырехсерийной телевизионной лентой, снятой по сценарию Михаила Шатрова. Фильм показали лишь в 1987 году. Да и уцелела картина случайно. Приказано было смыть пленку, чтобы не осталось никаких следов. Дикое приказание рискнул не выполнить лаборант.

Наверное, не мне быть судьей Суслова, найдутся более объективные исследователи.

С неугодными в пору сусловского идеологического диктата поступали решительно. Клеймо «диссидент» приклеивалось каждому, кто не клонил головы, не хотел рабского унижения. Именно в ту пору началась третья волна эмиграции. Часто насильно отправляли за границу, не подтверждали обратных виз. Способов избавиться от строптивых существовало множество. Мы знаем теперь, какой болью наполнены судьбы тех, кто прощался с Родиной вынужденно, как дорого обошлась эта безнравственная акция всей нашей культуре.

Не привожу имен: их было бы слишком много. Путь домой и теперь не прост. Иных уж нет. Все чаще читаем мы короткие некрологи: Виктор Некрасов, Андрей Тарковский, Александр Галич. И все-таки изгнанники возвращаются к нам.

Но вот ведь что интересно. С необычайной активностью и во многом справедливо говорится и пишется теперь о грубости и некомпетентности Хрущева по отношению к тем или иным деятелям науки, культуры, литературы, искусств. А Суслов? А Леонид Ильич с его дежурной фразой: «Обратитесь к Михаилу Андреевичу»? Будто и не было за ними никакой вины, а так – «текущая работа» во имя укрепления идеологических позиций развитого социализма.

Я спросил как-то Александра Бовина, осведомленного о взаимоотношениях «наверху» в 70–80-е годы, как могли сойтись Брежнев и Суслов? По прежним временам я хорошо знал неприязнь этих людей друг к другу, их несовместимость во всем. Брежневу претило ортодоксальное чванство Суслова, его пуританизм, равнодушие к земным радостям. «Брежнев считал Суслова, – ответил мне Бовин, – человеком, во-первых, грамотным (?!), а во-вторых, не интриганом».

Конечно, если ты произносишь речи, в которых иные слова тебе вовсе непонятны, важно иметь «грамотного» человека под рукой. Что касается любви или нелюбви к интригам, тут Брежнев выдавал желаемое за действительное. Хотя он сам был в этом отношении виртуозом.

Я уже говорил, что это испытали на себе почти все члены Политбюро, которые поддержали его в столкновении с Хрущевым. В течение первых же лет своего «правления» он тихой сапой отстранил от дел Председателя Совета Министров РСФСР Воронова, первого секретаря ЦК партии Украины Шелеста, первых заместителей председателя Совета Министров СССР Мазурова и Полянского, перед этим – Шелепина. Чуть позже он убрал и своих ближайших друзей и сподвижников – Председателя Президиума Верховного Совета СССР «сильного человека» Подгорного, взявшего на себя черную работу в заговоре, и не

менее близкого друга – секретаря ЦК Кириленко. Не исключаю, что уже в последние месяцы своего пребывания у власти Брежнев добрался бы и до Суслова. Тот мешал уже не столько Брежневу, сколько тем, кто распределял посты на будущее. Суслов умер внезапно, в январе 1982 года. Сам уехал в больницу. Через несколько дней скончался. Мы ничего не знали о его болезни, причине спешной госпитализации. Помню, эта смерть вызвала недоуменные вопросы. Только из некролога мы узнали, что весь организм Суслова от мозга до сердца был склерозирован.

Думаю, неспроста в медицинском документе перечислялись хвори Суслова: обычное, дескать, дело, умер старый, очень больной человек.

Смерть Суслова, помпезные похороны на Красной площади.

Близилась к развязке еще одна полоса нашей истории. Кризис власти обозначался все резче. Но до решительных перемен было еще далеко, и я вернусь к хронике событий.

Время ткет полотно человеческого бытия как бы произвольно. И не часто мы задумываемся над тем, что жизнь и действия каждого человека – частичка исторического процесса. Из старой книги, которую я взялся перечитать, выпал выцветший листок бумаги. Вспомнил, что его передал мне во время визита во Францию Н. С. Хрущева незнакомый человек, назвавшийся другом нашей страны…

Над двумя гербовыми сургучными печатями слова: «Союз свободы». Чуть ниже – размашистые росписи коменданта батальона и префекта. 3-й дивизион батальона Сен Клу. Затем крупным шрифтом:

«ДИПЛОМ ВОЛОНТЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ»

Патент выдан до того, как парижане сравняли с землей Бастилию – ненавистную цитадель насилия…

Но самое удивительное то, что диплом волонтера Национальной гвардии Парижа выдан русскому. «Мы, нижеподписавшиеся, – значится в нем, – заявляем, что данный диплом выдан господину Николаю Грачеву. Возраст 49 лет, рост 5 стоп, 1 локоть, 3 линии, волосы и брови – шатен, глаза – голубые, нос – длинный. Зарегистрирован 13 мая 1790 года, присвоено звание младшего лейтенанта Национальной гвардии Сен Клу, что и подтверждает ведомственный протокол…»

В наших исторических исследованиях имя Николая Грачева не встречается. По-видимому, русский волонтер был среди тех, кто штурмовал Бастилию, так как через одиннадцать месяцев

после этого он получает высокое по тем временам звание младшего лейтенанта. Наполеон в ту пору только генерал.

Екатерина II отзывает из Парижа русскую колонию. Возвращается ли на родину Николай Грачев? Да и жив ли он к этому времени? Уже немолодой, а значит, вполне сложившийся человек берет в руки оружие. Здесь, во Франции, он отстаивает свои убеждения.

Этот странный документ о русском офицере во Франции конца XVIII века воскресил в памяти историю еще одного офицера.

Есть в маленьком французском городке Энен-Льетар, похожем на наши донбасские угольные городки, воинское кладбище. На белой плите надпись: лейтенант Красной Армии Василь Порик. Фашисты захватили его раненым в плен. Из концлагеря бежал. Долго блуждал по европейским дорогам, пока нашел пути в отряд маки, состоявший из шахтеров. Те спрятали его в старом выработанном забое, спасли от фашистов-ищеек. Василь Порик вскоре стал командиром отряда, выучил язык и отличался от них только тем, что носил форму лейтенанта Красной Армии, подтверждая этим верность присяге и Родине.

Фашисты схватили и расстреляли Порика в июле 1944 года в Аррасе. Позже боевые товарищи похоронили его в братской могиле. Только после войны имя его стало известно. Посмертно Порик был удостоен звания Героя Советского Союза. На могильной плите высечена Золотая Звезда, и ветераны, приходя сюда, отдают Василю воинские почести…

Советские люди сражались с фашистами в разных странах Европы. Только в землю Франции легли двадцать тысяч наших соотечественников, многие из которых, подобно Порику, были солдатами Освобождения. Этот политический термин не стал еще расхожим, однако они понимали значимость того, что делали. Здесь, во Франции, они сражались за свои дома и за Францию, как летчики полка «Нормандия – Неман», которых судьба привела на русские боевые аэродромы.

Все это живо в нашей памяти, важно, чтобы хранилось и в будущем. Чтобы передавались по цепочке имена, не забывались события, судьбы людей, высшие проявления человеческой доброты, храбрости, но и зла.

Там, где сражался и жил Василь Порик, я встретил многих его боевых товарищей – русских и украинцев, бежавших, как и их командир, из фашистского плена и воевавших в отрядах маки. Большинство из них стали шахтерами, они обзавелись семьями, но не «офранцузились» – все в их домах было на родной манер: еда, привычки, песни, а главное – слово, речь. Я спросил, отчего

не вернулись домой, как только кончилась война? Молчание повисло в воздухе. Долгой была пауза, а потом кто-то сказал: «Мы очень хотели вернуться. Кому удалось добраться до дому, получили 25 лет за измену Родине…»

Те, кто сразу после окончания войны отправлял советских пленных, освобожденных Советской Армией, «для фильтрации», а затем многих в лагеря, проявляли не просто бессердечие. Вновь пошли в ход принципы 37-го: плен – измена Родине – сажай как можно больше, хоть один да виноват. Все это, конечно, сопровождалось разговорами о бдительности.

Многое должно было измениться и начало меняться в 50-е годы. Мир становился в ту пору более открытым. При всей разобщенности стран и народов мы начали ощущать важность того, что происходило не только в ближнем окружении, но и за линией нашего дома и собственных границ. Мировая политика выходила на всеобщее обозрение и на всеобщий суд. Мир обретал иной облик. Еще не вошли в повседневный обиход многие глобальные понятия, не так тревожно, как теперь, судили мы об экологических проблемах; нам казалось, что леса вечны, пашня плодородна, реки и моря не оскудевают рыбой, мы еще гордились удачливыми китобоями – они возвращались в Одессу под гром духовых оркестров.

Панический ужас перед всепроникающей радиацией еще не проник в людское сознание так, как в Хиросиме и Нагасаки. Советский Союз первый из ядерных держав добивался прекращения ядерных испытаний, но мы одновременно заявляли, что создали бомбу, от взрыва которой «вылетят стекла во многих домах земного шара». В то время как раз и обозначилось мнение академика Андрея Дмитриевича Сахарова на этот счет. Он был против испытаний бомбы.

Дурные примеры заразительны. Московские студенты научились бить стекла в домах иностранных посольств, причем делали это с не меньшей экспрессией, чем в тех заграничных столицах, где швыряли камни в окна советских посольств. Вскоре дипломатия выбитых стекол исчерпала себя. Мир проходил через кризисные сроки, проникаясь сознанием того, что земля едина и неделима. В то время тесно соседствовали добро и зло.

Сюжет первый. 18 января 1960 года.

Курилы. Шторм. Зафиксировано ЧП. От причальной стенки шквальный ветер ночью оторвал небольшую десантную баржу с четырьмя дежурными солдатами. Поиски результатов не дали. Шли неделя за неделей. Баржу посчитали пропавшей без вести.

Вечером 12 марта в редакцию «Известий» поступило

сообщение американского агентства. Пилот самолета, базирующегося на авианосце «Кирсардж», во время патрулирования обнаружил в океане странное судно. Снизившись, разглядел четверых солдат в советской военной форме. «Кирсардж» изменил курс и направился к нашей барже.

Обзваниваю соответствующие учреждения, спрашиваю, нет ли дополнительных сведений. Но сведений нет вообще. Звонок из «Известий» привел в действие какие-то сложные механизмы. Получаю указание: «Материал не печатать, возможна провокация». Приходится ввязаться в телефонные переговоры с безликой толпой запретителей. Они отфутболивают меня от одного к другому, явно тянут время до конца рабочего дня. Собирается редколлегия, и мы решаем действовать. Если все пройдет хорошо, нас не прочь будут похлопать по плечу: «Молодцы, так держать!» – а при неудаче – как говорят газетчики, «проколе» – занесут непослушание в особую тетрадочку, своего рода дневник по поведению. Редактор, увы, должен всегда помнить о том, сколько у него скопилось «неудов».

Собственный корреспондент «Правды» в Америке, мой товарищ по «Комсомольской правде» Борис Стрельников, сообщает новые подробности. Прошу его собрать журналистов (корреспондент «Известий» в это время в Америке отсутствовал) и спешно отправиться в Лос-Анджелес встретить ребят.

Наконец, четверо парней на берегу. То, что они выдержали, и то, как вели себя, потрясло американцев. Сорок девять дней в океане! Штормовые ветры силой от 60 до 120 километров в час. Одна банка консервов и несколько буханок хлеба. Вода только дождевая. Съедены сапоги, ремни, меха гармоники. Парни потеряли по 15–16 килограммов веса, обросли бородами, солнце и ветер превратили их лица в маски.

Для Америки это еще одно подтверждение характера советского человека. «Известия» отводят мужественным ребятам целую полосу. Группа журналистов пишет документальную повесть. Министр обороны маршал Р. Я. Малиновский награждает солдат орденами Красной Звезды. Филипп Поплавский, Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Иван Федотов – многонациональный экипаж в «Известиях». У нас двойная радость: за парней и за газету.

Сюжет второй. 1 мая 1960 года.

Во время парада Хрущев нервничал. То и дело к нему на трибуне Мавзолея подходил военный, отзывал в сторону. После очередного доклада Хрущев сдернул с головы шляпу и, широко улыбаясь, взмахнул ею над головой. Настроение у него

улучшилось.

Подробности происшествия в день Первомая станут достоянием широкой общественности во время майской сессии Верховного Совета СССР, но перед этим американской стороне будет официально заявлено, что над советской территорией сбит самолет-шпион, совершавший разведывательный полет. Правительство СССР расценит акцию как недружественную, направленную на подрыв мирного сотрудничества между двумя странами, возвращение в международную практику «холодной войны».

Американцы сделали вид, что ничего не знали о самолете. Им трудно было предположить, что летчик спасется на парашюте. Такие полеты американские летчики совершали не единожды, но мы не способны были пресечь их диверсии, так как наши истребители-перехватчики проигрывали американским по высотным характеристикам.

Безнаказанность притупила бдительность американских военных.

Дипломаты и корреспонденты зарубежных газет, радио и телевидения задолго до начала заседания сессии Верховного Совета СССР заполнили все гостевые места в Большом Кремлевском дворце. Разыгрался своеобразный политический спектакль.

Депутаты и гости сессии увидели увеличенные до размеров плаката фотографии: аппаратура самолета, фотопленка, запечатлевшая ряд районов советской территории, снимок бесшумного пистолета, который Пауэрс мог пустить в дело при вынужденной посадке, игла с ядом, предназначенная на тот случай, если единственным выходом из положения будет смерть.

Советская зенитная ракета сделала свое дело. Самолет-шпион У-2 был сбит.

Суд над Пауэрсом поставил под сомнение саму возможность совещания на высшем уровне, которое должно было состояться весной 1960 года в Париже. Хрущев отправился туда с твердым требованием: Эйзенхауэр должен принести извинения Советскому Союзу и дать гарантии прекращения шпионских полетов. Президент США это требование не принял. Совещание на высшем уровне было сорвано.

И все-таки поиск путей к смягчению международной напряженности продолжался. Хрущев отправился на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Осенью 1960 года Америка встречала Никиту Сергеевича отнюдь не с распростертыми объятиями. Когда турбоход «Балтика» – небольшое судно туристского класса – подходил к

Нью-Йорку, стало известно, что портовые рабочие бастуют, принять швартовы некому. Пришлось загодя высадить команду моряков «Балтики» на аварийную шлюпку, чтобы они приняли судно у причала. Операция осложнилась тем, что неизвестны были сила приливной волны и особенности нью-йоркской бухты. Однако все обошлось.

На подходе к Нью-Йорку капитан спросил Никиту Сергеевича, где просить место стоянки, назвал цену пирсов – от «королевского» (а это стоило больших денег) до «угольного», где швартоваться было неловко. «Угольный» причал отклонили и выбрали тот, что по соседству – кажется, рыбацкий. Кроме товарищей из советского посольства, посольств социалистических стран и некоторых дружественных государств, никто не встречал пассажиров «Балтики». На ее борту были Хрущев, Громыко, главы государств и правительств социалистических стран Европы. В работе этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН высшие руководители многих государств мира участвовали впервые.

Группа журналистов, сопровождавших Хрущева, сойдя с судна, сбилась у обшарпанной стенки какого-то склада, и нас в упор начал разглядывать дюжий полицейский. Дмитрий Петрович Горюнов почему-то привлек его особое внимание. Горюнов глядел на полицейского, попыхивая сигаретой. Полицейский неторопливо двинулся к нему и показал пальцем на плакат, висевший на стене: «За курение штраф 10 000 долларов». Дмитрий Петрович прочитал и, подойдя к борту деревянного настила, швырнул окурок в воду. Московская сигаретка «Новость» какое-то время крутилась в грязных потоках мусора, а потом исчезла. Горюнов сказал: «Поплыла домой», – и отошел от плаката. Журналисты направились в небольшую гостиницу «Солгрейв» по соседству с советским представительством.

Пребывание Никиты Сергеевича в Нью-Йорке было довольно продолжительным. Как глава делегации он выступал по всем основным вопросам повестки дня, внимательно слушал других ораторов, подчеркнуто являя образец дисциплинированного политического деятеля, не пренебрегающего своими обязанностями: вновь поднял вопрос о всеобщем и полном разоружении, призвал покончить с позорной системой колониализма. Однажды ему предстояло выступить на утреннем заседании, а в зале после воскресного дня присутствовало не более десятка человек. Это возмутило Хрущева. Обращаясь к председательствующему и к Генеральному секретарю ООН Хаммаршельду, он потребовал кворума. «Народы мира, – восклицал Хрущев, – думают, что их полномочные представители в ООН неустанно борются за мир, за справедливость, а на самом

деле многие господа, видно, не пришли в себя после воскресных развлечений». Был объявлен краткий перерыв. Зазвонили телефоны. Можно предположить, как вытаскивали на заседание иных непроспавшихся делегатов: «Приезжайте, Хрущев скандалит». Вскоре зал и галерея для гостей были полны. Публика мгновенно узнавала, как разворачиваются здесь события.

Журналисты видели, насколько тяжко дается Хрущеву это «нью-йоркское сидение»: почти постоянная привязанность к одному месту, невозможность двигаться, ограниченность контактов. По многу часов с балкона здания представительства СССР и ООН Хрущев отвечал на вопросы американских и других иностранных корреспондентов. Несколько десятков, а в иные дни и сотни репортеров загромождали всю проезжую часть улицы штативами фото– и кинокамер, и Никита Сергеевич вел откровенные беседы на разные темы. Иногда на улице выстраивались цепочкой пикетчики с плакатами. Хрущев обращался и к ним. Никакие, самые каверзные вопросы и реплики не ставили его в тупик и не вызывали раздражения. В худшем случае он покачивал головой и стыдил вопрошающего: «Вот ведь вы, кажется, неглупый человек, а какой ерундой забита ваша голова». Нередко из толпы журналистов раздавалось: «Мистер Хрущев, ваша белая рубашка на красном фоне стены – хорошая мишень, поостерегитесь!»

Когда «Балтика» пришвартовалась в нью-йоркском порту, сбежал один из членов команды. Газетчики буквально накинулись на Хрущева с вопросами. Он задумался (а надо сказать, что ему об этом ничего не сказали), переспросил, о чем речь, явно выигрывая время, и простодушно заметил: «Что же этот молодой человек не обратился ко мне за советом и помощью? Я бы помог ему и деньгами. Ведь пропадет он тут у вас, пропадет, а жаль…» Тема была исчерпана. В газетах напечатали ответ Хрущева и на том успокоились…

Состоялась у Никиты Сергеевича необычная встреча. Решение посетить Фиделя Кастро в гарлемской гостинице могло иметь непредсказуемые последствия.

Хрущев отправился к Фиделю Кастро, созвонившись с ним по телефону. Он не предупредил полицию и другие службы безопасности о своем намерении, так как считал, что любой член делегации, работающий на Ассамблее ООН, имеет право свободно перемещаться по городу в районе Манхэттена. Поначалу автомобиль Хрущева спокойно двигался в общем ряду. Но на полдороге полиция перехватила его машину и одним своим присутствием, воем сирен, неуклюжими маневрами привела в смятение весь поток транспорта. Возникла грандиозная сумятица.

Известно, как разгораются страсти во время пробок. Многие водители поняли, из-за чего это столпотворение. Добавилась и политическая злость. В машину Хрущева полетели помидоры и яблоки, раздались ругательства… Спасло только мастерство и хладнокровие нашего шофера. Возле гостиницы бурлила толпа. Негры, пуэрториканцы, бежавшие с Кубы контрас. Одни выкрикивали приветствия, другие – проклятия.

Охрана Хрущева «пробила» узкий проход в толпе и протолкнула Никиту Сергеевича в холл. Лифт поднял его на этаж к Фиделю Кастро. В небольшой комнате не то что сесть, стоять было негде.

Хрущев и Кастро обнялись. Кряжистый, седой уже человек и исполин с черной, как смоль, бородой и пышной шевелюрой. Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу. Я понял, почему Хрущев решил поехать к Кастро. Одно дело – принимать его в официальной резиденции советского представительства при ООН, другое – встретиться здесь, в Гарлеме, не чинясь возрастом и положением, по-братски.

На календаре 1961 год. Плотно, опасно плотно стоят во многих точках войска противоборствующих сторон. Ждать беды можно отовсюду. Это понимает новый президент Соединенных Штатов Америки Джон Фицджеральд Кеннеди, принесший присягу 20 января 1961 года. В его инаугурационной речи много слов о мире. Однако в апреле он дал «добро» на первую атаку против Кубы. Банды наемников и контрас были разбиты на Плайя-Хирон. Революционная Куба выдержала испытание боем.

В июне Кеннеди встречался в Вене с Хрущевым. Хрущев, заметив, что нападение на Кубу произошло 17 апреля, в его день рождения, спросил президента, не было ли в этом какого-то умысла. Президент не поддержал шутки. Вернувшись со встречи, Никита Сергеевич резюмировал переговоры с долей надежды: «Молодой президент, кажется, готов слушать доводы другой стороны. Во всяком случае, он отмежевался от утверждений о прямом участии Соединенных Штатов Америки в антикубинской операции».

Так примерно говорил Хрущев и мне перед срочной командировкой в США. Дело в том, что совершенно неожиданно мне поручили взять у президента Кеннеди интервью. Время для этого было не самое подходящее. На этот раз грозовые тучи сгущались над Западным Берлином. Американцы обострили здесь ситуацию до предела к октябрю, когда Германская Демократическая Республика создала вместо условной разграничительной линии между Западным и Восточным

Берлином настоящую границу. «Берлинская стена» привела в бешенство западногерманских ультра. Предстоящий визит Кеннеди в Западный Берлин подлил масла в огонь, но реально мыслившие политики понимали, что оснований для вмешательства нет. Международное право на стороне ГДР. Каждая страна сама решает проблему устройства своих границ.

В дни работы XXII съезда КПСС, в октябре 1961 года, в Западном Берлине очень неспокойно. На Фридрих-штрассе, у контрольно-пропускного пункта, пушка в пушку стоят американские и советские танки с работающими моторами. Легко представить, насколько напряжены нервы танкистов. Как долго это может продолжаться? Как зыбка, как малоуправляема ситуация, когда от экипажей советских и американских танков зависят судьбы миллионов людей. Один выстрел в Сараево подтолкнул человечество к первой мировой войне, а здесь может быть один шаг до третьей…

Шло очередное заседание съезда. Кажется, 20 или 21 октября в комнату президиума вошел маршал И. С. Конев и попросил вызвать Никиту Сергеевича для срочного сообщения. Иван Степанович доложил, что моторы американских танков вот уже полчаса работают на повышенных оборотах. Маршал Конев, человек, знающий, что такое война, нервничал. Хрущев задумался. «Отведите ваши танки на соседнюю улицу, но пусть там их моторы работают на таких же повышенных оборотах. Прибавьте шуму и грохоту от танков через радиоусилители». Конев медлил: «Никита Сергеевич, они могут рвануться вперед!» – «Не думаю, – ответил Хрущев, – если, конечно, злоба не замутила окончательно разум американских военных». Обратившись к помощникам, Хрущев попросил записать это распоряжение и точно проставить время. Поручил редакторам «Правды» и «Известий» подготовить соответствующее сообщение.

Через некоторое время Иван Степанович доложил, что американские танки ушли. Ушли и наши. Никакого сообщения в газетах не появилось.

Интервью с президентом Кеннеди

Примерно через месяц лечу в Вашингтон. Интервью с американским президентом – первое в истории нашей печати. «Известия» – газета Верховного Совета СССР, правительственная. Решили, что главному редактору такой газеты и надлежит беседовать с главой американского правительства.

Составил для себя перечень вопросов, которые задам

президенту. Круг интересующих нас проблем был ясен, а что касается неожиданностей, то их не предугадаешь. И тут меня выручил Никита Сергеевич. Узнав, когда я вылетаю, посоветовал встретиться в Вашингтоне прежде всего с помощниками президента и сказать им, что кроме «Известий» есть у нас и газета «Правда». Она вполне может выразить свою точку зрения по поводу полученного интервью. «Президент поймет, – добавил Хрущев, – что мы не хотим никакой конфронтации».

Я тоже надеялся на это. Мне приходилось уже встречаться с президентом. Кеннеди показался мне не только обаятельным, приветливым человеком, но и политиком, у которого есть собственное видение мира и стоявших перед Соединенными Штатами проблем. Он учитывал их взаимосвязь с отношениями к другим странам, в том числе к Советскому Союзу.

Я рассчитывал, что Кеннеди примет меня в Белом доме. Однако вышло по-другому. Затянулся визит в Вашингтон Конрада Аденауэра (три или четыре дня он грипповал), наступил конец недели. Брать интервью пришлось уже в Хайяннис-порте, дачном местечке близ Бостона. Кеннеди проводил там уик-энд.

Погода в Бостоне была скверной. Лил дождь. Когда самолет пошел на посадку, подумалось, что летчики решили приземлить сухопутный лайнер в океане. Водяной вал захлестывал иллюминаторы.

Хайяннис-порт в получасе езды от Бостона. Вокруг – совсем прибалтийский пейзаж. Белые песчаные дюны у кромки блеклой светло-зеленой океанской черты. Океан накатывал на берег тяжелые, упругие валы. Дождь ушел к горизонту. Небольшие сосенки причудливо изгибали свои ветви и кроны. Видно, ветры тут дули постоянно.

Белые дома загородного гнезда семейства Кеннеди построены в стиле викторианской эпохи.

Поперек переулка двойным кордоном перегораживали проезд к президентскому дому полицейские машины. Закрытые и открытые, яркие и черные… Парни в форме, увешанные всяческим оружием, понимали цену и престиж своей службы. Один из них со свистом выплюнул жвачку, перевалился через борт открытого автомобиля, сдал его чуть в сторону, и мы поехали к низкому белому штакетнику и таким же воротам, которые распахнул полицейский. На лицах стокилограммовых охранников не было и тени любопытства: они делали свое дело. Тут же вернули автомобиль на прежнее место – символическая дорога к отступлению была отрезана.

Джон Кеннеди приветливо встретил меня и сотрудника АПН Ю. Большакова в гостиной. Ситцевые занавеси, такая же обивка

кресел, диванов делали широко застекленную комнату светлой и нарядной. Президент сидел в высоком кресле-качалке, опираясь на деревянную спинку. Перебитый во время войны позвоночник нуждался в опоре…

За день до того нас принял в Вашингтоне брат президента, Роберт Кеннеди, министр юстиции.

Поднявшись на верхний этаж здания министерства, мы долго шли анфиладой комнат, образующих как бы один длинный кабинет. Служащие не обращали на нас никакого внимания. Стрекотали пишущие машинки, стучали телетайпы. Все куда-то торопились. То и дело слышалось «экскьюз ми», и нас обгоняли деловые мужчины и женщины. Все они были в серых брюках, белых рубашках, темных галстуках, либо в серых юбках, белых блузках и тоже темных ленточках у края воротничков. Я включился в этот энергичный поток, пока меня не дернул за рукав Юрий: «Остановись, ты уже промахнул мимо Роберта…» Роберт Кеннеди, как и все его служащие, был в серых брюках, белой рубашке и темном галстуке. Низенького роста, по плечо брату, он строго взглянул в нашу сторону, закончил разговор с коллегами и пригласил к себе.

Кабинет министра напоминал скорее жилую квартиру. На стенах висели рисунки его детей, смятый плед на диване свидетельствовал о том, что министр иногда остается здесь на ночь. Служба у него была хлопотная.

«Похож ли мой кабинет на кабинет Берия?» – начал разговор Роберт Кеннеди. Я ответил, что не бывал в кабинете Берия, иначе навряд ли бы мне пришлось посетить министра юстиции США. После паузы Роберт решил сразу же определить свою позицию: назвал себя «твердым антикоммунистом». «Нас мало волнуют члены компартии США, их небольшая горстка», – добавил он.

«Тогда отчего же, – спросил я в свою очередь, – министр юстиции США объявил о новой регистрации членов компартии Америки? Насколько я знаю, вы заявили, что, как министр юстиции, твердо гарантируете все конституционные права гражданам страны?»

Разговор нервировал Роберта Кеннеди. Он, видимо, не привык к возражениям. После нескольких резких фраз беседа пошла спокойнее. Роберт Кеннеди согласился с тем, что поскольку между США и СССР намечаются конструктивные отношения, не надо портить их возвращением к прошлым ошибкам. «Мне было бы лестно узнать, – сказал я, – что министр отменит эту нелепую кампанию по регистрации. В Америке у меня много друзей коммунистов, и боюсь, они не поймут моего визита к вам».

Кеннеди улыбнулся. «Подумаем», – уклончиво ответил он.

Не берусь утверждать, что мой разговор на эту тему повлиял на министра. Но в скором времени злополучное решение о регистрации было отменено.

Кеннеди заторопился. «Вы опоздали ко мне на сорок минут, и я вынужден попрощаться». Мы встали. Извинившись за опоздание, мы заметили, что оно произошло не по нашей вине. «Автомобиль корреспондента «Известий» в Вашингтоне Юрия Барсукова никак не заводился, барахлил мотор». – «Старая машина?» – спросил Роберт. «Новейшая, – ответил я, – и стояла в закрытом, охраняемом гараже». – «В чем же дело?» – двигаясь к выходу, спросил хозяин. «Дело в том, что мы обнаружили в горловине бензобака сахарный песок».

И тут Кеннеди захохотал: «А в Москве с одним нашим журналистом произошел такой случай. Его срочно вызвал посол. Он сел в автомобиль, проехал сто метров, и все четыре покрышки спустили. Потом он обнаружил в каждой из них по маленькому гвоздику».

«Не стоит ли подумать о том, – предложил я Кеннеди, – чтобы употреблять сахар и гвозди по их прямому назначению?»

Он согласился…

Любопытное свидетельство о моей поездке в Вашингтон в 1961 году и встрече с президентом приводит в своей книге «Роберт Кеннеди собственными словами» журналист и дипломат Джон Мартин. Эта книга вышла в США в 1988 году.

«Мартин: Что вы можете сказать о редакторе «Известий», который приехал сюда и беседовал с президентом? Интервью было опубликовано в Москве, и этим занимался Сэлинджер. Помните ли вы этот случай?

Кеннеди: Алексей Аджубей… Они остались довольны интервью. Аджубей приезжал на Кэйп, где имел беседу с президентом. Я думаю, что президент произвел на него большое впечатление. Он нанес визит и в мой дом, где мы завтракали. Он жесткий коммунист, и он мне не очень понравился. Президенту же он очень импонировал».

Это мнение Роберта Кеннеди стало известно мне только теперь. А тогда в заключение нашей беседы он сказал: «Джон и я единодушны в том, что касается необходимости находить как можно больше путей для контактов с Советским Союзом. Слишком многое зависит от отношений между нашими странами»…

Пока шла подготовка к интервью и стенограф раскладывал свои тетради, президент сделал несколько предварительных замечаний:

– Я побывал в Советском Союзе в 1939 году совсем молодым человеком. Ваша страна была в начале пути, но я, всего-навсего американский студент, кажется, угадывал ее будущее. Я понимаю, конечно, что сейчас многое изменилось, повышается жизненный уровень народа; у нас люди тоже стали жить лучше.

Президент сказал, что во время войны он, морской офицер, воевал на Тихом океане, далеко от Европы, но внимательно следил за сражениями советских армий. И как бы вскользь заметил: «Ужасная война не обошла стороной и наш дом».

Мы знали, что во время войны погиб брат Кеннеди. Он и его напарник – второй пилот – получили задание подняться на самолете «Либерейтор» с английского аэродрома, поставить машину на автоматическое управление с курсом на один из объектов Германии и сразу же спрыгнуть на парашютах. Они оторвали от земли груженный 11 тоннами взрывчатки самолет. «Летающая пороховая бочка» взорвалась прежде, чем экипаж покинул ее…

Упреждая наши вопросы, президент сказал:

– Ценю возможность посредством газеты поговорить с народом Советского Союза. Считаю, что такие контакты, обмен мнениями, правдивый рассказ о том, как живут наши страны, к чему стремятся, чего хотят народы, – в наших общих интересах и в интересах мира.

Перечитываю заново стенографическую запись трехчасовой беседы с президентом Кеннеди. Он затронул много тем. Остановлюсь на нескольких.

Одна из них представлялась тогда тупиковой. Ситуация вокруг Западного Берлина, проблемы коммуникаций, ведущих в этот город через территорию ГДР, не находили, видимо, приемлемого решения. Кеннеди был настроен пессимистически. В его рассуждениях проскальзывали выражения политика, который вел предвыборную кампанию под флагом «холодной войны» и критиковал своего предшественника Д. Эйзенхауэра за то, что тот недостаточно вооружался. Правда, и в данном случае президент выразился неоднозначно: «Я нашел советско-американские отношения в худшем положении, чем я думал, когда вступал в должность». Отвечая на вопрос о возможности реальных шагов к их улучшению, он осторожничал: «В этом многотрудном процессе важны и маленькие, и большие шаги». Не без иронии заметил, что отменил эмбарго на закупки в нашей стране… крабов. «Крабовая война была, конечно, маленькой, но и такую войну приятно окончить».

Напряженность, нагнетаемую Вашингтоном вокруг Западного Берлина, Кеннеди относил только за счет неуступчивости

Советского Союза. Не находил реальных путей к взаимоприемлемым решениям. Однако он ошибался: через несколько лет кропотливые и сложные переговоры привели к четырехстороннему соглашению по Западному Берлину, но Кеннеди об этом уже не суждено было узнать.

Многие другие ответы президента отражали стереотипные представления американских правящих деятелей. И это, прежде всего, относилось ко второму кругу проблем, о которых мы говорили. За любыми социальными движениями в мире Кеннеди видел «руку Москвы». Хотя, отвечая на прямой вопрос по этому поводу, все же оговорился: «…Конечно, я не считаю, что Советский Союз несет ответственность за все изменения, которые происходят в мире», – по всей вероятности, он думал иначе.

Во всяком случае, его представления о «свободе выбора» для народов сводились к некой не очень четко сформулированной идее демократических выборов. Он, например, соглашался (пусть нехотя, и это было заметно) с тем, что в Британской Гвиане, где в результате выборов к власти пришел марксист Джаган, все произошло «по правилам». Но там, где народ с оружием в руках отстаивал право на выбор пути, там, по его мнению, дело обстояло нечисто. На вопрос о том, насколько демократично правление диктатора Трухильо или шаха Ирана, Кеннеди отмолчался.

Главное, что определяло все его ответы на заданные вопросы, можно охарактеризовать одним словом – беспокойство. Беседу президента нельзя было назвать холодной. В конце концов в ней содержались те конструктивные начала, которые Кеннеди, увы, не успел реализовать полностью. «Я считаю, – говорил президент, – что Советский Союз и Соединенные Штаты Америки должны жить друг с другом в мире. Наши страны – большие страны, с энергичными народами, и мы неуклонно обеспечиваем повышение жизненного уровня населения. Если мы сумеем сохранить мир в течение 20 лет, жизнь народа Советского Союза и жизнь народа Соединенных Штатов будет значительно богаче и значительно счастливее по мере неуклонного подъема жизненного уровня».

«Если мы сумеем сохранить мир в течение 20 лет…» Оценим вклад покойного президента в этот величайшего значения факт человеческой истории. В пору правления Дж. Кеннеди было заключено соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах – первое из ядерной проблематики. Многотрудные переговоры велись и по другим проблемам.

Известно выражение: «Чем значительнее хочет стать человек, тем дольше он должен взрослеть». Думаю, относится это и к

политическим деятелям. Кеннеди был в числе тех, кто брал в расчет это правило. Во всяком случае, президентство Кеннеди, пусть с отступлениями, несло в себе, в особенности на последнем этапе, черты нового подхода к мировым событиям, и прежде всего к советско-американским отношениям.

В июне 1963 года Кеннеди произнес свою знаменитую речь в Американском университете (Вашингтон). Он правил делами великой страны уже более двух лет. Президент обращался к молодым. Он просил их помощи и поддержки. Он обещал им выстроить Америку, которая не будет пугать мир, а будет укреплять его. На равных с другими народами.

Речь Кеннеди в Американском университете – а по свидетельству близких ему людей, он серьезно готовился к ней – была искренней. Президент призывал по-новому взглянуть на Советский Союз, на «холодную войну», понять, что мы все живем на одной небольшой планете, дышим одним воздухом, заботимся о будущем наших детей, что все мы смертны. Он призывал понять простую истину: всеобщий мир не требует, чтобы каждый человек любил своего соседа, а только чтобы они жили во взаимной терпимости, вынося разногласия на обсуждение для справедливого мирного решения.

Эту речь Кеннеди мировая общественность восприняла с надеждой. Вместе с тем именно в Соединенных Штатах она привела в ярость не просто «иных» или «некоторых», а тех, кто десятилетиями утверждал и насаждал в политике идеи противоположного характера.

И может быть, именно она вывела кого-то из терпения. Покушение было уже подготовлено. Изучены возможные пути следования президентского кортежа, проинструктирован снайпер (или снайперы), которому поручили нажать курок…

Когда время, отведенное для интервью, подошло к концу, президент предложил прогуляться по берегу океана. В передней он протянул мне теплую куртку: «Северный ветер у нас пронизывает до костей». Сам он остался в легком пиджаке и объяснил: «Я морской офицер, ходил на торпедных катерах, не боюсь ветра и холода».

А ветер снова набирал силу, гнал мощную волну. Горизонт стал черным. Кеннеди помолчал, любуясь причудливой игрой стихии. Потом произнес несколько фраз, которые не вошли в интервью, но я записал их сразу же после возвращения в гостиницу. Он сказал: «Великие лидеры великой коалиции, победив фашизм, понимали, что мир станет еще более запутанным и усложненным. У них не было сил и, может быть, времени на то, чтобы начать адскую работу по его дальнейшему

усовершенствованию. Чем дальше отодвигаем ее мы, тем все будет еще сложнее. Грядущие поколения могут нам этого не простить».

Пока мы разговаривали на берегу океана с президентом, переводчик из госдепартамента господин Околовский и стенограф готовили текст интервью. Условились, что мы закажем билеты на самый поздний самолет, вылетающий из Бостона в Нью-Йорк, и к этому времени запись беседы будет готова. Вернувшись в гостиницу, рухнули на кровати от усталости и волнения. Юрий Никитович Большаков, переводивший мои вопросы и уточнявший перевод Околовского, сказал, что президент говорил с умопомрачительной скоростью, чуть ли не двести слов в минуту, и он не надеется на стенографа – успевал ли он все точно записывать? Об отдыхе забыли. Большаков достал блокнот, и мы, по свежим следам, начали обсуждать почти четырехчасовую беседу.

Вдруг в дверь номера резко застучали. Не дождавшись ответа, к нам ворвался хозяин гостиницы. Подумали, не горит ли его заведение. «У телефона президент, он хочет поговорить с мистером Аджубеем!» Такой звонок для владельца маленького отеля был, конечно, сенсацией.

Кеннеди сказал, что он остался доволен беседой.

Спросил, как мы собираемся добираться до Нью-Йорка. «Туда летит мой самолет, и, если вам удобно, я распоряжусь, чтобы вас прихватили. На борту будет и текст беседы. Остальное согласуете с Околовским». Президент попрощался, а мы начали наводить справки о часе отлета.

Глубокой ночью подлетели к Нью-Йорку. Никогда прежде я не видел ничего подобного. Внизу лежала гигантская мерцающая чаша, будто на землю выпал звездный ливень. Казалось невозможным найти в этом скопище огней аэродромные сигналы. Но вот двухмоторный президентский самолет резко клюнул носом, на миг как бы остановился, сбил скорость, а затем, натужно взревев всей мощью двигателей, пошел к земле.

Через несколько минут мы пожимали руки нашим коллегам: корреспонденту «Известий» в Нью-Йорке Станиславу Кондрашову, корреспонденту «Правды», моему старому другу Борису Стрельникову, сотрудникам пресс-службы советского представительства при ООН. Тут же условились, что переводом интервью займутся человек десять: каждый получит по две-три страницы, потом Большаков и я сведем все это и, согласовав с Околовским, отправим в Москву.

Через три часа, ранним утром приехал Околовский. А еще через час позвонил нам из госдепартамента и сказал коротко:

«О'кей!» Застучал телетайп. 19 ноября 1961 года интервью с президентом США Кеннеди опубликовала газета «Известия». Комментариев в «Правде» не появилось.

Советские журналисты теперь часто встречаются с государственными и политическими деятелями и берут у них интервью. Никого этим не удивишь. В 1961 году такое случалось редко. Президент Соединенных Штатов Америки впервые за всю историю наших отношений с этой страной получил возможность высказать свою точку зрения по широкому кругу проблем.

В Америке интервью живо комментировалось. У нас, как я вскоре понял, оно встретило сдержанное отношение. «Образ врага» сильно давил на общественное мнение. Даже коллеги-журналисты не расспрашивали, как протекала беседа с Кеннеди, каким он показался человеком. Стоило ли проявлять любопытство, что скажут об этом интервью завтра?

Древние римляне считали, что о покойном следует говорить либо хорошо, либо ничего. Однако если бы человечество всегда следовало этому правилу, вместо истории мы имели бы апологию прошлого. Дж. Кеннеди был противоречивой фигурой американской истории, как противоречив был и период, на который пришлось его короткое президентство.

В Америке не впервые убивали президентов. Но Кеннеди? Некий символ динамизма, энергии, внушавший американцам, особенно молодым, надежды на лучшие времена…

В десятках книг изложены сотни версий этого убийства (они до сих пор вызывают интерес), нити запутаны в клубок, концы теряются. Как замирающие круги на воде, еле различимо за давностью лет «направление удара». Факты нередко заслонены сентиментальными размышлениями. Пожалуй, стоит привести одно несомненно искреннее резюме. Оно принадлежит писателю Вэнсу Бурджейли, написавшему книгу «Человек, который знал Кеннеди»:

«Можно быть самым богатым, самым красивым, наделенным самой большой властью. Можно быть остроумным, обаятельным, женатым на очаровательной женщине, по которой равняется мода. Быть сыном крепкого, сильного человека, иметь когорту могучих братьев, быть отцом прелестных детей, другом и покровителем мудрейшего поэта, счастливчиком, десять раз обманывавшим смерть. Быть самым молодым народным избранником в своей стране, в целом мире…

А ничтожный, взвинченный человек, снайпер из ярмарочного тира, как в бреду, подберется с винтовкой – и, если палец, послушный воспаленному воображению, нажмет на вполне реальный спуск, тебе конец».

И Вэнс Бурджейли, и герои его книги любили президента. Они принадлежали к тем, кто ожидал чуда американского обновления. Чуда не случилось. Герои Вэнса боятся скорее уже не за себя, а за своих детей, за будущее Америки. Их размышления сводятся к печальной мысли: вот что может наделать одна пуля!

…В тот день я был в Париже.

До сих пор перед моими глазами огромный зал, где шел концерт нашего Краснознаменного ансамбля. В какую-то минуту на авансцену неожиданно вышел человек в черном. Сидевшие в первых рядах видели, что по его щекам катятся слезы. Ему было трудно говорить. Наконец, он даже не сказал, а выкрикнул: «Убит президент Кеннеди!»

Хор запел реквием Моцарта. Плач сотен людей сливался с музыкой…

Четверть века назад, когда Америка хоронила президента Кеннеди, сенатор Мэнсфилд произнес: «Часть каждого из нас умерла в этот момент. Хотя в смерти он дал каждому из нас частицу себя… Он дал нам то, что мы сами могли бы себе пожелать, пожелать каждому из нас, пока не осталось бы места предательству, ненависти, предубеждению и насилию, которое в один ужасный момент сразило его.

Покидая нас, Джон Фицджеральд Кеннеди, президент Соединенных Штатов, оставляет нам эти дары. Хватит ли у нас сейчас здравого смысла, ответственности, смелости принять их?»

Совсем недавно, поздней осенью 1987 года, как говорится, нежданно-негаданно в Москву приехал Пьер Сэлинджер, пресс-секретарь Белого дома в пору президентства Кеннеди. Мы не виделись с ним ровно 25 лет. Он служит теперь в американской телевизионной компании. Получил задание рассказать о гласности, перестройке. Прежде чем наша беседа пошла о делах нынешних, мы, естественно, поговорили о былом. Я расспрашивал его о жизни, семье, с которой был знаком, о детях президента и его брата Роберта – совсем маленьких в те годы.

Поговорили о Роберте Кеннеди. Вспомнили давний эпизод. Узнав, что мы с женой пролетом в Вашингтоне, Роберт Кеннеди пригласил нас на завтрак. За столом сидела целая орава мальчишек и девчонок: Роберт и его жена были многодетными супругами – воспитывали одиннадцать детей.

Один из мальчиков, лет десяти, хворал, но ему очень хотелось поговорить с русскими гостями, и жена Роберта попросила Раду подняться к нему в комнату. Минут через двадцать Рада вернулась. Мальчишка расспрашивал о наших ребятах, их увлечениях. Ему хотелось побывать в нашей стране,

увидеть сибирскую тайгу. Он подарил нашему старшему сыну Никите, своему сверстнику, книгу, написав на ней: «Русскому мальчику, с которым я мечтаю скакать по тайге на лошади».

Не сбылась эта мечта. Сын Роберта Кеннеди прожил недолго. Его нашли несколько лет назад мертвым в каком-то нью-йоркском отеле. Все руки у него были исколоты.

Сам ли он ввел иглу со смертельной дозой наркотика или кто-нибудь принудил его, воспользовался беспамятством, осталось неизвестным.

Был и такой случай. Когда в космос стали летать наши собачки, дочь президента Каролина (ей было лет шесть) получила в подарок из России черно-белого щеночка от мамы – космической путешественницы. Кровь у щенка была вольная, нрав – степной, не знаю, как он прижился в американских условиях, но Каролина подарку обрадовалась.

А родительница ее собачки попала в космос авантюрным путем. Для очередного испытательного биоспутника в клетке содержался пес-барбос, которому и предназначалось выполнить соответствующую программу. От безделья он просто-напросто разжирел, и к моменту старта оказалось, что в модуль никак не пролезает. Положение складывалось трагикомическое – корабль не мог ждать лишнего часа. Сотрудники Олега Георгиевича Газенко, ответственного за медико-биологические программы в космосе, за подготовку космонавтов, рванули в степь на машине, чтобы срочно добыть тощего пса. Поймали веселую собаку – стройную, сильную, гонявшую по окрестностям в поисках пищи. Ее-то и отправили в испытательный полет.

Вот какая мама была у щенка, прибывшего в Белый дом.

Дочь президента Кеннеди теперь сотрудник музея «Метрополитен», и, если ей доведется прочитать эти строки, думаю, ей приятно будет вспомнить эту маленькую подробность.

В тот день после визита к Роберту Кеннеди мы с женой были вечером приглашены к президенту. Джон Кеннеди был человеком обаятельным, простым в житейском обиходе. Жаклин, Пьер Сэлинджер, Рада и я сидели в его кабинете; на маленьком столике без всякой сервировки стояли чашечки с чаем. Вдруг за дверью раздался плач, и Жаклин сказала: «Опять Каролине что-то приснилось». Президент встал, вышли следом за ним в коридор и мы. По каменным плитам пола с закрытыми глазами, как лунатик, медленно шла девочка, босиком, в длинной ночной рубашке. Президент взял дочь на руки и жестом пригласил нас идти за ним в детскую. Кеннеди уложил девочку в постель. Просторная комната, без всяких излишеств, с разбросанными по полу игрушками. Мы уже собирались тихонько выйти, но

президент задержал нас.

«Взгляните», – сказал он тихо, указывая на столик у кровати дочери. Там стояли, соседствуя, расписная русская матрешка и распятие. «Матрешка – подарок вашего отца, – обратился он к Раде, – а распятие – Иоанна XXIII. – Он задумался на секунду. – Пусть Каролина сама выбирает свои привязанности и свой путь». Президент улыбнулся. Он отвечал этой фразой на высказанную Хрущевым мысль о том, что наши внуки будут жить при коммунизме.

Каждый и в самом деле выбирает свой путь сам. Я напомнил Пьеру Сэлинджеру о том вечере, спросил, не собирается ли сын президента Джон заняться политикой. Пьер развел руками: «Во всяком случае, мне не суждено стать его пресс-секретарем, а тебе не дождаться, чтобы кто-нибудь из Кеннеди-младших стал баллотироваться по списку компартии США…»

Магия ракет

Как-то Хрущев принимал редакторов социал-демократических газет из ФРГ. Один из гостей спросил: «Сколько ракет может потребоваться для полного уничтожения западногерманского государства?» Хрущев снял трубку, позвонил по известному ему телефону, задал этот вопрос человеку на противоположном конце провода, выслушал ответ и сказал: «Всего семь штук».

Гости в смущении замолчали, но вскоре беседа пошла по мирному руслу, и о ракетах уже никто не вспоминал. Более чем уверен, что Никита Сергеевич своим ответом никак не выражал агрессивности. Он знал, что такое война, видел испытания ядерно-ракетной техники, понимал, какая страшная сила заключена в новейшем оружии. Он, конечно, гордился тем, что мы первыми запустили искусственный спутник Земли, посылающий на землю сигналы «бип-бип-бип», как будто кто-то разговаривал с человечеством на языке жителей иных планет.

Известие о полете искусственного спутника взбудоражило весь мир, вызвав волну восхищения советской наукой и техникой. Какой-то раздраженный американский генерал бросил фразу: «Подумаешь, запустили железку!» – что вызвало ответную реакцию даже западных журналистов: «А вы попробуйте».

Американцы, конечно, работали над созданием ракетной техники. Ракетный центр возглавлял известный немецкий конструктор Вернер фон Браун. Он не сидел сложа руки. Мы опередили их не столько из-за технического превосходства, сколько потому, что Хрущевым на ракетную технику была сделана «главная ставка». Министр обороны в правительстве Кеннеди Макнамара, аналитические способности которого ставили выше быстродействующих ЭВМ, явно просчитался. Его предположение, что будущее за стратегической авиацией, а не ракетной техникой, оказалось неверным.

Президент Кеннеди понял это позже и потратил немало сил для рывка «вслед за русскими». Я видел в Соединенных Штатах документальный фильм об испытаниях ракет, запускаемых с крейсера. На его борту находился президент Кеннеди. Когда ракета благополучно ушла в небесные дали, Кеннеди пустился по палубе в пляс…

Производство разнообразных (в том числе тяжелых) ракет было поставлено у нас на поток. Никита Сергеевич не без бравады говорил: «Мы делаем их на конвейере, как сосиски».

На XXII съезде КПСС в октябре 1961 года Хрущев подчеркнул, что «перевооружение Советской Армии ракетно-ядерной техникой полностью завершено». За короткой фразой стояла острая борьба мнений: в наших политических и военных кругах вырабатывалась новая военная доктрина. Подобно тому, как в начале 30-х годов кавалеристы Ворошилов и Буденный при поддержке Сталина отстояли (навязали) концепцию превосходства конницы перед механизированными родами войск, и прежде всего танками (эту точку зрения отстаивал маршал Тухачевский), так в середине 50-х и начале 60-х годов шло размежевание в определении приоритетных направлений боевого оснащения родов войск. Тяжелые самолеты или ракеты? Надводный флот или подводный? Надо иметь в виду, что уже сложились крупные научно-технические коллективы, производившие разнообразные тяжелые самолеты, адмирал флота Советского Союза Кузнецов, видный флотоводец времен второй мировой войны, резкий, самоуверенный человек, настаивал на строительстве большого флота – армады надводных кораблей, включая авианосцы.

За спором стояли не только лица, амбиции, опыт минувших сражений. Концепции, которыми мы руководствовались, укладывались в определенную схему. Считалось разумным идти параллельными курсами с потенциальным противником, стремясь опередить его военную технику по качественным и боевым показателям. Совсем, как в детской игре «догоняйка». Хрущев отказался играть в эти игры.

Для руководства страны того времени задача определялась не только военными целями, но и материальными возможностями государства. Речь шла о том, чтобы обеспечить надежную оборону при минимальных затратах.

В конце 50-х годов у нас был создан подводный атомный флот, и советская атомная подводная лодка совершила в 1962 году первый в мировой практике подводный переход к Северному полюсу, пройдя подо льдами Ледовитого океана многие сотни миль. Это событие широко комментировалось мировой прессой, которая подчеркивала, что Советский Союз избрал надежный оборонительный вариант морской самозащиты, дающий ему возможность прикрыть из глубин атаки противника на континент.

Вместо военных кораблей на многих стапелях начали тогда строиться мирные суда, пассажирские и грузовые. Темпы развития мирного флота нарастали, что позволило Советскому Союзу выйти вскоре на ведущие позиции в мировом судоходстве. Эти сообщения радовали Хрущева. Фрахт зарубежных судов для нужд страны стоил очень дорого. Например, перевозка тонны пшеницы почти равнялась ее цене.

Молодой советский торговый флот, в том числе рыболовный, стал заметной силой на океанских трассах. Правда, зарубежные советологи тут же заговорили об угрозе и со стороны нашего торгового флота.

Остановили производство и некоторых видов боевых самолетов. Насколько я помню – бомбардировщиков КБ Мясищева. Эти самолеты, дозаправлявшиеся в воздухе, совершали патрульные полеты на высотах и скоростях, абсолютно доступных зенитным ракетам.

На XXII съезде КПСС в 1961 году Хрущев заявил: «Советский подводный флот с атомными двигателями, вооруженный баллистическими и самонаводящимися ракетами, зорко стоит на страже наших социалистических завоеваний. Он ответит сокрушительным ударом по агрессорам, в том числе и по их авианосцам, которые в случае войны будут неплохой мишенью для наших ракет, пускаемых с подводных лодок».

Никита Сергеевич часто выезжал на полигоны, внимательно следил за испытаниями военной техники, наблюдал пуски разнообразных ракет морского и наземного базирования. Особенно гордился он пуском наших новых баллистических ракет с дальностью полета 12 с лишним тысяч километров в заданную точку мирового океана.

«Надо сказать, – отмечал он, – что в этом же районе находятся и американские корабли, которые тоже следят за полетом советских ракет. Американцы публикуют соответствующие данные о полетах наших ракет, и мы сверяем эти данные с нашими… Получается нечто вроде двойного контроля – советские ракеты попадают точно в цель…»

Хрущев, конечно, принимал в расчет наличие у нас мощного ракетно-ядерного потенциала, и наивным было бы утверждать, что это не оказывало влияния на его внешнеполитические позиции. Именно этим соображением, по-видимому, мог он руководствоваться, принимая решение с весьма опасными последствиями.

Только сейчас, в конце 80-х, человечество все больше проникается осознанием того факта, что политика силы во взаимоотношениях между государствами должна быть сдана в архив. Известна советская точка зрения: мы предлагаем, чтобы уже к началу XXI века ядерное оружие было ликвидировано. Заряд нового политического мышления, логика развития глобальных процессов, взаимозависимость мира заставляют даже самых консервативных политиков расставаться со стереотипами эпохи канонерок. Зная, однако, как нелегок, как противоречив этот новый подход к международным отношениям, можно

представить себе ситуацию вчерашних дней, точнее, дней, отстоящих от нас почти на три десятка лет. Вспоминается осень 1962 года…

Самой тревожной для Хрущева оказалась последняя неделя октября. В те дни Хрущев практически не возвращался с работы домой, а две-три ночи вообще не ложился спать. Так же круглосуточно работали в Москве в ту пору и многие другие. Редакторы газет каждые три часа получали срочную информацию.

Что же предшествовало этим событиям?

Сюжетная канва Карибского кризиса, который к концу октября 1962 года достиг апогея, хорошо известна. Напомню лишь его основные вехи, чтобы восстановить даже не политическую, а скорее психологическую атмосферу драмы, главные роли в которой пришлось играть Хрущеву и Кеннеди.

В июле 1962 года в Москву прибыла кубинская делегация во главе с министром обороны Раулем Кастро. Шли переговоры, не вызывавшие особого интереса общественности. Понятно, что Рауль Кастро приехал в Москву не для того, чтобы знакомиться с театральными премьерами, однако характер переговоров представлялся традиционным. Когда в Москве появлялись военные, они чаще всего просили оружия. Как вскоре оказалось, речь на этот раз шла не просто о подобной поддержке.

Только самый узкий круг лиц, политиков и военных, знали об операции, финалом которой должно было стать создание на Кубе некоего подобия военной базы, оснащенной ракетами «земля – земля» с ядерными боеголовками. На острове есть американская военная база в Гуантанамо. Отчего не быть здесь и советской? Для равновесия. Хрущев тверд. Над ним витает тень Сталина. Как и Сталин, он хочет, чтобы в мире считались с его решениями, тем более что они не противоречат международным правовым нормам.

Когда в Крыму, на даче, Хрущеву приходилось принимать американских журналистов или если его посещали «гости из НАТО», он старался посадить их за стол так, чтобы открывался вид на море. Через какое-то время спрашивал гостя, не видит ли тот противоположный, турецкий берег. Гость вглядывался в горизонт, не понимая, к чему клонит хозяин, и отвечал отрицательно. Хрущев разводил руками: «Ну, это у вас близорукость. Я прекрасно вижу не только турецкий берег, но даже наблюдаю за сменой караулов у ракетных установок, направленных в сторону СССР. Наверное, на карту нанесена и эта дача. Как вы думаете?»

Шутки шутками, но ракеты стояли слишком близко. Отчего американцы узурпировали право ставить ракеты так близко к

нашим границам? Эта мысль заставляла Хрущева искать ответное решение.

В середине сентября в советских газетах публикуется заявление ТАСС. «Советскому Союзу не требуется перемещать в какую-либо страну, например на Кубу, имеющиеся у него средства для отражения агрессии, для ответного удара. Наши ядерные средства настолько мощны по своей взрывной силе и Советский Союз располагает настолько мощными ракетоносителями для этих зарядов, что нет нужды искать место для размещения их где-то за пределами СССР».

Сообщение это оказалось нелепым, как заявление ТАСС в июне 1941 года, в котором мы расписывались в добрых чувствах к фашистской Германии и сами опровергали ее намерение напасть на Советский Союз.

Место для советских ракет на Кубе уже определили. Советские суда доставили первые ракеты на Кубу. Американские разведывательные самолеты, совершавшие непрерывные полеты над островом, засекли там большое строительство. Фотосъемки подтвердили его военный характер…

Именно в это время один из самых активных репортеров «Известий» Владимир Кривошеев попросил командировать его на советском торговом судне на Кубу. Он хотел рассказать читателям газеты о работе наших торговых моряков на новой океанской линии. Через три дня после разговора со мной он был уже в Одессе в составе команды сухогруза «Лениногорск», отправлявшегося в рейс с грузом пшеницы. Вспоминаю этот эпизод как доказательство полной неосведомленности о разворачивающихся событиях…

Какая необходимость двигала поступками Хрущева, когда он принимал решение о доставке советских ракет с ядерными боеголовками на Кубу? Главенствовало, по моему мнению, желание поступать по отношению к Соединенным Штатам Америки так же, как они действуют во всем мире, в том числе по отношению к СССР. США расположили свои ракеты в Турции, вблизи Советского Союза, окружили нашу страну военными базами. Почему СССР не может поступить аналогичным образом?

Отчего США могут держать своего соперника, мир в постоянном страхе, а мы не можем?

Никто в мире не сомневается в том, что вторжение на Кубу наемников в апреле 1961 года происходило при поддержке США, с берегов этой страны. Куба – дружественное нам государство, и Советский Союз не может, не имеет права бросить на произвол судьбы молодую республику. Никита Сергеевич помнил о встрече с Фиделем Кастро в Нью-Йорке. Он помнил также, что движение

«Руки прочь от советской России», развернутое в первые послереволюционные годы прогрессивной мировой общественностью, оказало нам существенную поддержку и заставило интервентов убраться с нашей территории.

Как поступить ему, лидеру великой страны, человеку, которого называют в мире коммунистом номер один, в данной ситуации?

Сила слов не действует на американцев, слишком велика их самоуверенность, слишком вольно понимают они доктрину Монро, принятую еще в 1823 году и давно утратившую свое значение. Проще говоря, Хрущев решает «остудить» горячие головы американских военных.

В дни, когда американцы поняли, что советские ракеты, задрав черные носы, развернуты в сторону США, в «Правде» появился снимок, сделанный политическим обозревателем этой газеты Юрием Жуковым в Вашингтоне. В витрине магазина выставлен телевизор. Толпа наблюдает за передачей о событиях вокруг Кубы. Лица испуганы, напряжены.

Президент Кеннеди объявляет о полной военной блокаде острова. Счет в политической ситуации начинает идти уже на часы и минуты. Его спешные телеграммы Хрущеву, равно как и ответы последнего, основаны на взаимных обвинениях и ультимативных требованиях. Пик этих, по сути, трагических часов пришелся на самые последние дни октября. Американские журналисты писали, что и в Белом доме, и в Кремле окна светятся ночи напролет. (Узнав об этом, Хрущев перенес заседания правительства за город и оставался там до 27 октября.)

Роберт Кеннеди, державший связь с советским посольством, как позже рассказывал и Хрущев, приходил к советскому послу А. Добрынину с красными воспаленными глазами. Президент Кеннеди мог догадываться, что Хрущев выглядит не лучше. Правда, Никита Сергеевич ходил в эти дни в театры, и мы с женой были удивлены вновь вспыхнувшему в нем интересу к «Горячему сердцу» и опере «Евгений Онегин». Так он маскировал свое беспокойство.

Хочу напомнить, что в те годы еще не была развенчана мысль о возможной победе в ракетно-ядерной войне, и Мао Цзэдун даже заявлял, что потеря 200–300 миллионов людей для победы над империализмом вполне допустима…

Известно, как и чем окончились переговоры между Хрущевым и Кеннеди. Благоразумие и ответственность возобладали в действиях и решениях двух государственных деятелей двух великих стран. И здесь особо следует отметить роль Анастаса Ивановича Микояна. 2 ноября 1962 года, сразу после окончания

Карибского кризиса, он прибыл на Кубу. Микояну предстояли тяжелые переговоры с кубинским руководством, ведь решение о вывозе ракет с Кубы Хрущев принял так экстренно, что Фидель Кастро узнал об этом из сообщений радио. Чем был продиктован такой шаг? Скоротечностью событий или опасением «несговорчивости» кубинских товарищей? Микоян сумел убедить кубинское руководство в разумности принятых мер. В мае 1963 года Фидель Кастро посетил нашу страну и в долгих беседах с Хрущевым прояснил до конца ситуацию, возникшую в октябре 1962 года.

Советский Союз увозил ракеты с Кубы. Президент Соединенных Штатов Америки дал слово, что его страна не нападет на остров сама и не поддержит тех, кто захочет совершить это с ее территории.

Слово президента Кеннеди оказалось твердым. США, кроме того, убрали с турецкой территории ракеты, направленные на Советский Союз.

Когда самое тревожное в Карибском кризисе осталось позади, президент Кеннеди произнес: «Не хочу, чтобы какой-нибудь сержант развязал третью мировую войну». Он добавил: «Сегодня вашингтонская военщина имеет одно громадное преимущество. Если мы сделаем то, что они хотят от нас, ни один из нас не останется в живых, некому будет сказать им, что они ошибались».

Хрущев тоже вздохнул с облегчением. Он стал веселее, возобновил свои утренние прогулки, подбадривал себя фразой: «Ну вот, свозили туда-сюда ракеты, а своего добились…»

В те дни в Вашингтоне гастролировал балет Большого театра. На один из спектаклей, в котором танцевала Майя Плисецкая, пришел президент с женой. Майя Михайловна вспоминает, что в этот вечер американская публика принимала спектакль с воодушевлением. Ушел страх ядерной войны.

Хрущев и Кеннеди, по-видимому, поняли, что завязывать такие сложные узлы, как случилось вокруг Кубы, слишком опасно. Еще не были произнесены слова о том, что в ядерной войне не может быть победителей, но к осознанию этого факта после Карибского кризиса мир начал двигаться с большей скоростью…

Наш корреспондент Владимир Кривошеев, вернувшись с Кубы, рассказал, как стараниями капитана они избежали встречи с военными кораблями, блокировавшими остров. Поначалу нашему товарищу показалось странным поведение капитана. Он явно не торопился доставить груз вовремя. Заворачивал в порты для ремонта двигателей, хотя они работали исправно. Сбавляя скорость, проводил в океане то шлюпочные, то пожарные учения.

Кривошеев не выдержал и, гонимый журналистским нетерпением, обратился к капитану с вопросом: «Отчего судно ползет так медленно?» Капитан позвал журналиста в кают-компанию, плотно прикрыл дверь и показал телеграммы, принятые радистом. Только тут Кривошеев узнал, что творилось вокруг Кубы. «Вы, молодой человек, – сказал он Кривошееву, – находитесь на судне, которое везет пшеницу. Но дело в том, что предыдущим рейсом мы тащили ракету. Вот почему американские военные самолеты так часто облетают наш мирный пароход. Как говорится, тише едешь – дальше будешь».

Когда сухогруз подходил к Гаване, дымы военных кораблей США виднелись только по горизонту.

К удивлению Владимира, в порту советское судно оказалось под номером 28. Торговые моряки многих стран мира продолжали свои рейсы и сквозь строй американских военных кораблей. Правда, они не доставляли на Кубу ракет, им нечего было бояться…

Ловили рыбу в те же дни и советские рыболовные траулеры. Деревянные суденышки (только носовая часть корпуса у них обита для прочности стальным листом) забрасывали сети под боком у американских эсминцев. Один из них двинулся в сторону нашего тральщика с требованием отвернуть. Тот не подчинился команде: за бортом был трал. Подняли сигнал – у нас рыба. Американские моряки сменили курс.

Уступки возможны не только на высшем уровне…

Аудиенция

Весной 1963 года по приглашению общества «Италия – СССР» я был в Риме. Вот-вот в Италии должна была начаться предвыборная кампания, политическая атмосфера в стране накалялась. Каждая строка в газетах, каждая публикация так или иначе «работала» на предстоящие выборы. С тем большим интересом отнеслись не только в Риме, но и далеко за его пределами к сообщению, появившемуся в итальянских газетах в первые дни марта.

Газеты сообщили, что премия Э. Бальцана «За мир и гуманизм» будет присуждена итальянцу Анджело Джузеппе Ронкалли и что удостоенный этой награды решил с благодарностью принять ее. За мирским именем будущего лауреата стояло другое – более звучное и известное – Папа Иоанн XXIII. Святой отец, глава римской католической церкви, верховный пастырь почти 700 миллионов католиков, живущих на

всех континентах Земли.

Как ни странно, последовавшая реакция была неоднозначной. Среди поздравительных слов легко читалось и раздражение. Самый мягкий упрек состоял в том, что, согласившись на премию, Иоанн XXIII отступил от первейшего долга всех предыдущих пап – никогда не принимать мирских почестей и наград. Даже собственная газета Ватикана «Оссерваторе романо», правда, в наипочтительнейшем виде адресовала такое замечание своему хозяину.

Неужели эта респектабельная премия, украшенная именами почтенных президентов Итальянской и Швейцарской республик, могла вызвать такой накал страстей?!

Анджело Ронкалли, видимо, хорошо умел читать между строк. Он понял, что ему необходимо дать публичные объяснения по поводу своего согласия принять премию. Преодолев беспокоившее его давление кардиналов и других высоких чинов Ватикана (он сам скажет об этом в своих записках), Иоанн XXIII решил выступить перед сорока специально приглашенными журналистами, причем не только итальянскими, но и зарубежными. Так вместе с моим коллегой Леонидом Колосовым, бывшим в ту пору постоянным корреспондентом «Известий» в Италии, я очутился через несколько дней среди заинтригованной толпы газетчиков в одном из залов апартаментов Иоанна XXIII.

Страничка из биографии Иоанна XXIII важна для понимания его личности.

Анджело Джузеппе Ронкалли родился 25 ноября 1881 года в Ломбардии в деревушке Сотто иль Монте, близ Бергамо. В семье было девять детей, и отец рассчитывал передать со временем маленький клочок земли Анджело. Однако в 1892 году сын поступает в Бергамскую семинарию. В 25 лет Ронкалли заканчивает и более знаменитую Римскую семинарию. С 1905 по 1914 год он – личный секретарь епископа Бергамского. Во время первой мировой войны добровольно уходит в армию и служит сержантом в медицинских частях.

С 1925 года началась его дипломатическая карьера. Болгария, Турция, Греция. Широкий круг знакомств среди политических деятелей многих стран. Сразу после окончания второй мировой войны именно Ронкалли поручено смягчить отношения Ватикана с победившей Францией, лично с генералом де Голлем, который не мог простить Ватикану поддержки предателя Петэна. 1953 год – патриарх Венеции. 28 октября 1958 года Анджело Джузеппе кардинал Ронкалли избирается главой Ватикана и католической церкви. В память об отце он просить дать ему имя Иоанна.

Хотя Леонид Колосов прожил в Риме уже несколько лет, найти именно те въездные ворота, которые ведут в резиденцию главы Ватикана, и для него оказалось непростым делом. Много раз «нарушали» мы границу достопочтенного государства размером в 44 гектара, пересекая белую пограничную полосу на улице Кончильяцьоне в поисках заветных врат. Швейцарские гвардейцы, стоящие у собора Святого Петра, видимо, охраняли государственную тайну и не удостаивали нас ответом.

Наконец, мы нашли въезд в резиденцию Иоанна XXIII. Перед нами распахнулись тяжелые стальные жалюзи в гранитных плечах могучих стен, и охранники с короткими автоматами под вполне современными и одинаковыми плащами указали нам место стоянки.

Мы поднимались наверх в залу по лестнице, уходящей, как в небо, в синь росписей, в такую красоту, мягкость и спокойствие, которые могли творить только они, великие мастера Возрождения. Картины и скульптуры, громадные гобелены, белоснежные ковры, поразительные по гармонии и изяществу люстры, бра, торшеры и подсвечники, мебель – все было неповторимым, действительно единственным в своем роде, имело имена, номера, историю, занесенную в сотни книг, каталогов и справочников.

На какие-то мгновения растаяли, растворились современные фигуры прелатов и почудилось, что на лесах, опоясывающих залы и галереи, у фронтонов, фризов – повсюду кипит работа. Трудятся паркетчики и обивщики стен, чеканщики и мебельщики, отливщики скульптур. Они выслушивают Рафаэля и Микеланджело, принимают их поручения, соглашаются, спорят…

Прелаты, сопровождавшие нас, открыли створки белоснежных дверей, тяжелых, бесшумных, тоже вековых, и мы оказались в зале Консистории. Группками стояли журналисты. Переговаривались тихо, как бы боясь потревожить абсолютную, глухую, настороженную тишину этого дома.

Ко мне обратился один из служителей государственного секретариата Ватикана. «Святой отец просил приветствовать приход в его дом журналистов из России, – сказал он холодным бесстрастным тоном, затем отвел меня в сторону и добавил – Если изъявите желание, может состояться и личная аудиенция…» В ответ на кивок головы он сообщил: «Вам все станет ясно во время церемонии».

Аудиенцию журналистам глава Ватикана давал в довольно большом, так называемом Тронном зале. У задней стены на невысоком возвышении стояло парадное кресло. По-видимому, именно здесь проводились официальные приемы послов, гостей

государства или церкви. Стены зала обтянуты серо-серебристым штофом. Массивные люстры и бра вековой бронзы освещали строгое помещение. Для данного случая были поставлены несколько десятков кресел, обитых ярко-красным бархатом, нарушивших изысканный орнамент инкрустированного паркета. Строгие костюмы журналистов резко выделялись на фоне великолепия одежд священников высокого ранга. Можно только поражаться удивительному вкусу художников, «проектировавших» эти сиреневые, блекло-розовые, белоснежные, черные, иссиня-фиолетовые одеяния. Кресты, четки, перстни, тут тоже – вековые традиции. Поражали, пожалуй, не одеяния и украшения, а лица. Бледные, почти анемичные, одутловатые, совершенно отрешенные, как бы и не живые.

Иоанн появился внезапно из почтительно распахнутой перед ним двери и мелкими шажочками засеменил к креслу-трону, быстро-быстро протягивая руку для поцелуя. Все встали, а кое-кто (среди журналистов было немало ревностных католиков) опустились на колени и ждали, когда Иоанн устроится в кресле. Оно было высоко для него, и он, грузный, старый уже человек, взобрался на сиденье, как это делают дети – в два-три приема.

Долго молчал, простодушно разглядывая зал некогда, по-видимому, карими, а теперь светло-янтарными глазами и выставив вперед уши, будто хотел услышать нечто необычное. Вначале слово о присуждении Иоанну XXIII премии произнес сенатор Джованни Гронки, один из руководителей фонда Бальцана. Затем настала очередь святого отца.

Иоанн говорил тихо и спокойно, без аффектации, скорее беседовал. Он даже подался вперед, чтобы быть ближе к слушателям, и казалось, вот-вот сойдет со своего трона и сядет рядом с нами.

Вскользь Иоанн отмел обвинения в нарушении папских традиций, невозможности принимать мирские награды, повторив, что беспокойство о мире – одна из самых важных обязанностей всех священников, сказал, что он призывает всех выполнить эту обязанность.

Неожиданно из-за спины ко мне по-русски обратился священник в черном. «Я Александр Кулик, сотрудник папского Восточного института. Если вы хотите получить аудиенцию, мне поручено проводить вас к святому отцу и быть переводчиком. Задержитесь в зале после завершения церемонии».

Закончив речь, Иоанн встал. Чуть приподнял над головой пухлые руки, то ли отпуская всех с миром, то ли обороняясь от лишних вопросов, и так же поспешно, как появился, исчез.

Сидевший рядом отец Кулик попросил моего коллегу

Леонида Колосова идти со всеми, а мы с женой задержались. Александр Кулик сразу же нашел нужным заметить, что он не «какое-нибудь перемещенное лицо», не «беглец из России» (по-видимому, он считал важным отмежеваться от этой публики), а задолго до революции вместе с родителями оказался в Италии и теперь вот – сотрудник папского Восточного института.

Самой деликатной оказалась протокольная сторона встречи. Переводчик не получил никаких инструкций на сей счет и твердо держался требований преклонить колена при встрече с папой. «Ну хотя бы чуть-чуть, символически», – упирался он в своем наставлении. Из этой настойчивой рекомендации я понял, что дело нешуточное и не вышло бы крайнего конфуза. Попросил отца Кулика пройти со мной к более ответственному лицу и утрясти там «протокол». Протокольщик тоже не знал, как выйти из положения. «Думаю, – заметил он с истинно божественным спокойствием, – все разрешится само собой».

Мы миновали несколько переходов и оказались перед темной дубовой дверью. Иоанн XXIII принимал нас в своей личной библиотеке, то есть там, где он каждый день работал, читал книги, писал свои энциклики.

Отец Кулик слегка толкнул дверь, пропуская нас вперед. Дверь не поддавалась. Пришлось даже отступить. Подумали, что хозяин еще не успел вернуться из зала, но тут дверь открылась сама, и мы почти столкнулись с хозяином кабинета нос к носу. Иоанн как бы в смущении развел руками. Ни о каком преклонении колен уже не могло идти речи. Жестом он пригласил занять место в кресле чуть в стороне от его рабочего стола. Между нами сел переводчик.

Хозяин кабинета помолчал, давая возможность гостям оглядеть полукружье стенных книжных шкафов, отделанных на старинный манер тонкой золотистой сеткой. Через большие окна доносились запахи цветущего сада и совсем уже неожиданное для этих каменных лабиринтов пение птиц. Первым нарушив молчание, Иоанн сказал, что он считает очень важными многие инициативы нашей страны в защиту мира.

«Я знаю две мировые войны, видел, какие неимоверные несчастья принесли они людям, а третья мировая война была бы для человечества гибелью. И разве затем господь бог дал нам эту прекрасную землю?..

Кстати сказать, – не преминул заметить Иоанн XXIII, – тот факт, что я принимаю советского журналиста, тоже непременно будет поставлен в строку и теми же людьми». Так это и оказалось. Стоит, пожалуй, привести лишь одну цитату той поры. Высказывание принадлежит Конраду Аденауэру, тогдашнему

канцлеру Федеративной Республики Германии: «Учитывая тот факт, что вскоре в Италии будут проводиться политические выборы, законно (!) задать вопрос, не будет ли эта встреча иметь отрицательные последствия, что касается результатов голосования…»

Хотя противодействие встрече советского журналиста с Иоанном XXIII было серьезным и шло не только извне, но и от высоких чинов Ватикана, и глава католической церкви не получил поддержки своих коллег, он принял собственное решение. Позже это объясняли чуть ли не настойчивостью советской стороны, желавшей немедленного установления дипломатических отношений между СССР и государством Ватикан. О дипломатических отношениях разговора не затевалось, хотя дальнейшее развитие событий могло поставить этот вопрос в повестку дня.

Чем же все-таки руководствовался этот неординарный церковный и, конечно, политический деятель, когда готовился принять советского журналиста в своей библиотеке?

Примерно в декабре 1962 года, за несколько месяцев до встречи, он сам объяснил движущие мотивы не только этого, но – шире – других своих, казавшихся эксцентричными поступков. «Когда я говорю с человеком, я всегда стараюсь вести беседу так, чтобы он чувствовал себя спокойно, напоминая ему, что я такой же человек, как и он. У меня два глаза, очень большой нос, рот и еще большие по размеру уши. И все же иногда люди чувствуют себя скованно. Я говорю в таком случае: расслабьтесь. Поговорим как человек с человеком. Мы должны так же говорить и с русскими. Мы не должны осуждать их только за то, что нам не нравится их политическая система. У них богатое духовное наследство, которое они не растеряли. Надо всегда взывать к людской доброте. Мы ничего не потеряем, попытавшись сделать это. Я ни с кем не боюсь говорить о мире. И если бы господин Хрущев сидел сейчас передо мной, я бы не испытал никакого чувства неловкости в разговоре с ним. Мы оба выходцы из маленьких деревень, оба скромного происхождения. Мы бы поняли друг друга».

Поздравив Иоанна с получением награды, я передал ему послание Никиты Сергеевича. В нем говорилось: «Искренне поздравляю Вас с присуждением комитетом фонда Бальцана премии «За мир и гуманизм», что является свидетельством признания ваших усилий в благородном деле поддержания мира. Желаю Вам доброго здоровья и сил для дальнейшей плодотворной деятельности на благо мира. Н. Хрущев».

Иоанн принял послание с явной симпатией. Я преподнес ему

два тома русско-итальянского словаря, так как знал, что такой подарок будет им принят. Иоанн перелистал книги и даже сказал несколько слов по-русски. Он пояснил тут же, что восемь лет жил в Болгарии. «Если бог даст мне еще несколько лет жизни, – сказал он, – я бы хотел продолжить изучение языков славянских народов, у которых такая богатая литература. Мне было бы приятно выучить русский язык».

Рядом с Иоанном лежала папка, из которой он достал ответное послание Н. С. Хрущеву: «Выражая чувства благодарности Всемогущему и всем тем, кто содействовал столь высокому признанию миротворческой деятельности католической церкви, – писал Иоанн, – желаем процветания и благосостояния всему русскому народу, столь дорогому нам. Хотим заверить Вас, что мы будем продолжать отдавать все наши силы во имя торжества справедливости, любви, истинного братства между народами и мира во всем мире».

Шла подпись крупными буквами по-русски.

Так намечались пути к более конструктивным отношениям между нашей страной и Ватиканом. Весь последующий разговор с главой Ватикана укрепил меня в этом убеждении.

В то время было условлено, что сама встреча и ее характер не будут с подробностями преданы огласке. Иоанн XXIII просил меня устно проинформировать Хрущева о его благожелательном отношении к возможному миротворческому развитию событий между Москвой и Святым Римом. «Надеюсь, – сказал Иоанн, – когда господин Хрущев посетит Рим, мы оба найдем время, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Ведь я уверен, что и Хрущев не побоится такой встречи…»

Теперь, когда за границей многое опубликовано биографами Иоанна, историками и, как я бы сказал, публицистами-фантазерами (существует даже стенографическая запись нашего разговора, далекая от фактов), я тоже нарушил «обет молчания».

Внимательно разглядывая Анджело Джузеппе Ронкалли, нельзя было не отметить той главной черты, которой он располагал к себе многих. Поднявшись на самую верхнюю ступень католической иерархии, он сохранил ту крестьянскую основу, черты детства, которые все больше угадываются именно с возрастом, как бы проявляются вновь. Ибо никогда человек не может забыть ни запахов, ни вкуса еды давних лет, ни тепла родного дома. Он сказал, что, пока позволяли силы, он часто навещал родную деревушку и даже пригласил оттуда садовника, друга детства.

Хозяин кабинета подошел к окну и показал на человека, возившегося с землей и цветами. «Частенько беседуем с ним о

жизни, а еще он иногда выручает меня с обедом». Святому отцу предлагали сделать операцию по поводу не точно диагностированного желудочного заболевания. Он отказался: «Может быть ведь и неудача, лучше уж я доживу век со своей болячкой». Врачи прописали строгую диету. Когда терпение кончалось, Иоанн обращался к садовнику, и тот угощал его пряной фасолевой похлебкой.

Прощаясь, Иоанн остановился у небольшого мраморного столика. На узорчатом орнаменте плиты стояли разноцветные мраморные фигурки. Сценка изображала библейскую историю рождения Христа со всеми реалистическими подробностями. Подарок из родной Ломбардии в день его 80-летия.

Иоанн поглаживал фигурки, видимо, ему очень нравилась работа самодеятельных скульпторов. «Каждая мать, – говорил он при этом, – в муках рождает дитя свое, и каждая мать хочет, чтобы он жил и был счастлив. Убережем матерей от судьбы той матери, чей сын пострадал за веру свою и завещал нам продлевать род человеческий и благоустраивать землю…»

Иоанн попросил отца Кулика передать ему со стола две небольшие коробочки. В одной из них оказались три медали с его изображением. «Так отметили мое восьмидесятилетие земляки, – сказал Иоанн, протягивая мне подарок. – Пройдут годы, и, возможно, у вас появится желание взглянуть на изображение человека, с которым состоялась необычная по нашим временам беседа, – продолжил он, – только бог знает, как потекут события. Будем надеяться, что людям удастся долго жить в мире…»

Открыв вторую коробочку, Иоанн обратился к Раде. «Прошу вас, назовите мне имена ваших детей. Я знаю, как их зовут, но я хочу, чтобы вы произнесли их имена сами вслух. Рада назвала наших мальчишек. Иоанн передал ей крестик с распятым Христом. «С таким простым крестиком, – сказал он, – я молюсь каждый день за весь мир. События, происходящие в мире, я осмысливаю в своих молитвах. В одной из них – третьей – я молюсь за всех детей, родившихся в течение 24 часов во всех странах мира. Я хочу, чтобы каждый человеческий сын, появившийся на свет, был встречен молитвой папы. Возьмите этот крестик на память обо мне. Когда вы будете смотреть на него, вы вспомните, что однажды на земле была мама, совершенная в своей любви. Ее звали МАРИЯ».

Иоанн произнес это имя с особым воодушевлением. Следующими фразами он привел мою жену в полное смущение: «Я знаю, что вы атеистка, и, быть может, вам покажется странным мое желание, но я прошу вас не отказать мне. Я хочу благословить ваших сыновей. Человек не может расти без веры, а

церковь не запрещает своим служителям являть божескую милость ко всем, кто прибыл на нашу землю, какой бы вере они не предпочитали служить – божественной или мирской». «Надеюсь, атеистам, – улыбнулся Иоанн, – не поставят в укор эту беседу и мое благословение вашим детям…»

Мы стояли рядом с невысоким, чуть согбенным человеком, абсолютно лишенным каких бы то ни было черт показного величия. Я представил себе Иоанна в обыкновенных одеждах, в обыкновенных житейских обстоятельствах и подумал, что и в этом случае он все же обратил бы на себя внимание окружающих.

Он был человеком без маски. Именно это отличало его от множества тех, с кем я встретился тогда в коридорах папского дворца, как, впрочем, и от многих других на моих журналистских дорогах. Нелегкое дело – оставаться самим собой. Не мудрствуя лукаво, не прибавляя себе даров, не отпущенных природой, и не пытаясь вставать на котурны. Даже на сцене в реалистическом театре давно обходятся без этих подставок, создающих лишь видимость величия.

Проводив нас до двери, глава Ватикана попросил передать нашим соотечественникам пожелания счастья и мира. Сказал, что работает сейчас над документом, в котором выскажется вполне определенно по многим волнующим его проблемам, и, видимо, это будет уже в последний раз, так как болезнь точит его все сильнее.

Энциклика папы Иоанна XXIII «Падем ин террис» («Мир на Земле») стала его завещанием.

Вот несколько строк-напоминаний: «Если одна страна производит атомное оружие, то и другие должны производить атомное оружие такой же разрушительной силы. В результате люди живут в постоянном страхе, ожидая урагана, который может разразиться в любой момент и принесет невообразимые страдания. И ожидая не без основания, поскольку оружие уже готово…

Справедливость, мудрость и чувство человечности требуют, чтобы была прекращена гонка вооружений, чтобы были одновременно и параллельно сокращены уже существующие вооружения, чтобы было запрещено ядерное оружие и чтобы наконец-то было осуществлено разоружение в соответствии с общим согласием и под эффективным контролем… подлинный мир может быть установлен лишь на основе взаимного доверия…»

И сегодня вполне актуальны эти мудрые слова. И поскольку немало тех, кто не хочет делом доказать свою приверженность единственно возможному реалистическому курсу мировой

политики, стоит их напомнить.

Это напоминание оправдано еще и потому, что слова и мысли, приведенные выше, никто не может отнести на счет «коммунистической пропаганды». Иоанн XXIII был и оставался антикоммунистом до последнего часа жизни, и только политические простаки могут думать иначе…

В те дни на другом конце земли, в Соединенных Штатах Америки, президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди, как и Иоанн XXIII, пришел к пониманию единственного варианта развития мировых взаимоотношений – мирного сосуществования государств с различным политическим и социальным устройством.

Дело, конечно, состояло не в том, что Кеннеди был католиком и следовал папе, а просто, как и Иоанн XXIII, он исходил из реальностей.

В июне 1963 года умирал в Риме Иоанн XXIII. Умирал тяжело. Он отказался от обезболивающих лекарств, чтобы принять на себя те боли и страдания, которые испытывают простые смертные. В течение нескольких дней тысячи римлян стояли на площади Святого Петра, неотрывно глядя на освещенное окно спальни Иоанна. Пришла минута, когда свет в дворцовом окне погас.

Первая за всю историю Ватикана встреча Иоанна XXIII с советским журналистом стала для итальянской прессы сенсацией. Только позже я конкретнее понял ее значение, обусловленное политическим расчетом на будущее. В ту пору Италия стремилась играть более заметную роль в европейских делах, укрепить позицию страны, способствующей диалогу «Восток – Запад». Личную аудиенцию главы Ватикана, его устное послание Хрущеву можно было расценивать как стратегические ходы партии христианских демократов, которую Ватикан поддерживал.

Я уже говорил, что не всем это пришлось по душе. Тот же канцлер Адэнауэр с раздражением заявил, что поступок Ватикана не способствует консолидации политических сил Европы. Адэнауэр имел в виду определенные политические силы и определенную часть Европы. Наиболее реакционные комментаторы вспоминали о том, что в 1943 году, когда Гитлер посетил Рим, глава Ватикана покинул город в знак протеста. К развитию советско-итальянских контактов Ватикан начала 60-х годов вырабатывал иное отношение.

На следующий день после визита к Иоанну XXIII мы отправились в горные районы Абруццо. Итальянские друзья хотели показать «настоящую Италию».

Выжженные солнцем до цвета слоновой кости каменные ряды строений, прилепившиеся к таким же бело-желтым горам,

неправдоподобно синее небо, сухие побеги умирающих от жары растений, безлюдные улочки… Поднявшись по узкой дороге к горному перевалу, мы въехали в один из жарких городов. Все было как в итальянских неореалистических фильмах.

В полуденный час жизнь продолжалась лишь в затененных комнатах. Толстые стены не пропускали жару, и сухая прохлада облегчала дыхание. В доме мэра-коммуниста собралось три десятка местных активистов. Мэр не только сообщил их партийную принадлежность, но и родственные отношения этих людей друг с другом. Родные братья могли быть коммунистом и социалистом, их племянники – христианскими демократами, а дядя – сторонником монархии.

Плюрализм политических ориентации не мешал вполне дружелюбно вести беседу, расспрашивать о жизни в нашей стране. Встреча с папой произвела на них большое впечатление. Мэр рассказал, что ночью, когда радио Рима сообщило о нашем визите, к нему пришел священник советоваться насчет будущих выборов. «Ведь я призывал голосовать против сторонников левых сил, и вдруг Святой отец принял коммунистов!»

«Что же вы ему ответили? – спросил я. «Сделал большую паузу, так как не сразу нашелся, а потом тихо, на ухо сказал: «Падре, не вмешивайся в большую политику, на все воля божья. Пусть каждый поступает, как велит ему совесть…»

Вернувшись в Рим, я стал готовиться к отъезду, так как близился срок, после которого иностранцы, имеющие приглашение от организаций, участвующих в предвыборной кампании, должны были покинуть страну. Однако и последний вечер в Риме выдался необычным. Мы с женой получили приглашение на обед к Пальмиро Тольятти. И сейчас возле моего рабочего стола висит небольшая фотография с надписью: «Товарищу Раде и товарищу Алексею с братскими пожеланиями. Пальмиро Тольятти. Рим. 12 марта 1962 года».

Сказать откровенно, я принял приглашение с большим волнением и даже смущением. Знал, что отношение руководителя итальянских коммунистов к событиям в нашей стране после XX съезда было неясно. Я часто встречался с Луиджи Лонго, Джанкарло Паэта, знал других видных деятелей итальянского левого движения. Тольятти был для меня скорее легендой.

В 1923 году он стал уже руководителем итальянских коммунистов, одним из самых известных в мире вождей мирового пролетариата. В год смерти Ленина стал членом Исполкома Коммунистического Интернационала, а в 1935 году вошел в состав его секретариата. Спасаясь от преследований итальянских фашистов, Тольятти в 1940 году приехал в Советский Союз и

прожил у нас до 1944 года. В Италию вернулся в год открытой борьбы с фашизмом, стал во главе сражающейся партии.

Соединяя в себе черты крупного теоретика и революционера-практика, Тольятти к началу 60-х годов острее других чувствовал необходимость перемен в мировом коммунистическом самосознании. Он отыскивал собственное место в том будущем, которое становилось реальностью, понимая, что концепции, не подвергающиеся проверке опытом, ведут в тупик. Тогда мы еще не знали об «итальянской модели социализма», «еврокоммунизме». Спор в коммунистическом движении на этот счет вспыхнул позже, когда стало известно так называемое завещание Тольятти, но я думаю, в тот мартовский вечер, вернее, в ту ночь он высказывал мне свои размышления на этот счет.

Мне трудно было вести сложный разговор, и я просто слушал, лишь изредка перебивая хозяина просьбой повторить то или иное его утверждение. И запоминал.

Тольятти много говорил о Сталине. О его борьбе с оппозицией. О массовых репрессиях, в том числе и крупных деятелей Коминтерна. «Мы чувствовали себя заложниками этого человека, – говорил он. – Пользуясь безвыходностью нашего положения, Сталин не считался ни с какими правилами международного товарищества. Вы молоды, – продолжал Тольятти, – а нам, старикам, оставшимся в живых, после XX съезда кажется, что наше молчание в те годы воспринимается как согласие с тем сталинским курсом. Должен сказать определенно: решительность Сталина импонировала многим из нас. Наши противники стремились задушить коммунизм, не чураясь самых низменных приемов. И в нашем движении были провокаторы, были и маловеры. Мы несем груз ответственности за те роковые преступления, которые теперь известны».

Тольятти задумался. «Да, это, конечно, страх. Мы боялись. Но это даже не личный страх, не обычная жажда жизни, а страх политический. А что, если Сталин прав? И все это действительно враги, а своим неверием, протестом можно помешать революционному делу?! Процессы троцкистов и правых были открытыми, признания обвиняемых повергали нас в ужас, но мы верили суду…»

Во время той долгой ночной беседы Тольятти расспрашивал о Москве, настроениях молодых коммунистов, о журналистах, говорил, что просматривает советские газеты и находит в них много нового. Человек опытный, умевший владеть своими чувствами, он не мог, однако, скрыть некой озабоченности, похожей на раздражение. Чего-то он не мог принять в наших советских делах.

Ни разу Тольятти не заговорил о Хрущеве, других руководителях нашей партии, хотя ориентировался в ситуации. Я понял, что у меня единственный шанс вывести разговор на конкретную цель. Не располагая никакими полномочиями, я стал настойчиво агитировать Тольятти приехать к нам в страну и прояснить все, что его интересует. «Пожалуй, после выборов я последую вашему совету…»

Прошедшие в начале лета парламентские выборы дали компартии Италии сотни тысяч голосов избирателей.

В июне 1962 года Пальмиро Тольятти решил провести отпуск в Крыму. Там отдыхал в это время и Хрущев. Случилось так, что эти два человека так и не смогли начать серьезную беседу. В один из первых же дней своего пребывания на крымской земле Тольятти поехал в «Артек» на детский праздник. В какой-то момент Тольятти вскинул руку, приветствуя детей, а потом начал медленно оседать… Я сидел неподалеку от итальянских товарищей, видел, как они успели подхватить падающее тело Тольятти и уложили его на скамью. Обширный инсульт вызвал беспамятство и неподвижность. Несколько последующих дней шла борьба за жизнь Тольятти. Профессор Арутюнов, крупнейший советский нейрохирург, другие медики, прибывшие из Москвы, и итальянские врачи провели консилиум. Доставить Тольятти в больницу оказалось невозможно. Походный госпиталь организовали на месте. Детей отселили из близлежащих домиков, а по всему лагерю объявили круглосуточную полную тишину.

Многие советские товарищи, отдыхавшие в то время в Крыму, несли дежурство. Мне приходилось дежурить вместе с министром высшего образования Вячеславом Петровичем Елютиным. Профессор Арутюнов вскрыл пораженный участок мозга, чтобы дать выход сгустку крови. Однако ничто уже не могло остановить приближающуюся смерть.

Из Москвы прилетел Брежнев. Ему поручалось сопровождать гроб с телом Пальмиро Тольятти в Рим на похороны.

Ранним утром похоронный кортеж двинулся по жаркой дороге к Симферополю. Маленький автобус натужно брал тяжелые повороты. Наконец, мы выехали на плоскогорье, прибавили скорость. По дороге, в селах стояли группы людей с красными знаменами, увитыми черным крепом. На середине пути случилось непредвиденное. Перед радиатором кто-то укрепил портрет Пальмиро Тольятти. Мотор перегрелся и вспыхнул. Пожар погасили быстро.

Но какое-то время гроб с телом великого итальянца стоял на выжженной крымской земле, так похожей на его родную землю…

«Нам надо дать дорогу другим – молодым…»

К финалу

Наступил апрель 1964 года.

Отмечалось семидесятилетие Хрущева. Приветствие ЦК, фотографии в газетах и журналах, присвоение звания Героя Советского Союза. Торжественный обед в зале для приемов Кремлевского дворца съездов. К тому времени в начале Ленинградского проспекта на металлической конструкции уже красовался огромный портрет Хрущева во весь рост с поднятой в приветствии рукой. Не помню, но, по-видимому, понизу шла трафаретная фраза типа «Миру – мир».

Славословия в адрес Хрущева становились почти нормой. Было, пожалуй, только одно отличие: без прежних эпитетов – «великий», «мудрый», на «гениальный» не решались даже сверхподхалимы. Портреты появляются не сами по себе, а только по определенной команде. Вырабатывалась, укоренялась установка на возвеличение должности Первого секретаря и его имени. В газетах тоже шло непрестанное цитирование.

Не совестно ли прежде всего мне самому, в те годы редактору большой газеты, не сам ли я приветствовал отход от славословий, не может ли показаться, что я пишу об этом с желанием свалить вину на кого-то? Нет, я вины с себя не снимаю, конечно. Больше или меньше других грешили на этот счет «Известия» – не имеет принципиального значения. Важно иное. Я знаю тех, кто тщательно следил за публикациями и не прочь был обратить внимание на то, что в некоторых важных статьях отсутствовали надлежащие ссылки. Расценивалось это как непочтение, как своего рода политическое небрежение, а иногда и как фрондирование.

Едва не вошла в газетный и политический лексикон стереотипная фраза «в свете советов и указаний», но она зрела, «обкатывалась» и появилась, как известно, в определенный час.

Кстати, тот самый товарищ, который не прочь был отмечать отсутствие в статьях ссылок на высказывания Хрущева, сам чуть позже, в октябре 1964 года, с бухгалтерской точностью подсчитал, сколько раз в той или иной газете это имя упоминалось. И ставил, конечно, данное обстоятельство в вину редакторам. Редактору «Известий» прежде всего. Не называю этого человека

только потому, что он сполна разделил судьбу тех перевертышей, страсть которых к политическим интригам привела их к поражению. Победители не ценят перебежчиков, даже если в них и возникает нужда. И еще: мне жаль этого человека. Его ценил Никита Сергеевич. Он занимал высокие посты и, наверное, мог бы по-иному распорядиться своей судьбой.

Чествование Хрущева не носило того официозного, парадного характера, как сталинский юбилей в Большом театре. Вместе с холодными, дежурными словами прозвучали искренние, идущие от сердца.

В тот апрель в Москве было тепло, сияло солнце; казалось, пора обновления природы придаст всем новые силы. Хрущев встречал семьдесят первый год своей жизни с оптимизмом. И уж он-то точно не предчувствовал беды, нависшей над его головой. Еще одно доказательство его политической чистоплотности: не любил интриг, не держал личный сыскной аппарат. На юбилее он был в приподнятом настроении, хотя было видно, конечно, что годы дают себя знать.

Из всего множества тостов, раздававшихся в тот вечер, я запомнил один, по сути, единственный в своем роде. Его не забыли ни моя жена, ни другие члены семьи Никиты Сергеевича. Нина Петровна и на следующий день так возмущалась, что, не удержавшись, позвонила произнесшему этот тост и сказала ему все, что она об этом думает.

Это был тост первого секретаря ЦК партии Украины Шелеста, который он закончил здравицей: «За вождя партии!»

Так о Хрущеве еще никто и никогда не говорил. Что-то зловещее, «сталинское» почудилось мне в этих словах. Видел, как некоторые, будто не заметив протянутого бокала Шелеста, не стали чокаться.

Когда я более года назад начинал писать эти заметки, имя Хрущева в печати почти не упоминалось. И вот теперь, как бы опережая друг друга, журналисты и писатели спешат либо вспомнить нечто такое, что связывало их с этим человеком, либо дать оценку и анализ десятилетию его деятельности – порой такой анализ умещается на нескольких машинописных страницах. И все же, думаю, это лучше, чем умолчание. Каждый волен высказать свою точку зрения.

Хочу думать, что родственные чувства не слишком звучали в моих записях. Однако я никогда не стеснялся этого свойства, а гордился им, и, в конце концов, то, чего мы с женой добились в жизни, мы добились сами. Так нам, по крайней мере, кажется. Помогал или мешал отсвет родственного имени? Было по-всякому… Но мы не занимали чужого места. У нас есть

убедительное подтверждение на этот счет: двадцать три года мы сами по себе.

Перебирая в памяти один за другим эпизоды жизни Хрущева, думаю, что трудился он не напрасно. Его партийная деятельность сложилась драматично. Он был политической фигурой переходного периода, и на его долю выпала целая череда сложнейших кризисов.

По многу часов беседовал Хрущев с товарищами из братских партий, проясняя истоки недоразумений, стараясь преодолеть разногласия. Самые неожиданные проблемы возникали иногда во время таких бесед. Помню, Никита Сергеевич был удивлен, когда Морис Торез попросил замедлить реабилитацию некоторых крупных политических деятелей нашей партии, отложить на некоторое время. «Мы присутствовали на этих процессах, – говорил Торез, – доложили своим партиям обо всем, что слышали, чему верили. Будет очень трудно объяснить теперь, как мы оказались такими простодушными. Время поможет нам избежать лишнего напряжения. После XX съезда оно и так очень велико». Хрущев уступил.

Только в 1988 году вернулись в нашу историю имена Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева и других. Вновь созданная комиссия ЦК продолжает работу.

Истоки противоречий и противоречивость характера

Летом и осенью 1957 года в жизни страны произошли два события. В атаку против курса XX партийного съезда пошли семь членов Президиума ЦК: Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров. Уже в ходе XX съезда стало ясно, что так или иначе последует более глубокий анализ обстоятельств, повлекших массовые репрессии. А главное, утверждались новые, неприемлемые для этих людей принципы партийной работы: выход из кремлевских кабинетов к людям, открытость, правда, демократия. На первый план выдвигалась забота о человеке, не мнимая, не в лозунгах и призывах, а деловая, активная. Молотову претила дипломатия личных контактов. Маленков, Каганович, Молотов помнили о списках арестованных, на которых стояли их резолюции.

Спасло Хрущева от поражения на заседании Президиума ЦК только вмешательство членов ЦК, явившихся в Кремль и потребовавших объяснений по поводу происходившего. К маленькой группе вышли Ворошилов и Булганин, начали кричать на пришедших. Ворошилов заходился от гнева, тыкал Шелепину,

тогдашнему первому секретарю ЦК ВЛКСМ: «Это тебе, мальчишке, мы должны давать объяснения? Научись вначале носить длинные штаны».

Окрик «вождей» никого не испугал – уже прошел XX съезд партии. В Кремль спешили все новые группы членов ЦК. Прибывали партийные работники с мест (их вызвал секретарь Горьковского обкома Н. Г. Игнатов).

Заседание Президиума ЦК, где соотношение сил было семь к трем, обострялось. Хрущева поддерживали А. И. Микоян и первый секретарь ЦК партии Украины А. И. Кириченко. Теперь им важно было затянуть время, добиться созыва Пленума. Упреки в адрес Хрущева сыпались как из рога изобилия: ставили в вину освоение целинных земель, мягкость и уступчивость во внешнеполитической деятельности, либерализм в идеологии. За всем этим стоял страх, связанный с нараставшей критикой Сталина.

Был уже почти решен вопрос об освобождении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК и назначении его министром сельского хозяйства – подальше от политики. Однако напор «взбунтовавшихся» партийных работников оказался столь сильным, что «семерка» вынуждена была пойти на созыв Пленума.

Заседания Пленума шли несколько дней. Дискуссии достигали большого эмоционального накала. Во время одной из яростных речей Брежнева в защиту нового курса тогдашний министр здравоохранения Ковригина закричала: «Остановите его, он только что перенес инфаркт, сердце не выдержит!»

Оппозиция XX съезду была разбита.

Не осталось тайной, кто в этой «семерке» был главным заводилой, кто организовал оппозицию. Участники сговора преследовали свои цели: уж слишком разные это были люди. Объединяло их, бесспорно, одно: стремление любой ценой удержать власть. И не просто власть, а ту бесконтрольную, которой они «научились» у Сталина. Конечно, это был Молотов. Наивным было бы предполагать, что он, старейший сталинист, мирился с тем, что после смерти вождя должен был довольствоваться вторыми ролями, меж тем как видел себя в роли лидера партии.

Сталин говорил, что завещание Ленина перессорило тогдашних руководителей. Он сам не оставил никакой бумаги, однако успел «столкнуть лбами» практически всех своих приближенных. Сразу после XIX съезда партии в 1952 году, на Пленуме, где решался вопрос о Президиуме ЦК, Сталин, к полному удивлению всех, произнес злобную речь против

Молотова и Микояна. Очевидцы вспоминали, что нанесенный удар был так силен и резок, что казалось, судьба этих людей решена. Хрущев говорил, что так, наверное, и случилось бы – Сталин не успел. Однако все же Молотов и Микоян были включены в расширившийся до 25 человек состав Президиума ЦК. В него вошли и многие другие, отнюдь не самые близкие Сталину люди: первый секретарь ЦК комсомола А. А. Михайлов, философ П. Ф. Юдин, Л. И. Брежнев. Политбюро упразднили, но вместо него создали Бюро Президиума. В его составе не оказалось ни Молотова, ни Микояна, убрал Сталин и секретаря ЦК Андреева, старого аппаратчика, громившего по его поручению в 1937–1938 годах партийные кадры во многих республиках. Хрущев вошел не только в Президиум, но и в Бюро.

Когда в 1953 году Хрущев стал Первым секретарем ЦК, Молотов вынужден был смириться. Но он опротестовывал каждое принимаемое решение.

Внешне Молотов казался суровым, аскетичным интеллигентом революционной эпохи. Однако знаю по рассказам старых мидовцев о его далеко не интеллигентной грубости, жестоких разносах даже самых маленьких служащих, в том числе машинисток и стенографистов. Ортодоксальная замкнутость Вячеслава Михайловича была той «броней», за которой скрывался тяжелый характер человека, привыкшего к повиновению со стороны всех нижестоящих и преклонению перед сильным. Двоедушие такого порядка, как правило, уродует человека.

У Молотова была хорошая память. Незадолго до смерти Нины Петровны мы с женой, приехав навестить ее, встретили Вячеслава Михайловича в дачном поселке Жуковка под Москвой, где он проводил свои пенсионные годы. Молотов узнал Раду. Я стоял чуть поодаль. Поздоровавшись, я спросил: «Помните меня, Вячеслав Михайлович?» – «Помню, – ответил Молотов, – я вас хорошо помню, я никого не забываю».

Молотову перевалило далеко за 80 лет, но он держался прямо, и глаза его так же жестко и холодно смотрели на мир.

В любых заметках о прошлом не обойтись без самого бессмысленного из вопросов, которые мы все же постоянно задаем себе: «А если бы…»

Если бы тогда, на июльском Пленуме ЦК в 1957 году, к власти пришли Молотов, Ворошилов, Каганович – старая гвардия Сталина, подкрепленная их единомышленниками Маленковым, Булганиным и другими, – думаю, что в Мавзолее до сих пор находились бы два саркофага.

Куда более точными сведениями о взглядах многих руководителей сталинской поры располагало бы общество, имей

оно документальные свидетельства. Увы, воспоминаний нет либо носят они поверхностный характер. Рассказывали мне, что в последние годы жизни к Молотову часто наведывались писатели Борис Привалов, Иван Стаднюк и некоторые другие. Я видел фотографию Молотова вместе с ними. Это было, кажется, как раз в юбилей Вячеслава Михайловича, в день его восьмидесятилетия. Борис Привалов уверял, что та часть романа И. Стаднюка «Война», в которой описана жизнь и работа «верхнего эшелона власти», составлена (сверена, почерпнута) из воспоминаний Молотова, с которыми он познакомил писателя.

Рассказывая мне это, Привалов даже сетовал, что Стаднюк слишком беллетризировал молотовские заметки. Смолчал Маленков; молчит последний, оставшийся еще в живых, – Каганович; в своих воспоминаниях Микоян практически минует все острые углы политической жизни 30-х – 70-х годов.

Многие книги у нас так и не написаны. А может быть, не изданы?

Пленум ЦК принял соответствующее постановление о деятельности антипартийной группы.

Этого постановления никто не отменял. Но в пору, когда Генеральным секретарем ЦК был Черненко, Молотова восстановили в партии. Никаких объяснений на этот счет дано не было. Так дезавуировались прежние решения: их не отменили, не признали ошибочными, просто свели на нет потихонечку. Тогда же в газете «Московские новости» появилось интервью Молотова. Он говорил о своих пенсионных занятиях, о том, что доволен нынешней судьбой. Читал я эту заметку и думал: заседал съезд партии, кипели страсти, газеты гремели статьями, а потом несколько человек, не считаясь с общественным мнением, все решили по-своему. Это иллюстрация к спору по поводу объективных и субъективных факторов в исторических процессах.

Странное стечение обстоятельств, объяснение которому дать не могу, привело к отставке маршала Жукова, к его разрыву с Хрущевым, который, по-моему, в тот момент не проанализировал и сам Никита Сергеевич. Не раз встречал я Георгия Константиновича у Хрущева, который не просто уважал Жукова, но гордился им. По инициативе Никиты Сергеевича произошло возвращение Жукова в Москву сразу после смерти Сталина. На XX съезде Георгия Константиновича избрали кандидатом в Президиум ЦК, а затем и членом Президиума. В 1955 году он стал Министром обороны СССР. Между ними не было никаких серьезных противоречий. Схожими были их жизненные пути, встречаясь на войне, они находили общий язык. Могу только предположить – никогда не спрашивал об этом Хрущева, – но,

видимо, Никиту Сергеевича в то время, когда в руководстве существовала некоторая нестабильность (только что прошел пленум с «семеркой»), испугала возросшая амбициозность маршала, принижение им роли партийного руководства в армии. Быть может, Хрущев вернулся к каким-то соображениям Сталина о Жукове? Ведь Сталин отсылал маршала командовать далекими от Москвы военными округами. Кстати, апологеты Сталина не любят говорить на эту тему. Смещение Жукова не прибавило популярности Хрущеву. Он не мог не почувствовать этого, а быть может, и пожалел о разрыве.

Однажды, когда Хрущев уже был на пенсии, он, не по своей охоте, объяснился с женой Жукова. Только что вышли воспоминания маршала, Хрущев не читал их: как я уже говорил, не любил мемуаров военных. Но как-то зашел разговор о событиях, связанных со смертельным ранением под Киевом генерала Ватутина, командующего Вторым Украинским фронтом, где Хрущев в ту пору был членом Военного Совета. По воспоминаниям Жукова выходило, что чуть ли не Хрущев виновен в этом: не обеспечил генерала надежной охраной. Никита Сергеевич огорчился: «Неужели Жуков так пишет? Он ведь знает, что это неправда». Кто-то из гостей Никиты Сергеевича рассказал об этом разговоре автору. Через несколько дней и раздался звонок жены Жукова. Хрущев напомнил, как было дело. Она принесла извинения, сослалась на забывчивость маршала, пообещала, что ошибка будет исправлена. Во втором издании книги эпизод изложен точно. Однако миллионы людей прочитали воспоминания Жукова в том виде, в каком они вышли в первый раз. Кто-то заметил это разночтение, но таких, конечно, было немного.

Летом 1957 года, после разгрома фракционеров, Хрущев отдыхал с семьей в Крыму. Там же проводили отпуск еще несколько членов партийного руководства. Однажды отправились на соседнюю дачу, к секретарю ЦК Кириленко – тот отмечал день рождения.

Застолье подходило к концу, все устали от многочисленных тостов. С каких бы «поворотов» ни начинались заздравные речи, все они заканчивались славословием в адрес самого Никиты Сергеевича, будто не Кириленко, а он был виновником торжества. Южное вино, хорошее настроение – ведь позади осталась нешуточная борьба – прибавляли компании веселья. Секретарь ЦК Аристов достал уже свою гармошку, начались нестройные песни, ноги сами просились в пляс. И тут слово взял Г. К. Жуков. После набора обязательных «поклонов» в сторону именинника, его чад и домочадцев неожиданно провозгласил здравицу в честь

председателя КГБ генерала Серова, сказав при этом: «Не забывай, Иван Александрович, что КГБ – глаза и уши армии!»

Хрущев отреагировал мгновенно. Он встал и подчеркнуто громко проговорил: «Запомните, товарищ Серов, КГБ – это глаза и уши партии». Не знаю, возможно, эта политическая «пикировка» не очень была замечена гостями Кириленко, я запомнил ее хорошо.

В октябре Жуков улетел в Югославию. Его пребывание там, какие-то демарши, заявления продолжали раздражать Хрущева и, вероятно, стали предметом обсуждений среди членов Президиума ЦК. Множились разговоры о тех или иных проявлениях самовластия Жукова. Говорили, что, просмотрев готовящийся к показу фильм о параде Победы, Жуков приказал переснять эпизод своего выезда на белом коне из Спасской башни Кремля. На аэродроме перед вылетом в Югославию сказал провожавшим его военачальникам: «Вы тут посматривайте, правительство не очень-то крепко стоит на ногах…»

Дело было, конечно, не только в слухах, хотя, как известно, их появление всегда по-своему закономерно: нет дыма без огня. Кто-то раздувал этот огонек, напускал дыму. Я близко наблюдал многих высокопоставленных военных: отношение к Жукову было неоднозначно. Наверное, во многом проявлялась ревность к его военной славе. На Пленуме ЦК не чурались «проехаться» по поводу его близости к Сталину, умелом использовании настроений Верховного в личных целях. Рассказывали, что Жуков непременно хотел первым войти в Берлин, хотя войска его фронта застряли на Зееловских высотах, и тем притормаживалась общая динамика сражения.

Много горьких слов услышал Г. К. Жуков. Ему ставились в вину грубость, нетерпимость, безжалостность к солдатам, офицерам, генералам. Трудно судить, насколько искренни были выступавшие. Мне запомнились последние сказанные Жуковым фразы: «Когда Сталин снял меня с работы и отправил в Одессу командовать округом, я считал это несправедливым. С упреками в мой адрес на этом Пленуме я согласен».

Освобождение Г. К. Жукова с поста министра обороны и члена Президиума ЦК (министром был назначен маршал Р. Я. Малиновский) было воспринято как акт стабилизации. «Сильный человек», со склонностью к гипертрофированному самомнению, беспокоил новое руководство ЦК. Трудно ответить на вопрос, было ли обосновано это беспокойство.

Отставной маршал Жуков стал более досягаем для критики. Спустя некоторое время маршал Чуйков затеял дискуссию с ним по поводу возможностей более раннего взятия Берлина и

окончания войны уже в феврале 1945 года. Правда, перепалка эта быстро угасла.

Уход Хрущева с политической сцены мало изменил «отставное» положение Жукова. Даже похороны маршала прошли с минимальной торжественностью, хотя и закончились традиционным митингом на Красной площади. Брежнев не приблизил к себе Жукова, хотя тот в своих воспоминаниях и говорил о Брежневе (невероятно, чтобы маршал Жуков искал встречи с полковником Брежневым на фронте. Упоминание об этом в книге – безусловно, уступка обстоятельствам). Полковнику Брежневу уже мерещился собственный маршальский жезл. Жуков не дожил до апофеоза «Малой земли», награждения Брежнева пятью звездами Героя, орденом Победы, присвоения ему маршальского звания. Миновала его эта бесстыдная эпоха…

Образ выдающегося военачальника Великой Отечественной войны Георгия Константиновича Жукова с каждым годом вызывает все большее уважение в народе. Но людей-ангелов не бывает. Жуков оставался человеком, и, наверное, таким и надо запомнить его, ничего не утаивая, не наводя, даже из добрых побуждений, хрестоматийный глянец.

Тайна – важная методологическая особенность функционирования сталинской административно-бюрократической системы. В пору Хрущева многое оставалось в тайных хранилищах, а то и вовсе не документировалось. Того или иного события, решения могло как бы не быть.

Не знаю, не уверен, есть ли точная запись о трагическом происшествии лета 1962 года, случившегося в южном городе Новочеркасске Ростовской области, в тех местах, которые некогда обозначались как земля войска Донского. Там в первой неделе июня возникла весьма острая ситуация – вслед за уличными беспорядками произошло, по сути, кровавое побоище.

Все началось с весьма прозаической истории. На местном заводе повысили нормы выработки и… цены на котлеты в заводской столовой. Возмущенные рабочие потребовали объяснений. Директор, вышедший к толпе, хамски отчитал «бунтовщиков» и пригрозил вызвать милицию. Страсти накалялись. Несколько подвыпивших рабочих были отправлены в отделение милиции. Пришло известие, что одного из задержанных в комнате предварительного заключения убили. Волнения охватили весь город. Местные власти еще пытались справиться с ситуацией своими силами, но события явно выходили из-под контроля. Толпа захватила ряд важных городских учреждений, начались пожары. Генерал Олешко, начальник гарнизона, командир танковой дивизии, ввел в город

войска. Первые залпы, выпущенные в воздух, оказались роковыми. На деревьях сидели мальчишки и подростки, наблюдавшие за волнениями. Многие пули нашли цели.

Дело начало приобретать зловещий характер. О событиях в Новочеркасске доложили Хрущеву. Помню, он стал рваться туда, хотел сам объясниться с горожанами, утихомирить страсти. Его едва отговорили. Пришлось более честно доложить о размахе волнений. Военные беспокоились, что часть новочеркасских уголовников пробьется к ростовским тюрьмам и тогда обстановка еще более усложнится. В Новочеркасск вылетели члены Президиума ЦК партии Микоян и Козлов.

Я видел кадры кинопленки, снятые во время новочеркасских событий. Они производили ужасное впечатление.

(Хрущеву их, по-моему, даже не решились показать.) Танки и бронемашины буквально заполонили городские улицы. Это начала действовать армия генерала Плиева. Войска окружили город. В первые часы не удавалось оттеснить толпы в дома. По самым отчаянным группам пришлось открыть огонь. Матери с детьми на руках рвались под гусеницы танков. Южная русская вольница показывала свою силу.

Только на вторые или третьи сутки удалось несколько нормализовать обстановку. Было задержано немало «бунтовщиков».

Известия о событиях в Новочеркасске просочились на Запад. Однако сообщения западных газет носили либо чисто сенсационный характер, без всякой опоры на факты, либо представляли их чуть ли не как восстание против Советской власти. Скорее это был взрыв ярости в защиту человеческих прав и достоинства.

Не скажешь, что случившееся вовсе не задело ум и совесть не только Хрущева, но и тех, кто знал подробности того, что произошло в Новочеркасске. Однако ни Хрущев, ни руководство того времени не захотели их серьезного анализа.

Ограничились скорым уголовным процессом над небольшой группой зачинщиков. Громкий и многолюдный процесс выявил бы масштабы событий, а этого явно не хотели. О событиях в Новочеркасске постарались забыть как можно скорее. Никто из журналистов не отважился начать подробное расследование. Не скажешь, что Новочеркасский бунт не потряс газетчиков, но легче всего было принять официальную версию: грубость директора, своеволие милиции, уголовники, возбудившие толпу, и прочее. Если в чьих-то душах и зрели более серьезные и глубокие оценки, их выход на страницы печати был невозможен. Долго нас учили ничего не видеть, ничего не слышать. И, как следствие, не знать.

Цель оправдывает средства – эти удобные постулаты охраняли нервную систему многих лиц. Надо сказать откровенно: спасительная формулировка или, скорее, философия бытия существовала и во мне, и во множестве моих коллег, отнюдь не безразличных к правде. Очень трудно было «выдавливать из себя раба».

Думаю, что Хрущев извлек для себя уроки из событий в Новочеркасске. Во всяком случае, он сам говорил, что выражать недовольство – неотъемлемое право людей. «За это право, – говорил Хрущев, – народ платил даже жизнью при Сталине, тысячи поплатились тогда жизнью, сидели в тюрьмах и лагерях. Их было около десяти или более миллионов».

События в Новочеркасске ставили Хрущева в двойственное положение: он чувствовал, что хамство и бюрократизм могут предельно обострять взаимоотношения «верхов» и «низов». В душе он ненавидел аппаратчиков, которые порвали всякую истинную связь с народом, но, с другой стороны, Хрущев становился все более обязанным аппарату, тем, кто умело ликвидировал нежелательные инциденты и умело их замалчивал.

Этот дуализм в характере и поступках Хрущева делал его слабее, уязвимее. Пришло время, когда он оказался безоружен перед теми, кто топил в славословиях правду о народной жизни.

Считанные разы я видел Хрущева со слезами горя. В дни смерти Сталина, смерти сестры, Ирины Сергеевны, и еще один раз до этого, в феврале 60-го, когда он узнал о кончине Курчатова.

Он и Курчатов в принципе были люди несхожих характеров, стиля жизни, образованности. Хрущев очень ценил деловые качества Игоря Васильевича, его «мертвую хватку» в работе, бескорыстие, смелость. Считал его своим консультантом. Тем тяжелее мне писать о том, о чем, быть может, вспомнил Хрущев, когда скончался Курчатов, – об их ссоре.

В моей семье три биолога: жена (после факультета журналистики она закончила заочное отделение биофака МГУ) и два сына. Часто в разговорах с друзьями, знакомыми возникают вопросы, как мог Никита Сергеевич верить шарлатанским обещаниям Лысенко? Отчего он так настойчиво отрекался от любого знакомства с работами генетиков?

Как-то на дачу к Никите Сергеевичу приехал Игорь Васильевич Курчатов. Они присели на дальнюю скамеечку, как бывало не раз, и беседовали там. Час или даже больше. А потом Курчатов ушел, как нам показалось, в обиде. Никита Сергеевич тоже был мрачен. Досада не давала ему покоя, и он втянул нас в

разговор. «Борода», – так Хрущев называл Курчатова, – лезет не в свое дело. Физик, а пришел ходатайствовать за генетиков. Чертовщина какая-то, нам хлеб нужен, а они мух разводят».

В его словах было столько непримиримости, раздраженного апломба, что Сергей, сын Никиты Сергеевича, не выдержал, начал спорить с отцом. Рада поддерживала брата, даже сказала отцу: «Вот увидишь, тебе самому будет стыдно».

Это противодействие, несогласие, дерзость вывели Хрущева из равновесия. Разговор был тяжелый. Мы уехали с дачи угнетенные.

В один из выходных состоялся коллективный выезд в хозяйство Лысенко всех членов Президиума ЦК. Были там и журналисты. «Великий агроном» не скрывал радости. Показывал отличные поля с рядами разных культур, выдергивал из земли кормовую свеклу размером в три кулака, водил по животноводческим фермам, где картинные коровы тыкались сытыми мордами в карманы гостей. Никто не допытывался, каких затрат требовало это образцовое хозяйство.

Потом Хрущев пригласил всех отобедать у него. Лысенко расхваливал себя как мог. И жаловался: не дают развернуться, интригуют. Всюду вейсманисты-морганисты. Хрущев мало вникал в наукообразные речи Лысенко. Его интересовала агрономия, та простая, как ему казалось, практическая польза, какую каждый крестьянин может извлечь, если послушается советов Лысенко.

Он поддерживал Лысенко-агронома, более того, выражал этой поддержкой согласие со Сталиным: тот ведь не зря держал Лысенко так близко!

Откуда же в Хрущеве, человеке расчетливом и опытном, такое неприятие генетики, такое нежелание вникнуть в ее суть? Даже Игорю Васильевичу Курчатову, человеку, с которым Никита Сергеевич считался, не удалось уговорить его хоть как-то заинтересоваться этими проблемами.

Хрущев не мог ждать. Мушки-дрозофилы, как он считал, только отвлекали силы, а заставить поля дать больше хлеба надо было немедленно. В нетерпении проще всего надеяться на чудо. Сельскохозяйственное производство, особенно в 1962, засушливом году, не вышло на плановые рубежи.

Спад

В 1962 году было объявлено о повышении цен на мясо и мясные продукты. Цена за килограмм мяса повысилась с 1 рубля 60 копеек до 2 рублей. У нас в газете приводились цифры

закупочных и розничных цен, говорилось о ножницах между ними, о необходимости поднять закупочные цены и тем обеспечить рентабельность животноводства.

Во время обсуждения этого вопроса на заседании Президиума ЦК Хрущев решительно возражал против увеличения закупочных цен для совхозов, поскольку себестоимость их животноводческой продукции была ниже розничной цены на мясо. Косыгин настаивал. Главные редакторы ряда газет, присутствующие на этом заседании, были свидетелями полемики. Хрущев сдался, и закупочные цены повысили и для колхозов, и для совхозов. Пишу об этом, чтобы подчеркнуть полную возможность отстаивать перед Хрущевым свою точку зрения. Тогда же редакторы «Правды», «Сельской жизни», «Известий» получили задание написать передовую статью с объяснением причин повышения цен на мясо, обосновать временный характер решения. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем любое… временное решение. На довольно длительный срок эта мера действительно оказалась целесообразной, хотя производство мяса росло очень медленно, а в некоторых случаях даже снижалось. О лозунге «Догнать и перегнать Америку» по производству мясных продуктов не вспоминали даже в анекдотах.

В 1963 году начали ощущаться и перебои с хлебом. В газету шел немалый поток писем по этому поводу. Я созвонился с главным редактором «Правды» Павлом Алексеевичем Сатюковым, и мы решили направить выдержки из таких писем в ЦК. Последующие события носили драматический характер. Хрущев предлагал (и, возможно, это было разумным) ввести на какой-то срок карточки, чтобы прекратить скармливание хлеба скоту. Но престижные соображения перевесили. Решили закупить некоторое количество зерна за рубежом. А в 70-е годы это стало обычным, закупки выросли во много раз. Из экспортера хлеба Россия превратилась в его импортера. Шок прошел быстро. Появились даже «теоретические» обоснования возможности и целесообразности таких закупок. Все большее число районов страны стали относить к зонам «рискованного» земледелия.

В те последние годы своего пребывания на ответственных постах Никита Сергеевич много ездил по стране. Он постоянно уделял внимание развитию производительных сил в республиках, расширению их прав, возможностей, их роли в Союзе. Редакторы центральных газет обычно сопровождали его, так как приходилось давать отчеты с совещаний, рассказывать о передовом опыте. Новосибирск, Алма-Ата, Тбилиси, Воронеж… Хрущев призывал, приводил примеры, критиковал; тысячи людей, слушая, вроде бы заряжались его энергией. Но все чаще на этих

же совещаниях Хрущев слышал другое: заедают бумаги, вновь в ходу накачки, вмешательства в дела колхозов и совхозов, принижение или полная отмена принципов материальной заинтересованности. Призрак продразверстки витал над деревней. Аппарат, за десятилетия привыкший к командно-приказной системе, сумел приспособиться к работе в переименованных кабинетах. Все возвращалось на круги своя… Полноводной рекой лились только обещания. Хрущев им верил и не верил. Сказывалась неустойчивость его собственных позиций.

Однажды журналисты присутствовали на отчаянном, по сути, трагическом выступлении Хрущева в Воронеже.

Поезд подходил к Воронежу рано утром и километрах в ста от города сделал последнюю остановку. В вагон к журналистам вошел собственный корреспондент «Правды». Мы стояли у окон, разглядывая чуть припорошенные снегом дали, и кто-то обратил внимание на странные волны, чередовавшиеся по земле в строгой последовательности. Корреспондент «Правды» пояснил, в чем дело. Не успели убрать кукурузу и, зная, что здесь проедет Хрущев, вывели в поле тракторы, стальными рельсами, как волоком, примяли стебли к земле, чтобы «замаскировать» неубранный урожай.

Мы не знали, нужно ли говорить об этом Никите Сергеевичу. Решили сказать.

Никто из журналистов не слышал, какие объяснения получил Хрущев по поводу «рельсовой» уборки кукурузы от руководства области. Однако и особого смущения местные товарищи не выказали: отговорки всегда были. На совещании в присутствии сотен работников сельского хозяйства многих областей Никита Сергеевич рассказал об этой истории. Настороженная тишина царила в зале. Хрущев стоял не на трибуне, а у края сцены, говорил не перед микрофоном, но каждое слово было слышно, хотя он даже не повышал голоса. Медленно обернувшись к президиуму, с каким-то странным безразличием проговорил: «Может показаться, что я стараюсь поссорить вас с этими людьми. – Он широко обвел рукой зал. – Нет, это не так. Просто хочу напомнить, что некогда здесь секретарем обкома был товарищ Варейкис…»

Что он имел в виду? Бесстрашие Варейкиса на XVII съезде партии или его трагическую судьбу?

Столько миновало лет после ухода Хрущева на пенсию, после его смерти, но до сих пор иные журналисты и писатели видят главную причину неуспехов сельского хозяйства в насильственном насаждении кукурузы. Поля освободили от капризной дамы. Больше того, даже в хозяйствах, где хотели

сеять и сеяли кукурузу, в том числе на корм скоту, приходилось делать это полутайком, дабы не прослыть апологетами Хрущева.

Хрущев хорошо знал достоинства кукурузы. Толчком к его напористому требованию расширять ее посевы послужило несколько обстоятельств. Во-первых, она значительно урожайнее пшеницы. Во-вторых, как раз кукурузы нам не хватало для производства концентрированных кормов. После бесед с американским фермером Гарстом – а это он рассказал Хрущеву о возможности использовать зеленую массу кукурузы с недозревшими початками на корм скоту – Никита Сергеевич твердо решил послушаться совета знающего человека. Он так и говорил: «Надо верить Гарсту, он капиталист и ничего без расчета не делает».

Не знаю, какое количество зеленой массы кукурузы собирали мы в ту пору на силос, как не знаю и того, почему ее сеяли там, где она вовсе не давала урожая.

Отчего у нас самое благое намерение – это относится и к кукурузе, и к строительству крупных животноводческих комплексов, и к закладке промышленных садов – примеры можно продолжить – часто оборачивается бедой, становится делом глупым, разорительным?

Чтобы прояснить кукурузную тему, сошлюсь на публикацию в газете «Аргументы и факты» (декабрь 1987 г.). Академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов сообщил корреспонденту: «В стране, например, ежегодно производится до 90–100 миллионов тонн пшеницы. Кроме того, не менее пятой части от произведенного мы закупаем на внешнем рынке. Потребность же в продовольственной пшенице не более 37–38 миллионов тонн… В мире нет более или менее крупномасштабного хозяина, который бы добровольно согласился на такую «технологию» и структуру производства… Стране требуется ежегодно не менее 60–65 миллионов тонн кукурузы. Вместо этого имеем 10–14 миллионов тонн. И даже наши планы на перспективу пока не предусматривают серьезного изменения структуры зернового баланса. А между тем в стране имеются районы, где вместо кукурузы выращивают пшеницу, хотя там условия для выращивания кукурузы не хуже, чем в знаменитой Айове».

За Полярным кругом или в Новосибирской области, конечно, не нужно было сеять кукурузы. А вот как в других местах?

В наши дни кукуруза «реабилитирована». Прямо говорится, что ее раннеспелые сорта могут выращиваться в самых различных регионах. Больше того, теперь мы вновь заявляем, что без кукурузного силоса животноводство не поднять. При этом, конечно, не вспоминают «кукурузника» Хрущева.

В годы, когда я работал в «Известиях», не было дня, чтобы наш домашний почтовый ящик не переполняли письма с самыми разными просьбами. Просители осаждали квартиру таким плотным кольцом, что приходилось вести за собой в редакцию целый хвост жалобщиков, иначе они не пропускали меня.

На следующий же день после сообщения о моем освобождении с поста главного редактора «Известий» в октябре 1964 года все изменилось. Никто не нуждался ни в моих советах, ни в моей помощи. С похвальной оперативностью начали появляться не только мелкие пасквили, но и романы, посвященные моей персоне. (Особенно тут старался литератор Шевцов, получивший высокую поддержку.) Я-де давал «плохие советы», спасал «не тех людей», поддерживал не то, что надо, и вообще был «баловнем безродным».

Меня это не удивляло. Да и не во мне было дело. Неприятие XX съезда партии водило перьями.

Я начал свои заметки с того, что имя Хрущева не упоминалось даже в 1987 году. А теперь накопилось уже немало свидетельств: интерес к личности Никиты Сергеевича возрастает. Одна из таких записей была для меня неожиданной.

Шелеста, первого секретаря ЦК КП Украины, я знал мало, несколько раз говорил с ним по телефону в связи с теми или иными газетными публикациями, касавшимися Украины. Когда появился в газете мой рассказ о подвиге украинского паренька Василя Порика во Франции, Петр Ефимович позвонил мне, сказал, что украинское правительство вошло в Президиум Верховного Совета СССР с ходатайством о присвоении Порику звания Героя Советского Союза. Ему хотелось, чтобы газета «Известия» поддержала эту просьбу. Мы так и сделали.

Через несколько лет после смещения Хрущева сам Шелест был отозван с Украины, назначен заместителем председателя Совета Министров СССР, ведал там второстепенными вопросами, а затем отправлен в отставку. Перед этим актом Шелеста обвинили в пропаганде украинского национализма. Тут особенно усердствовал Суслов, ставший правой рукой Брежнева по идеологическим вопросам. Теперь мы понимаем, что именно Суслов был идеологом брежневщины.

В конце лета 1988 года к нам домой зашел главный редактор газеты «Аргументы и факты» Владислав Андреевич Старков. Разговор, естественно, зашел о Никите Сергеевиче. Общими усилиями мы прояснили некоторые подробности его жизни в последние годы. Упомянул я имя Шелеста. И тут Старков показал запись беседы корреспондента «АиФ» с Петром Ефимовичем

Шелестом.

Приведу вопросы и ответы Шелеста, которые относятся к Никите Сергеевичу Хрущеву, к тому времени, когда сам Шелест был «наверху».

«КОРР. Когда вас избрали первым секретарем ЦК КП Украины?

ШЕЛЕСТ. Не сразу. Был и секретарем Киевского горкома, вторым и первым секретарем обкома и секретарем ЦК КПУ. «Первым» меня избрали в 1962 году. Процедура при этом была такая. В Москву на заседание Президиума ЦК КПСС вызвали троих: меня, первого секретаря Донецкого обкома партии Ляшко и первого секретаря Харьковского обкома партии Соболя. Были беседы, каждого приглашали в отдельности. Не знаю почему, но выбор пал на меня. И я был рекомендован на эту должность.

Спустя три месяца избрали кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, а затем в члены Президиума, преобразованного впоследствии в Политбюро.

КОРР. Став первым секретарем ЦК КП Украины, вы были в тесном контакте с высшим руководством страны, в том числе и с Н. С. Хрущевым. Каково ваше мнение о его политической деятельности?

ШЕЛЕСТ. Об этом довольно подробно писалось в вашем еженедельнике. Многие оценки его работы разделяю. Ошибок было немало, но их должны разделить и члены Президиума ЦК КПСС. Я согласен с высказыванием в ту пору Микояна, который заявил на заседании Президиума, что деятельность Хрущева – это большой политический капитал партии. В самом деле, одно развенчивание культа личности Сталина чего стоит, решиться на такой шаг мог лишь человек большого мужества и верности идеалам социализма. В этой связи характерна и речь Н. С. Хрущева на заседании Президиума ЦК КПСС, решавшего его судьбу. Видимо, у меня одного сохранилась теперь ее запись, так как стенограммы на том заседании не велось. На том, последнем для него заседании Хрущев был подавлен, изолирован, бессилен что-либо предпринять и все же нашел в себе силы и мужество сказать:

«Я благодарю, что все же кое-что сказали положительное о моей деятельности. Рад за Президиум в целом, за его зрелость. В формировании этой зрелости есть и крупинка моей работы.

Всех нас и меня воспитала партия. У нас с вами одна политическая и идеологическая основа, и против вас я бороться не могу. Я уйду и драться не буду. Еще раз прошу извинения, если кого обидел, допустил грубость – в работе все могло быть. Однако я хочу сказать, что ряд представленных мне обвинений я

категорически отвергаю. Я не могу все обвинения вспомнить и парировать их. Главный мой недостаток и слабость – это доброта и доверчивость. Но вы все здесь присутствующие открыто и откровенно мне о моих недостатках никогда не говорили и всегда поддакивали, поддерживали. С вашей стороны отсутствовала принципиальность и смелость. Меня обвиняют в совмещении постов Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совмина СССР. Но ведь я сам этого не добивался. Этот вопрос решался коллективно, а некоторые из вас, в том числе и Брежнев, даже настаивали на этом. Может быть, моя ошибка, что я этому решению не воспротивился, но вы все говорили, что делается это в интересах дела. Теперь же вы меня в совмещении постов обвиняете.

Да, я допускал некоторую нетактичность по отношению к работникам науки, в частности в адрес Академии наук, – продолжал Хрущев, – но ведь не секрет, что наша наука по многим вопросам отстает от зарубежной науки и техники. Мы в науку вкладываем огромные народные средства, создаем все условия для творчества и внедрения в народное хозяйство результатов науки. И надо заставлять, требовать от научных учреждений более активных действий, настоящей отдачи. Это ведь истина, от нее никуда не уйдешь».

Далее Хрущев аргументированно объяснил предпринятые в свое время меры в связи с событиями на Суэцком канале, во время Карибского кризиса, по взаимоотношениям с КНР. Эти вопросы тоже решали коллективно.

«Я понимаю, что это последняя моя политическая речь, как бы сказать, лебединая песня. На Пленуме я выступать не буду. Но я хотел бы обратиться к Пленуму с просьбой…»

Не успел он договорить, как ему в категорической форме Брежнев ответил: «Этого не будет». Его поддержал Суслов.

После этого Хрущев сказал: «Очевидно, теперь будет так, как вы считаете нужным (при этом у него на глазах появились слезы). Ну что же, я готов ко всему. Сам думал, что мне надо было уйти, ведь вопросов много, а в мои годы справиться с ними трудно. Надо двигать молодежь. О том, что происходит сейчас, история когда-то скажет свое веское правдивое слово.

Сейчас я прошу написать заявление о моей отставке, и я его подпишу. В этом вопросе я полагаюсь на вас. Если вам нужно, я уеду из Москвы».

Кто-то подал голос: «Зачем это делать?» Все поддержали. Хрущева оставили в Москве, установив надлежащий надзор. Так совершился своего рода государственный переворот.

КОРР. А каково Ваше мнение о том, как этот своеобразный

переворот готовился?

ШЕЛЕСТ. В статье Р. Медведева героем переворота сделан Суслов. Его имя упоминается 18 раз. Считаю, что такая роль преувеличена. При Хрущеве Суслов не являлся вторым человеком в руководстве, как это стало при Брежневе. Доклад, с которым Суслов выступил на Пленуме, готовил Полянский и другие товарищи. По идее с ним должен был выступить Брежнев или в крайнем случае Подгорный. Брежнев просто сдрейфил, а Подгорный категорически отказался. Тогда поручили сделать это Суслову. Если Шелепин, как утверждает Медведев, и принимал какое-то участие в подготовке материалов к Пленуму, то Суслов до последнего момента не знал о предстоящих событиях. Когда ему сказали об этом, у него посинели губы, передернуло рот. Он еле вымолвил: «Да что вы?! Будет гражданская война».

Словом, сделали Суслова «героем». А он не заслуживает этого. Решающая роль в смещении Хрущева от начала и до конца принадлежала Брежневу и Подгорному и никому другому. Такова истина.

КОРР. Как Вы считаете, было ли смещение Хрущева и приход к власти Брежнева делом объективно необходимым?

ШЕЛЕСТ. Нет, такой необходимости не было. Это мое твердое убеждение, хотя я сам принимал участие в случившемся. Сейчас сам себя критикую и искренне сожалею о случившемся.

Скажу еще о Хрущеве. Я его знаю хорошо: за границу ездили, отдыхали вместе. Он рассказывал, как обезвреживали Берия. Это был мужественный поступок. Об этом надо говорить. При Берия могло произойти непоправимое. Считаю полезной его идею создания совнархозов. Много сделал Хрущев для освоения космоса, развития наших ракетных войск. Он строго спрашивал за дела в этой области с партийных работников, руководителей министерств. Это был чистый, кристальный человек, до мозга костей преданный партии. Настоящий партийный работник с богатым жизненным опытом. Не любил болтунов. Любил людей дела, творцов.

КОРР. Вы много лет проработали при Л. И. Брежневе. Что хотели бы сказать о нем, что вспоминаете?

ШЕЛЕСТ. Помню нашу встречу с Брежневым в феврале 1964 года. Я был тогда в Москве. Поздравить меня с днем рождения приехали Брежнев и Подгорный. Посидели за столом. Разговор шел главным образом о положении в стране, но чувствовалось, что моих гостей что-то грызет. Говорили они о трудных взаимоотношениях в верхах, о несработанности центрального аппарата.

Уже тогда у меня зародилось чувство тревоги, неловкости. Не

знал, что за всем этим произойдет в последующие ближайшие месяцы, какую роль предстоит сыграть мне в смене руководства партии, государства. И мысли подобной у меня не было. Но тревогу ощутил. Словом, прощупывали меня.

Считаю, что Брежнев как руководитель партии и государства был фигурой случайной, переходной, временной. Если бы не Подгорный, его бы через год сменили. Поддерживал Брежнева Подгорный. А почему – не знаю. Брежнев особенно боялся тех руководителей, кто помоложе. Так были убраны Семичастный, Шелепин, Катушев. Впоследствии он расправился со всеми, кто его на первых порах поддерживал – с Вороновым, Подгорным, Косыгиным.

Делал он это, мягко говоря, не по-джентльменски. Вот, к примеру, случай с Семичастным, бывшим председателем КГБ. Шло заседание Политбюро. Решались многие вопросы. Под конец Брежнев достает из нагрудного кармана бумажку, говорит: «Теперь, товарищи, еще один вопрос, о Семичастном, позовите его, пожалуйста». Никто из сидящих ничего не знает, с самим Семичастным не разговаривали. И вот: «Мы решили вас переместить на другую работу». Куда? Почему? Объяснение было коротким, неубедительным. Тут же Брежнев предложил утвердить председателем КГБ Ю. В. Андропова, с которым тоже до этого разговора не было. Думаю, что за всех членов Политбюро вопросы решала четверка – Брежнев, Подгорный, Суслов и Косыгин.

Так, примерно, поступал Брежнев и с другими неугодными ему людьми. С Косыгиным, например, вообще поступил по-хамски. Тот был уже на пенсии, лежал в больнице после инфаркта. Посетил его Брежнев и спрашивает: «Когда освободите дачу?»

Был Брежнев трусливым, мнительным и недалеким человеком. Любил власть и почести. Знаете, как он получил вторую Звезду Героя? К своему 60-летию он был уже Героем Социалистического Труда, получил за ракетные дела. Решили дать к юбилею вторую звезду. Я был тогда в Киеве. Присылают из Москвы представление. Смотрю: подписали уже почти все члены Политбюро. Ну и я подписался. Через два-три дня звонит мне Подгорный: «Петро, ты знаешь, что Леня настаивает на том, чтобы ему дали Звезду Героя Советского Союза?» Я говорю: «С какой стати?» В ответ: «Что ты спрашиваешь! Он уже всех уговорил, остался ты один».

Вот так. И пошел этот звездопад.

Особенно следует подчеркнуть низкую общую культуру Брежнева, его некомпетентность во многих вопросах. Этим, видимо, и объясняется факт приближения им к себе Суслова. Чуть

что: «Свяжитесь с Михаилом Андреевичем». Суслов же, на мой взгляд, фигура еще не раскрытая. Он меньше принес партии пользы, чем вреда. Плоды его деятельности мы пожинаем и сейчас, в частности по историческим, идеологическим и национальным вопросам. Он очень настаивал на быстрейшем слиянии наций, их языков и культур. К чему это привело, мы видим на примере Нагорного Карабаха. Эту личность трудно даже обрисовать. Он был оторван от жизни, очень замкнут. Я бы не сказал, что его боялись. Он иезуитством брал, средневековыми методами…

Позже, когда я уже работал в Москве, Суслов организовал статью в журнале «Коммунист Украины», в которой критиковалась моя книга за возвеличивание казачества. Но я же в казаках не служил, а пользовался архивами. Книгу через месяц изъяли. Пришел к Брежневу, говорю: «Что же вы делаете?» – «Книгу я не читал, – сказал он. – Это сделано по указанию Суслова».

Характеризует Брежнева и такой эпизод. В июле 1964 года он посетил меня в Крыму, где я отдыхал. Шел разговор о Хрущеве. Брежнев не только уговаривал меня поддержать его. Он лил слезы, словом, был артистом. Вплоть до того, что когда выпьет, становится на стул и декламацию какую-то несет. Но не Маяковского и не Есенина, а какой-то каламбур.

КОРР. А каково ваше мнение о Косыгине?

ШЕЛЕСТ. Это была самая светлая личность среди членов Политбюро. Знающий, честный человек.

КОРР. Вопрос нескромный, но хотелось бы знать, за что вас освободили от должности первого секретаря ЦК Компартии Украины?

ШЕЛЕСТ. Обвиняли в национализме после выхода в свет книги «Наша Советская Украина». Но это чушь. Думаю, причина заключалась в личных мотивах. Побоялся Брежнев, что вокруг меня сформируется группа молодых. Но никакого «заговора» не было и в помине. Правда, я нередко выступал вопреки его взглядам. Например, против закрытия шахт в Донбассе, против умножения числа министерств, по другим вопросам.

КОРР. А какой была процедура вашего освобождения?

ШЕЛЕСТ. Примерно такой же, как это происходило с другими. Шло заседание Политбюро. Его вел Брежнев. Потом он передал эту обязанность Суслову и стал выходить из комнаты, пригласив меня. Тут, в соседнем помещении, и состоялся разговор о моем переводе на другую работу. Опять: «Мы решили». Кто решил? На заседании этот вопрос не обсуждался. На второй день вышел указ о назначении меня заместителем председателя

Совета Министров СССР. Проработал я в этой должности два года. Теперь на пенсии».

Может ли сказанное исчерпать тему смещения Хрущева? Когда «малоуправляемый», непредсказуемый лидер начинает нервировать своих приближенных, когда вот-вот его волей будут проведены в жизнь решения, ставящие под удар сложившийся конгломерат лиц, интрига или заговор – называйте как хотите – завязывают такое множество конъюнктурных союзов, что полная правда оказывается на дне глубокого колодца.

Справедливо самое главное: после смерти Ленина, а затем Сталина в стране не была выработана демократическая форма передачи власти. Сталин «прошел в вожди», ступая по трупам своих соперников. Хрущев поступил более либерально. Он разогнал группу (как тогда говорили, антипартийную) Молотова, Маленкова, Кагановича после июньского Пленума ЦК в 1957 году по дальним городам и странам. Тем самым, правда, Хрущев подготовил сценарий своего собственного будущего смещения.

Так кто же организовал реализацию этого сенсационного замысла? Брежнев руками Подгорного? Или Шелепин, опираясь на аппарат своего послушного друга председателя КГБ Семичастного? Поди разберись. Трудно теперь ответить и на такой вопрос: праведен ли был сам этот замысел?

Суть состояла в том, что в конце «хрущевского десятилетия» в тупике оказалось дело. Хрущев это чувствовал. Понимал, что необходимо предпринять какие-то иные, чем прежде, действия. Все его предыдущие организационные метания, перестройки, переделки, разведения и соединения были знаком отчаяния совестливого и честного человека – именно это я хочу подчеркнуть, и не в оправдание Никиты Сергеевича, а как трудно оспоримый факт осознания им бесперспективности того, что делается. Еще раз напомню о последнем перед отлетом Хрущева на Пицунду совещании в ЦК. Он сказал тогда: «Нам надо дать дорогу другим – молодым…»

Ушел бы Хрущев в отставку после принятия новой Конституции в ноябре 1964 года, в которой оговаривалось пребывание на высших постах двумя сроками по пять лет? Начался бы отсчет таких сроков со дня принятия Конституции либо были бы «засчитаны» предыдущие годы, если не для всех, то выборочно? Как знать!..

Но, безусловно, наступал период более радикальных преобразований, которые могли определить новую ситуацию в экономике, в политических структурах власти. Вот что беспокоило руководящее ядро партийных работников: они

боялись активных действий Хрущева. Вот почему так торопились с Пленумом ЦК в октябре 1964 года.

Каких только нелепых слухов не вводят в оборот общественного мнения иные всезнающие публицисты по поводу того, как протекало само возвращение Хрущева с Пицунды, какими детективными обстоятельствами оно было обставлено. Тут и смена охраны в самолете, и невозможность связаться по радио с Москвой, и попытка лететь в Киев. Все это за гранью документального. Есть точные данные о прилете Хрущева в Москву, о совете ехать прямо на заседание Президиума ЦК, равно как и сведения о том, к каким мерам готов был прибегнуть Брежнев для смещения Хрущева. Сказать об этом может только бывший председатель КГБ В. Е. Семичастный. Когда он скажет, мы будем знать полную правду.

Могу засвидетельствовать только одно: Хрущев прилетел с Пицунды с прежней командой личной охраны, правительственный телефон в особняке, где он жил, работал исправно (по нему в те дни мне в «Известия» неоднократно звонила жена), Хрущеву подавался автомобиль с его прежним шофером и т. д. Ни он, ни Микоян не говорили о каких-то чрезвычайных мерах вокруг их персон. Хорошо помню, как, вернувшись поздно вечером домой после первого заседания, Никита Сергеевич сказал начальнику своей охраны полковнику Литовченко: «Завтра утром поеду к зубному врачу».

Хрущев был в те часы очень немногословен, прошел к себе на второй этаж в кабинет и не спустился в столовую. Анастас Иванович Микоян задержался на несколько минут у подъезда. Тут стояли его сын Серго, Сергей Хрущев, Рада и я. Мы услышали от него: «Хрущев забыл, что при социализме тоже может вестись борьба за власть». Еще одну фразу он обратил ко мне: «Хорош твой друг Шелепин, ты его пропагандировал, а он тебя сейчас обливал грязью…»

…И вот закончился Пленум ЦК, где развернулись известные теперь всем события. Я уходил с заседания. Вдруг меня взял за локоть Шелепин и позвал к себе в кабинет. Дверь закрылась. Надменное лицо Шелепина стало приветливым, будто ничего не произошло. Присели. Шелепин заказал чаю. «Не уехать ли тебе года на два из Москвы? Полезут ведь с интервью иностранцы. А потом мы тебя вернем». Я отказался. «Ушел бы Хрущев в 70 лет, – продолжал Шелепин, – мы бы ему золотой памятник поставили. «Рыба с головы тухнет», – закончил он разговор. О моем отъезде в «превентивных целях» речь уже не шла…

Шелепин, конечно, ни в грош не ставил Брежнева, да тот и впрямь по силе характера не годился в подметки Шелепину,

«железному Шурику», как называли его в ближнем окружении. В руках Шелепина были кадры КГБ: он ведь работал в должности председателя этой организации после XX съезда партии, ему было поручено расчистить там кадры. Было среди его выдвиженцев немало секретарей обкомов партии, ответственных сотрудников партийно-советского контроля. Шелепин, естественно, расставлял своих людей и, надо сказать, получал в этом поддержку Хрущева, поскольку тот считал, что молодые работники внесут свежую струю в деятельность этих организаций. Многое обещало Шелепину победу в предстоящей схватке с Брежневым. Он к ней готовился. Однако Шелепин не учел, что силу ломит не только сила, но и хитрость. И тут ему было далеко до Брежнева. Брежнев воспользовался главным своим преимуществом: Шелепин был чужаком для партаппарата, а должности, которые он занимал, были весьма непопулярными – контролирующими.

Шелепин скоро почувствовал стальное сжатие мягкой брежневской перчатки. В 1967 году, после разгрома израильтянами египетской армии в очередной войне, на состоявшемся вслед за этим Пленуме ЦК выступил Н. Г. Егорычев, секретарь МГК партии, деловой, самонадеянный, из тех, кто мог быть в шелепинской обойме. Егорычев подверг резкой критике наших военных за просчеты, а затем стал говорить об общих промахах в руководстве. Быть может, это был тот Пленум, на котором Шелепин и хотел дать бой «слабаку» Брежневу?

Не тут-то было, вслед за Егорычевым после небольшого перерыва выступило несколько клевретов Брежнева. Они по пунктам разбивали аргументы Егорычева. Похоже, что они располагали текстом его выступления заранее и хорошо подготовились. Сыскной аппарат Брежнева работал отлично, куда там спецам из гостиницы «Уотергейт». Ведь, как говорили, Егорычев не показывал текста своего выступления даже другим членам бюро МГК, что ему ставилось, кстати, в вину, а «команда» Брежнева все знала.

Шелепин сник. И тут ему был нанесен следующий удар. Как-то Брежнев предложил подвезти Александра Николаевича до дома. Садился тот в автомобиль в качестве все еще грозного главы Комитета партийно-государственного контроля, а вышел у своего подъезда в должности куда менее значительной – Председателя ВЦСПС. Заодно прихлопнули и Комитет партгосконтроля. Заметьте, организация с сильными контрольными функциями беспокоила и Сталина, который ликвидировал ЦКК РКП.

Несколько лет Шелепин возглавлял Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, вроде бы пришел в себя. И тут

наступила развязка.

Предстояла поездка Председателя ВЦСПС в Великобританию. Английская пресса, предваряя визит Шелепина, начала травить его как человека, повинного в массовых сталинских репрессиях. В Англии хорошо было известно, что Председателем КГБ Шелепин стал уже после XX съезда, что никакого отношения к тем репрессиям он не имеет. Выступая на XXII съезде партии в октябре 1962 года, Шелепин как раз разоблачал страшные методы своих предшественников, приводил факты ежовско-бериевского произвола. И тут вдруг такая странная подмена в осведомленных английских газетах. Шелепин просил отменить визит. Но было сказано – «надо». Пришлось ехать. В Англии разразился скандал. Это был конец. Шелепина изгнали из Политбюро ЦК. На пенсию он уходил с поста заместителя председателя Комитета по профессионально-техническому образованию.

Комсомольских друзей Шелепина, тех, кого подозревали в близости к «Шурику», разослали кого куда. Среди опальных было немало моих знакомых, вовсе не причастных к деятельности самого Шелепина, – их наказывали для острастки. В высоких кругах возрадовались низложению Шелепина. Так и говорили: «Не хватало нам этого комсомольского диктатора».

Оставлю в стороне личную обиду на Шелепина – в тех «играх» товарищества не существует. Но вот прочитал обвинение в его адрес, что он сталинист. В мою пору Шелепин был жестким, требовательным человеком, но сталинистом?.. До войны он учился в знаменитом Институте философии и литературы (ИФЛИ). В нем кипело нетерпение, жажда власти. А тут такой подходящий случай – пройти вперед за спиной Брежнева. Так это мне видится…

Меня часто спрашивают: почему Хрущев был отправлен в отставку именно осенью 1964 года?

Многое сошлось на октябре 1964 года.

В 1963 году тяжелый инсульт полностью и бесповоротно вывел из рабочего состояния члена Президиума и секретаря ЦК Фрола Романовича Козлова. Именно Козлов во время визита в США на открытие советской выставки прозондировал возможность встречи Эйзенхауэра и Хрущева и подготовил приглашение Никиты Сергеевича в США.

В нашем партийном руководстве по традиции не избирается второй секретарь. Однако «де-факто» обязанности «второго» кто-то выполняет. Некоторое время после XX съезда в этом качестве выступали по очереди все секретари ЦК, но потом от этой практики отказались. «Вторыми» при Хрущеве стали как раз Козлов и Брежнев. Мягко говоря, эти люди не любили друг друга.

Как знать, не поэтому ли держал Хрущев рядом с собой именно их…

И вот Брежнев из-за болезни Козлова остался один по правую руку Хрущева. Чего желать больше? Однако Брежнев чувствовал, что долго он в таком качестве не удержится. Вот-вот возникнет конкурент, к которому Хрущев мог отнестись с большим уважением. Предполагаю, что такими людьми могли стать Геннадий Иванович Воронов, член Президиума ЦК, образованный, опытный, энергичный человек, руководивший правительством Российской Федерации, и Александр Николаевич Шелепин, ведавший в партии и правительстве вопросами партийно-государственного контроля.

После 1964 года и тот и другой не сработались с Брежневым. Отставку Воронова Хрущев прокомментировал: «Воронов, сильный руководитель, принципиальный и смелый человек, не стал смотреть в рот Брежневу, не желал с ним сойтись». О Шелепине Хрущев не высказывался.

Брежнев совсем не был так прост, добродушен, как представлялось и кое-кому представляется сегодня. Как говорится: мягко стелет – жестко спать. Он мог принять неугодного ему человека, расцеловаться с ним, если нужно, смахнуть набежавшую слезу, усадить в кресло, напоить чаем или кофе, поинтересоваться здоровьем семьи, наобещать с три короба. Проситель уходил из кабинета Генерального приободренным, а спустя малое время понимал, что все это – игра.

Так, например, вел себя Брежнев, принимая как Председатель Президиума Верховного Совета СССР советского посла в Кении Дмитрия Петровича Горюнова, бывшего главного редактора «Комсомольской правды» (они были хорошо знакомы), сообщив, что имеет в виду возвращение его к более активной государственной деятельности. Управляющий делами ЦК партии Г. Т. Григорян, пришедший на этот пост по рекомендации Шелепина, был отправлен в торгпредство в ФРГ. Оба они много лет не могли выбраться из заграничного далека.

Я спросил как-то Хрущева: только ли его стараниями возник Брежнев на московском горизонте? Хрущев ответил, что Брежнева приметили в Москве давно, а после войны Молотов даже просил откомандировать его в Министерство иностранных дел на должность своего первого зама. На XIX съезде Брежнев был избран в состав большого Президиума ЦК. До Москвы за плечами у него – годы работы первым секретарем в некоторых обкомах партии, ЦК Молдавии, Казахстана.

В то время, когда я общался с Брежневым как Председателем Президиума Верховного Совета СССР, готовил его речи, получал

указания, будучи главным редактором газеты «Известия», этот человек располагал к себе живостью, простотой в общении, доступностью.

Кроме того, Брежнев всегда был подтянут, любил хорошо одеваться, не чурался моды, что выдавало в нем человека современного. Редко я видел его хмурым. Он излучал оптимизм.

Появляясь на приемах, Брежнев не спешил к главному столу, обходил зал, здоровался, шутил с сослуживцами, подбивал актеров и литераторов на новый анекдот, словом – душа-человек. Эти качества снискали ему популярность. Находясь близ Хрущева, подчеркнуто выражал полное единодушие с мнением Никиты Сергеевича, да и на фотографиях тех лет Хрущев и Брежнев почти всегда рядом.

Пожалуй, только в самые последние годы Хрущева начала раздражать жизнерадостная легковесность Брежнева, в особенности его любовь к приемам, организации торжеств, к шумихе и парадности. Редко Хрущев выражал свое недовольство кем-либо из близкого окружения даже в присутствии своих помощников. В этом смысле он был очень щепетилен. А вот о Брежневе, не сдержавшись, мог иногда сказать: «Ну просто танцор…» Аппаратчики видели в Брежневе своего, чувствовали, что он готов переложить ответственность на чужие плечи, чтобы легче жилось.

Единственно, что многих партийцев настораживало в Брежневе, так это его ярко выраженная антиинтеллектуальность. Никакого интереса к политическим наукам, литературе, театру, да и вообще к работе ума. Если Хрущев, как правило, сам диктовал наброски будущих выступлений и помощникам приходилось их только редактировать, и ум его был в постоянном движении, то Брежнев даже не сообщал, о чем хочет сказать. Это определялось в основном в отделах ЦК под бдительным присмотром Суслова и секретаря ЦК Пономарева. Когда Брежнев утверждался на посту Генерального, на разных загородных «объектах» начали сосредоточивать десятки умнейших советников, работавших на эрудицию «хозяина». Так создавался образ выдающегося теоретика марксизма-ленинизма Леонида Ильича Брежнева. Это развращало его «легкую» натуру. Многие последовали принципу: весело живи и давай жить другим… Отсюда кунаевы, рашидовы, романовы, алиевы, медуновы и так далее.

Честолюбие Брежнева становилось безбрежным. Мало того, что ему вручили партбилет № 2. Он получил билет № 1 члена Союза журналистов. Тут очень постарались бывший главный редактор «Правды» М. В. Зимянин и Л. М. Замятин. Книги «Малая

земля», «Возрождение», «Целина» выходили миллионными тиражами. Говорят, что авторы этих сочинений – писатели Анатолий Аграновский, Аркадий Сахнин и кто-то пока нераспознанный. А в день вручения Брежневу Ленинской премии по литературе он с воодушевлением говорил, как давно его рука тянулась к перу, да все не хватало времени. Обещал Брежнев писать и дальше. Журнал «Новый мир» успел набрать очередной опус о Космической Одиссее, но тут Брежнев умер, и набор рассыпали.

С каждым новым годом долгого правления Генерального все сильнее проявлялось всесилие аппарата. С середины 70-х Брежнев вообще перестал работать в привычном для каждого человека смысле. Как рассказывают, он все реже появлялся на службе, «трудился» либо на даче, либо в загородной резиденции в Завидово, соединяя прием советников, консультантов, работников аппарата ЦК с охотой, рыболовством и трапезой. Мы жили в одном доме с ближайшим его помощником Голиковым. В середине недели к подъезду подавался большой автомобиль, в него затаскивались ружья, охотничья амуниция, спиннинги. Голиков отправлялся на работу в Завидово.

Многим стало ясно, что Брежнев полностью во власти своего близкого окружения, что он подчинен его воле, особенно в последние годы тяжелой болезни. Москвичи легко угадывали появление брежневского кортежа. За несколько минут до армады черных автомобилей мчалась реанимационная машина, такая же заключала проезд Брежнева. Существовали специально оборудованные реанимационные самолеты и железнодорожные вагоны. Кому-то было нужно как можно дольше держать этого человека на высоком посту.

Если тупик Хрущева диктовался в немалой степени объективными обстоятельствами, связанными с непониманием им того, как надо действовать, чтобы не дать стране скатиться к стагнации, то в природе политического падения Брежнева (теперь это именуется годами застоя) куда более страшная истина – Брежнев думал, и ему внушали это, что он привел государство к процветанию!

Мы знаем во всех подробностях, как топал ногами, размахивал кулаками Хрущев, «приводя в чувство» тех или иных писателей, поэтов, художников, а что нам известно о третьей волне эмиграции? Десятки выдающихся деятелей культуры были в брежневские годы изгнаны из страны, превращены в диссидентов, названы предателями и отщепенцами. Однако Брежнев был «знатоком человеческих душ». Когда в 1974 году грянуло сорокалетие I съезда писателей, он осчастливил многих

его участников звездой Героя – звездопад сыпался не только на широкую грудь Генерального. В результате мы пришли к девальвации наград.

Брежневское время устраивало очень многих. «Я тебе – ты мне» – стало паролем бытия. Блоки «Мальборо», «Филипп Морис», финские колбасы и японские тряпки добывали многие. Это делало жизнь удобной и красивой. В предновогодние дни Рашидов слал в Москву подарки солнечного Узбекистана, и тогда в избранных московских домах, как по мановению волшебной палочки, появлялись на столах горы превосходных сушеных фруктов, оплетенные специальными сетками пахучие дыни, орехи, восточные сладости. В ходу были специальные приглашения на отдых от Алиева, Медунова, Кунаева в те самые особняки, которые теперь, как некогда в 1917 году, передают народу. Избранные покупали подержанные «мерседесы», тащили из-за границы, презрев таможенные правила, горы всяческого добра.

Я знал директора «Елисеевского гастронома» Соколова, расстрелянного за взяточничество. Были соседями по дому. Здоровались. На ходу, не замедляя шага, Соколов бросал: «Отчего не заходите?» Приглашение означало возможность получить от щедрот соседа разрешение на покупку продуктового дефицита или выкупить заветные «особые» талончики на заказы к празднику.

В тесном, завешанном знаменами и грамотами кабинете Соколова встречались знаменитые актеры, писатели, космонавты, генералы. Смущаясь и торопясь, выхватывали из рук «благодетеля» соответствующие бумажки и ныряли в подземелье к складским помещениям магазина.

Так разложение затягивало в свою орбиту все большее число людей, поскольку подобное копировалось на республиканском, областном, городском и районном уровнях, образуя своего рода круговую поруку бесчестия.

Глядя на то, как «резвится» начальство, пошли в ход массовые приписки, возникла теневая экономика, реализовывались грандиозные планы выкачки из тюменских недр нефти и газа для экспорта за рубеж и получения миллиардных долларовых прибылей. Эти прибыли мгновенно проедались. Государственная машина буксовала.

Только теперь мы начали осознавать глубину этой пропасти. Адски трудная, но единственная и самая верная дорога – революционная перестройка.

Она требует от каждого огромных личных трудовых и нравственных сил. Если мы не положим их на алтарь Отечества,

мы предадим собственные идеалы. Мы оставим нашим детям экономическую неразбериху, неразрешимые, трагические проблемы экологии – невеселое наследство грядущим поколениям.

Не могу вновь и вновь не задумываться: какой урок дало время Хрущева людям моего поколения? Полуправда губительна во всем. Какие бы благие цели ни ставил перед собой человек, он должен опираться на объективные возможности, определяя их путем демократичного, гласного, реалистического и правдивого обсуждения. Именно так начинал Хрущев. Что помешало ему?

Представьте себе человека, который предполагает, что где-то неподалеку прекрасная магистральная дорога, ведущая к миру, в котором нет несправедливости, безнравственности, бесчестия, где все люди – братья. Он хочет как можно скорее вывести на эту дорогу своих сограждан. Цель кажется ему близкой: еще одно усилие, еще один рывок. Он твердо верит, что его внуки будут жить при коммунизме, что новый общественный строй вот-вот похоронит капитализм. Он утверждает, что стоит назвать точные цифры, и тогда цель сама притянет к себе энергию масс. Он относит срывы и неудачи на счет тактических ошибок, уверенный, что поиск кратчайшего пути к магистрали задерживается только из-за неурядиц. Приходится месить грязь на обходных дорогах, путаться в ориентирах, а иные люди недостаточно активны или вовсе погрязли в мещанстве, тащат на себе в коммунизм слишком много ненужного груза.

Он ратует за автомобильные прокатные пункты, а не за личные машины, за пансионаты, а не за дачи, за энергичный труд на колхозных полях и фермах, а не на личных делянках. Он торопится к коммунизму, общественной формации будущего, хочет достичь сияющей вершины в сроки, отпущенные его современникам.

Провозгласив демократические принципы единственно верными для движения вперед, он вместе с тем все больше вынужден опираться на людей, которые вовсе так не думают. Все с большей силой действует командно-бюрократическая система. Она проста и удобна. Приказы следуют один за другим, однако дела идут все медленнее. Хрущев не отдает себе отчета в том, что именно его непоследовательность тормозит решение экономических, социальных, духовных проблем. В политике отсутствует целостная концепция. Он забывает, что в сообщающихся сосудах жидкость непременно держится на одном уровне. Этот закон не изменишь. Нельзя звать к открытости, состязательности, свободному сопоставлению точек зрения в

мире науки и техники и ограничивать действия этих правил в духовных областях жизни. Невозможно быть демократом в технике и ретроградом в литературе.

Многое еще внушает людям оптимизм. Спад кажется временным и преодолимым. Но более ясным становится и другое. Долгий путь в постоянных метаниях, в поисках лучших организационных форм, не задевающих глубинные причины срывов, форсированный марш «вперед-вперед» вызывают усталость, накапливается раздражение.

Мне кажется, что и сам Хрущев пришел к пониманию того, что ошибки и просчеты лежат в иной, чем он предполагал, плоскости. Его познакомили с запиской харьковского профессора Евсея Григорьевича Либермана, который, анализируя экономическую ситуацию, обращал внимание на принижение товарно-денежных отношений, оптимального планирования и управления хозяйством, материальной заинтересованности, то есть тех главных экономических рычагов, о которых в принципе было известно из работ академиков Леонида Витальевича Канторовича и Василия Сергеевича Немчинова. Их выдающиеся исследования так и не вошли в практику. Эта записка была первым толчком к реформе 1965 года, подготовка которой началась при Хрущеве.

О чем думал он, отправляясь вместе с Микояном в октябре 1964 года в кратковременный отпуск на Пицунду? Обычно такие отъезды свидетельствовали о желании сосредоточиться, поразмышлять.

Незадолго до отъезда Никита Сергеевич выступил на последнем в его жизни большом совещании. С горечью говорил о провалах в годовых планах семилетки, называя малоутешительные цифры. А закончил выступление фразой, которая многих насторожила. Еще раз напомню ее: «Надо дать дорогу другим – молодым…»

Заговор

На Пицунде отпуск Хрущева носил условный характер. Он сразу же побывал в птицеводческом совхозе, принял японских, а затем пакистанских парламентариев, послал приветствие участникам XVIII Олимпийских игр в Японии, разговаривал по телефону с космонавтами В. Комаровым, К Феоктистовым, Б. Егоровым. Затем встретился с государственным министром Франции по вопросам ядерных исследований. Если учесть, что на все это ушло чуть больше недели, не скажешь, что Никита

Сергеевич часто бывал на солнце, у моря или что в душу ему закрадывалось недоброе предчувствие. Меня часто спрашивают: неужели Хрущев не знал, что идет подготовка к его смещению? Отвечаю: знал. Знал, что один руководящий товарищ, разъезжая по областям, прямо заявляет: надо снимать Хрущева. Улетая на Пицунду, сказал провожавшему его Подгорному: «Вызовите Игнатова, что он там болтает? Что это за интриги? Когда вернусь, надо будет все это выяснить». С тем и уехал. Не такой была его натура, чтобы принять всерьез странные вояжи и разговоры Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Г. Игнатова и тем более думать о том, что ведет их Игнатов не по своей инициативе.

А затем 13 октября последовал телефонный звонок, который сам Хрущев позже назвал «прямо истерическим». Требовали его немедленного возвращения в Москву в связи с острейшими разногласиями в руководстве. Насколько я знаю, звонил Суслов. Догадался ли Хрущев, в чем истинная причина вызова? Сын Никиты Сергеевича отдыхал вместе с отцом. Еще до отлета на Пицунду он рассказал отцу о разговоре с охранником Игнатова, Галюковым, который с высокой степенью ответственности раскрыл весь механизм заговора против Хрущева, назвал фамилии его активных участников. Этот человек шел на большой риск, но честность, уважение к Хрущеву превысили чувство страха. Микоян в Москве встречался с Галюковым. Сергей по поручению Анастаса Ивановича сделал запись этой беседы, но так и осталось неизвестным, заострил ли Микоян внимание Хрущева на всех этих странных событиях, придал ли им сам роковое значение?

Сергей, естественно, нервничал. Неожиданно он оказался в центре политических интриг, которым суждено было так переменить ход времени.

Ни отец, ни Микоян не посвящали его в свои беседы на Пицунде. Когда Хрущеву позвонили из Москвы, ему стало ясно, что сговор идет к финалу. Он выглядел, как рассказывал сын, усталым и безразличным. Произнес: «Я бороться не буду».

А Микоян? Он вылетел в Москву вместе с Хрущевым. Быть может, он тоже не собирался бороться, понял, что это безнадежно? Анастас Иванович защищал Никиту Сергеевича на заседании Президиума ЦК как мог и до конца.

Оба они, Хрущев и Микоян, были уже старыми людьми, и как знать, не иссяк ли запас пороха в их пороховницах.

Микоян недолго продержался на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР, в 1965 году сам ушел в отставку. Какое-то время его терпели еще в качестве члена

Президиума Верховного Совета, оставили кабинет в Кремле, приглашали на трибуну Мавзолея в дни праздников, а потом перестали заботиться о «декоруме». В юбилей 60-летия Октябрьской революции его даже не пригласили на торжественное заседание.

Через год, в 1978 году, А. И. Микоян скончался.

…На аэродроме в Москве Хрущева и Микояна встречал только председатель КГБ В. Е. Семичастный. Они сразу же направились на заседание Президиума ЦК.

14 октября состоялся Пленум ЦК, на котором Хрущев не выступал. Сидел молча, опустив голову. Для него этот короткий час был, конечно, страшной, непередаваемой пыткой. Но дома он держался ровно.

Анастас Иванович Микоян жил на Ленинских горах, в одном из правительственных особняков по соседству с Никитой Сергеевичем. Они возвращались вместе с тех заседаний Президиума ЦК, на которых велась речь о смещении Хрущева. Я приезжал в дом к Никите Сергеевичу в ту пору. Он уходил к себе молча. Перед Пленумом ЦК он сказал: «Они сговорились».

Хрущев с чистой совестью мог сказать, что «оставляет дела в государстве в большем порядке, чем они были, когда он их принял».

Мысль эта принадлежит не мне, а Марку Френкланду, одному из тех западных советологов, которые пытаются разобраться в том, чем было для Советского Союза «десятилетие Хрущева» (цитирую по «Политической биографии Хрущева», написанной Р. Медведевым). Мнения на этот счет с «чужого берега» разнообразны и любопытны. В начале 1988 года я встретился с американским профессором Таубменом. Он связывает и сопоставляет деятельность Хрущева, Кеннеди, Иоанна XXIII, считая, что каждый из них хотел изменить мир к лучшему, начал действовать в этом направлении сообразно своим убеждениям, но они многого не успели сделать.

В этом утверждении – только часть ответа на вопрос, почему мой американский собеседник соединил в разговоре эти три имени. Наверное, истина лежит глубже, и, быть может, мы до сих пор не осознали не только ее локальную, но и общечеловеческую сущность. «Обратите внимание, – говорил Таубмен, – на Западе эпохой Хрущева интересуются люди эпохи Кеннеди». Присоединяясь к размышлениям профессора, я тоже считаю себя не только «человеком Хрущева», а точнее сказать, XX съезда, но и приверженцем, если это выражение возможно, той политики, которую вырабатывал и мечтал претворить в жизнь президент Кеннеди. Я даже слышал такое утверждение: «Если бы Кеннеди не

убили, не удалось бы сместить Хрущева…»

Но это из области предположений.

На XX съезде Хрущев торжественно провозгласил наше твердое убеждение: нет альтернативы политике мирного сосуществования и не существует фатальной неизбежности войн. Через пять лет к власти в Соединенных Штатах Америки пришел Джон Кеннеди. Он следовал поначалу традиционной американской линии – вооружаться и вооружаться. Но именно этот президент задумался, к чему такая политика может привести. И понял – общечеловеческие ценности превышают не только политические, но и классовые противоречия.

Однако до Делийской декларации, в которой об этом было заявлено Ганди и Горбачевым, лежала дорога в долгие четверть века.

Застой наступил не только в нашей внутренней, но и во внешней политике. Коснулся он и Соединенных Штатов Америки. «Не стоит забывать, – говорил профессор Таубмен, – что после Кеннеди к власти в нашей стране пришли Джонсон, Форд, Картер. «Блеклые президенты». Хотя каждый из них не прочь был использовать силу тех надежд, которые зародил в нации Джон Кеннеди…»

Когда речь идет о политическом деятеле, эмоциональные оценки часто бывают субъективными. Однако я все же приведу еще несколько десятков строк о Хрущеве, написанных в пору, когда он был уже на пенсии. Их автор – итальянский журналист Джузеппе Боффа, бывший корреспондент газеты «Унита» в Москве. (Теперь он сенатор, директор Института международных исследований.) «Наслоения заимствований из прошлого опыта развития Советского Союза приводили к тому, что для манеры мышления Хрущева был характерен явный эклектизм в том смысле, что различные моменты этого исторического опыта складывались в его суждениях в причудливые комбинации, не будучи подвергнуты отбору зрелого осмысления, который характерен для подлинной культуры мысли. Одна черта поражала многих, кто близко знал этого человека: в его культуре сочетались и чередовались озарения острой и могучей мысли и тяжелые пробелы невежества, элементарные, упрощенные представления и способность к тончайшему психологическому и политическому анализу…»

Возвращая миллионам невиновных уважение общества, развенчивая культ Сталина, отвергая террор и репрессии как метод управления делами государства, не только Хрущев, но и широкий круг лиц не поднялись до понимания более сложной истины: гигантскими усилиями народы нашей страны

выстраивали общество, из которого при всех его бесспорных достижениях исчезал ленинский завет: для социализма превыше всего – человек!

Не противоречит ли сказанное тому, с чего я начал свои заметки, и как быть с тем оптимизмом, которым окрашивалась деятельность многих послевоенных поколений советских людей? Или здесь нет никакого противоречия, а просто исчерпал себя «оптимизм неведения»?

Последние слова в адрес Хрущева на октябрьском Пленуме ЦК в 1964 году произнес Брежнев. Не без пафоса закончил он короткое заседание, как бы резюмируя выступление Суслова. Вот, мол, Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчиваем культ Хрущева при его жизни. Ну что ж, Брежнев был прав. С культом Хрущева покончили. Думаю, Хрущев никогда не согласился бы на ту роль, какую готовили теоретики застойного периода самому Брежневу.

В эпоху «развитого социализма» все больший вес приобретал человек, которого называли «серым кардиналом». Теперь о нем почти не вспоминают. Как нельзя все списывать на Хрущева, так нельзя все валить на Брежнева. Суслов любил держаться в тени. Не двигала ли эта тень своего «хозяина»?

Мне не раз приходилось встречаться с этим человеком, но я не могу утверждать, что знал его хорошо. Сказанное скорее штрих к портрету высокопоставленного партийного функционера.

Высокий, худой, с впалыми, часто небритыми щеками, он ходил или стоял чуть пригнувшись, так как Сталин, Хрущев, да и другие партийные вожди были низкорослыми. Некое небрежение в одежде, особенно в будни, серый цвет лица, редкая улыбка и отсутствие благодушия во взгляде делали его похожим на семинариста, как их рисовали классики русской литературы, – не хватало только хлебных крошек и пепла на лацканах пиджака. Даже в пору абсолютной моды на френч и гимнастерку Суслов носил цивильный костюм. Михаил Андреевич считался партийным интеллектуалом и не хотел связывать свой облик с военными чертами. (Исключение составили только годы войны.) Он умело пользовался эвфемизмами и даже врагов и отступников громил стертыми штампованными фразами, уберегая себя от волнений, ибо из-за слабого здоровья ценил жизнь превыше всего.

Деревенский паренек Суслов рано, в самые первые послереволюционные годы обнаружил две страсти – к учению и участию в контрольных органах. Окончил престижный в ту пору институт народного хозяйства имени Плеханова. Стал лектором. В 1931 году он оставил преподавательскую деятельность в институте Красной профессуры и МГУ и начал трудиться в

Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Наркомате рабоче-крестьянской инспекции. Вот тут-то и пригодились главные черты его натуры, жесткость к людям, маскируемая как презрение к вероотступникам. В начале 30-х годов Суслов занимался чисткой партийных рядов под непосредственным руководством Кагановича, был замечен как «непреклонный» следователь и в 1937 году занимал уже самостоятельную должность в Ростовской области. Здесь он выдвинулся до должности одного из секретарей обкома по идеологической части. Затем, в 1939 году, его перевели в Ставропольский край. Суслов работал там уже первым секретарем крайкома партии. Он запомнился выполнением сталинского приказа о выселении 70 тысяч карачаевцев, населявших в Ставрополье автономную область, в Среднюю Азию и Казахстан. Причиной гнева вождя были случаи сотрудничества некоторых карачаевцев с фашистскими властями в пору оккупации края. Высылка целого народа проводилась уже после освобождения Ставрополья от фашистских войск, в 1943 году. По сути, это был геноцид: десятки тысяч невиновных людей стали ссыльными. Подобная мера распространилась и на другие народы.

В 1944 году Суслов – в Прибалтике. И здесь он послушный исполнитель сталинских установок об очищении молодых советских республик от неугодных. Вновь десятки тысяч людей подверглись репрессиям. Вполне закономерно в 1947 году Суслов стал секретарем ЦК.

Упрочению положения Суслова как идеологического спеца послужил и такой малый случай. Сталину срочно понадобилась какая-то цитата из Ленина, помощник генералиссимуса Поскребышев поздним вечером не смог получить необходимую справку в институте Маркса-Энгельса-Ленина, и на подмогу пришел Михаил Андреевич. Он был обладателем редкой коллекции – собирал картотеку цитат классиков марксизма-ленинизма и хорошо помнил, в каком из ящичков что хранится. Цитату передали вождю, упомянув, очевидно, чрезвычайную мобильность в данном деле нового секретаря ЦК.

Уже при Сталине Суслов завоевывает надежные позиции в ЦК. Смерть Жданова летом 1948 года освобождала ему место в рядах теоретиков-пропагандистов сталинского учения.

Таким он и оставался практически всю жизнь, меняя, как хамелеон, свою окраску, сообразно ситуациям и единственному принципу: быть наверху, в тех партийных эшелонах, куда удалось ему подняться ценой больших усилий, в результате сложной вереницы заранее рассчитанных ходов. После смерти Сталина Суслов временно уходит в тень, не выказывая своих амбиций,

довольствуется лишь присутствием на сцене. Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович, Микоян, Хрущев, занятые своими судьбами, как бы теряют его из вида, оставляя в одиночестве. Но Суслов знает, что даже гордое одиночество, по сути, смертельно для его карьеры. Он делает ставку на Хрущева, активно проявляет себя в качестве независимого и принципиального сторонника обновления. Любовь и преданность Сталину, если и не забыты, то в данный момент отложены, закамуфлированы. Голос Суслова – критика сталинского произвола – звучит на XX съезде партии. Он твердо ориентирован на поддержку коллегиальности, критический анализ прошлого и т. д. Мало кто догадывается, что все эти политические демарши – по сути, удушение в себе самых дорогих привязанностей, да и только ли Суслову приходилось это делать?!

Хрущев, нуждавшийся в ученом-толкователе, однако, проникается симпатией не к Суслову, а к более образованному и обаятельному профессору Шепилову, но тот предательски неожиданно примыкает к «семерке» просталинистов, пытавшихся в июне 1957 года свалить Хрущева. Суслов и здесь оказывается в выигрыше: уход Шепилова делает его положение в Президиуме и Секретариате ЦК более надежным.

Суслов интуитивно чувствует, что при Хрущеве необходимо держаться осторожно, проводить угодные аппарату решения без излишнего шума и огласки, никак не претендовать на равноправие при обсуждении идеологических проблем.

Когда Хрущев начал готовиться к XXII съезду КПСС и на повестку дня встал вопрос о новой Программе партии, Суслов не выставил себя в качестве главного советчика Хрущева, давая возможность Первому секретарю партии прежде всего выразить собственные взгляды.

Никита Сергеевич отнесся к подготовке Программы с большим вниманием. В течение многих месяцев 1960–1961 годов он непременно выкраивал время для диктовок своих соображений по коренным проблемам будущего партийного документа. Технология работы Хрущева была такая. Он получал заготовки от разных отделов ЦК, консультантов, внимательно изучал их, затем собирал небольшую редакционную группу и начинал высказывать свои суждения, предложения, руководствуясь при этом сугубо жизненными наблюдениями, никак не сопрягая размышления с устоявшимися стереотипами «книжного марксизма-ленинизма». Как и большинство людей своего времени и образованности, Хрущев никогда не углублялся в теоретические глубины, его понимание основных черт ленинского учения о государстве, революции, социализме носило скорее практический характер и

лишь обрамлялось минимумом цитат и положений, которые он чаще всего слышал или произносил сам, когда ему эти цитаты готовили, в том числе из коллекции Суслова.

Уже в ходе работы над Программой партии Хрущев поставил ряд смелых проблем: о характере диктатуры пролетариата на современном этапе, исходя из того, что прежнее понимание диктатуры как фактора насилия и принуждения себя исчерпало, о превращении социалистического государства рабочих и крестьян в общенародное, о коммунистической партии как партии всего народа и ряд других. Убедительность аргументов Хрущева никак не связывалась с «установочными», а точнее сказать, с догматическими положениями, рассыпанными по многочисленным учебникам и статьям партийных идеологов, но эклектика его взглядов несла в себе привлекательные черты.

Надиктованные Хрущевым материалы после стилистической обработки редакционной группой рассылались наверх, секретарям и членам Президиума ЦК, в том числе секретарям ЦК, членам идеологической комиссии – Суслову, Пономареву, Андропову, Ильичеву, то есть тем, кто формально охранял теоретические «кладовые», наблюдал за тем, чтобы ничто не нарушало писаные и «неписаные» законы того, как следует понимать Ленина и применять его учение. Эти люди в большинстве своем (иногда и против воли) оказывались скорее не хранителями ленинского наследия и заботились не о его развитии, а выступали защитниками «буквы», наводя страх на тех, кто грешил вероотступничеством. Суслова раздражали (если не более) новые мысли Хрущева, но он вынужденно мирился с «необразованностью» первого лица, уступая ему и по мере сил подправляя сказанное Хрущевым в духе «вечных истин». Хрущев раздражался, видя, как его соображения тонут в потоках прежних стереотипов, и резко критиковал Суслова за талмудизм и начетничество. Суслов мирился, уходил в себя и копил неприязнь к Хрущеву. Он предпочитал держаться подальше от Хрущева, заниматься рутинными идеологическими вопросами, которые чаще всего не доходили до Хрущева.

И все-таки Хрущев нуждался в Суслове. В особенности, когда речь шла о международном коммунистическом и рабочем движении, о разногласиях, возникших с Китайской компартией, компартией Албании и в ряде других случаев. «Непреклонность» Суслова олицетворяла верность КПСС ленинскому учению, а кроме того, волею обстоятельств Суслов был единственным в Президиуме ЦК специалистом по марксизму-ленинизму, Ю. В. Андропов, Л. Ф. Ильичев и Б. Н. Пономарев стали секретарями ЦК только после XXII съезда КПСС и еще не набрали

формы для активного противодействия Суслову. Выдвигая этих людей в секретариат ЦК, Хрущев со временем предполагал, конечно, порушить монопольное положение партийного идеолога.

Не знаю, насколько точным оказался выбор Хрущева. В этой «тройке» лишь Ю. В. Андропов пользовался, бесспорно, активной поддержкой Никиты Сергеевича. Разочарование Хрущева вызвало, например, поспешное «самовыдвижение» Ильичева и Пономарева в число академиков. Хрущев бушевал, считал это использованием служебного положения (секретари ЦК ставят академиков перед проблемой «лояльности») и, конечно, догадывался, что сие произошло под «прикрытием» его имени. Не могли же послушные ученые мужи предполагать, что никакого обсуждения этого выдвижения с Хрущевым не происходило. Хрущев даже ставил вопрос о лишении академической неприкосновенности Ильичева и Пономарева, но потом смирился, не хотел ставить того и другого в неловкое положение. Тем более что оба верой и правдой служили самому Хрущеву.

В кулуарах ЦК избрание новых академиков тоже вызвало волну критических высказываний, здесь особенно горячился А. Н. Шелепин, человек строгих служебных и человеческих правил. Погоня за учеными званиями была пресечена распоряжением о том, что сотрудники аппарата не имеют права выставлять свои кандидатуры для защиты докторских, кандидатских диссертаций, равно как не имеют права занимать без соответствующих согласований общественные должности в составе различных правлений, обществ, редколлегий и т. д.

Среди «вольностей», которыми одарил Брежнев сотрудников аппарата, было снятие данного запрета. «Бум» защиты докторских, кандидатских диссертаций проник буквально во все отделы не только ЦК, но и местных партийных комитетов – от республиканских до районных. В конце 60-х годов из многих моих прежних знакомых лишь единицы не обладали «корочками» докторских дипломов. Докторами наук становились, конечно, и заслуживающие этого ученого звания люди, но подавляющее большинство, как говорится, спешили «урвать» и от научного «пирога». Доктором наук стал заведующий отделом пропаганды В. И. Степаков, снятый вскоре за включение в тезисы к 100-летию со дня рождения Ленина цитату Бернштейна, приписав ее Ленину. Его докторская диссертация была посвящена проблемам пропаганды марксизма-ленинизма в условиях развитого социализма (?!). Трагикомическая история разыгралась с избранием в Академию наук заведующего отделом наук ЦК Трапезникова, давнего друга Брежнева. Под сильным нажимом с

третьей или четвертой попытки Трапезникову удалось пробиться в члены-корреспонденты. Следующий шаг в полные академики давался с еще большим трудом. Старейшие члены академии и слышать не хотели о допущении его в свое научное братство. Специально к собранию академии, на котором решался этот вопрос, выпустили книгу Трапезникова, посвященную проблемам организации сельскохозяйственного производства. (Отпал довод его противников, где писаные труды.) И все-таки президент АН А. П. Александров не мог гарантировать своему патрону по ЦК стопроцентный успех. Старый, заслуженный ученый, не обладавший, к сожалению, никакой волей к защите достоинства академии, собрал своих наиболее влиятельных коллег и обратился к ним с просьбой-обещанием, которая звучала примерно так: «Если мы изберем Трапезникова в академики, он обязуется уйти на пенсию с поста заведующего отделом науки, что само по себе важнее, чем его пассивное присутствие в наших рядах».

Трапезников не был избран академиком и не ушел из ЦК.

Только ли амбиции двигали этими людьми? Отнюдь. Обеспечивалась надежность тыла. При любых смещениях звания доктора наук, а тем более члена академии предполагали получение более престижной должности.

В Москве шутили, что таким нехитрым способом аппарат ЦК стал реальным носителем научно-технического прогресса. Процент докторов наук в иных отделах превышал соответствующий показатель в научно-исследовательских институтах.

Надо сказать, что сам Суслов был чужд подобных поползновений. В том образе аскета, который он умело создавал сам и который создавался вокруг его имени, данное обстоятельство играло известную роль. Показной аскетизм Михаила Андреевича, скромность его семейного быта и т. д. имеют под собой весьма условное обоснование. «Неброскость» поведения, замкнутость, нелюбовь бывать на людях, в общественных местах, например в театрах, на выставках, расценивалась как сверхзанятость, суровость и т. д. Однажды Суслов посетил Париж, присутствовал на съезде Французской компартии, в свободный день ему предложили посетить Лувр. Он отказался – его это не интересовало.

На всех заседаниях, где мне приходилось видеть Суслова, он всегда что-то писал, практически не обращая внимания на ораторов. По ходу заседания к нему непрерывно подходили помощники, склоняли головы, вручали папки с бумагами, забирали те, что просмотрены. Из месяца в месяц, из года в год

создавался образ великого труженика. Неверным было бы утверждать, что это надуманная мизансцена. Суслов, бесспорно, верил в надобность того, что выходило из-под его пера, как верят в это графоманы.

Все это смешивалось с личным желанием рисоваться в общественном мнении, в том числе и среди своих коллег, человеком единой страсти – служения идеалам коммунизма. При всем этом Суслов умело пользовался всеми привилегиями лица его положения, и не только сам, но и его семья, ничем не отличавшаяся от всех других в данном ранге. Все разговоры о том, что с утра и до вечера Суслов ел только овсяную кашу, более чем наивны.

В брежневские годы, особенно в середине 70-х годов, когда Суслов завоевал полное расположение хозяина, почувствовал его зависимость от себя, Суслов чуть приоткрылся. Стал вальяжнее. Как и Брежнев, безумно полюбил хоккей и не пропускал с внуком главных хоккейных представлений.

Важны, однако, не эти аксессуарные подробности. Какова природа, стержень натур, подобных Суслову? В чем успех их долгих карьер? Обычно такие люди говорят и считают, что они служат не тому или иному патрону (Сталину, Хрущеву, Брежневу), а партии.

Сразу после XXII съезда КПСС Хрущев хотел перевести Суслова из ЦК на должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он советовался на этот счет с Микояном, Косыгиным, Брежневым. Разговор они вели в воскресный день на даче и не стеснялись моего присутствия. Поручили Брежневу высказать Суслову по телефону это предложение. Брежнев вернулся и доложил, что Суслов впал в истерику, умоляя не трогать его, иначе он предпочтет уйти в отставку. Хрущев не настаивал. Кадровые перемещения на таком уровне отнюдь не просты, и нелепо считать, будто одного слова первого лица достаточно, чтобы изменить положение человека. Формально пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР был не меньший, чем у секретаря ЦК, но Суслов понимал, что в данном случае облегчалась бы возможность отстранения его от большой политики.

Раздражение Хрущева по отношению к Суслову нарастало. Я уже рассказывал о гневе Никиты Сергеевича по поводу сусловских предложений о кинематографе и том решении, которое на этот счет готовилось Сусловым. Хрущев считал, что Суслов просто «не тянет», недостаточно энергичен, разворотлив. Тот «кинематографический» эпизод вылился в очередную кадровую чехарду. Хрущев потребовал, чтобы председатель Госкино (им в

ту пору был А. В. Романов) стал одновременно и заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК. По мнению Хрущева, это обеспечивало бы большую долю партийной ответственности. Идеологические неурядицы, неуправляемость событий в писательских, художнических кругах, в театре и музыке нервировали Хрущева, а гнев сыпался на голову Суслова. «Нам приходится заниматься поросятами и удоями, работой промышленности, а ваша беспомощность заставляет нас влезать в идеологические дела», – раздраженно выговаривал он Суслову.

Ужас состоял в том, что Суслов хотел вроде бы того же самого, чего добивался от него Хрущев, – «завинчивания гаек». Михаил Андреевич с удовольствием соорудил бы новые варианты ждановских постановлений ЦК о литературе, музыке, живописи, но никак не мог выработать приемлемый для Хрущева вариант. Думаю, что и сам Хрущев не смог бы сформулировать точно, чего же он хочет во взаимоотношениях с творческой интеллигенцией. Эта нервозность, растерянность и привела Хрущева к ссоре с интеллигенцией, а Суслова – в ряды его злейших врагов.

Суслов долго и упорно сопротивлялся намерениям журналистов образовать свой творческий союз. Известный публицист Д. Ф. Краминов, взявшийся «пробить» этот вопрос через Суслова, долго обивал пороги его кабинета. Наконец, под давлением многих редакторов, Суслов все же разрешил представить в ЦК проект решения. При обсуждении этого документа из него было исключено практически все, что позволяло создать хоть какое-то подобие именно творческой общественной организации, скорее, это была вывеска, необходимая только для связей с зарубежными журналистскими организациями. Лишь после того, как главный редактор «Правды» П. А. Сатюков пригласил на первый съезд Союза Н. С. Хрущева (1958 год), а тот, в свою очередь, – всех других членов Президиума ЦК, нам показалось, что дело пойдет.

Съезд прошел на большом подъеме, мы были полны радужных надежд, но сусловское «проклятие» все еще с нами: Союз журналистов не приравнен к творческим и до сих пор остается ущербным, лишенным тех возможностей, которыми располагают другие творческие союзы: писателей, кинематографистов, театральных деятелей, музыкантов, художников и т. д.

Много позже описываемых событий, после октября 1964 года, когда все уже было позади не только для Хрущева, но и для меня самого, я решился спросить Никиту Сергеевича, как терпел он возле себя догматика Суслова, послужной список которого отпугивал от него большую часть интеллигенции? Хрущев

грустно ответил, что поверил в искренность Суслова на XX съезде и после июньского Пленума ЦК в 1957 году.

Даже в преклонные годы Хрущев был наивен, не принимал в расчет аппаратных игр. Ему и в голову не пришло, что Суслов только потому «примкнул» к Хрущеву, что знал выбор «семерки» просталинистов. Они предпочли взять себе в идеологи Шепилова.

В характере Суслова были черты, делавшие его злопамятным по отношению к людям. Решив что-то, он не считался ни с какими доводами. Фрондой считал любое проявление инакомыслия. Разглядывая холодными глазами собеседника, который ему что-то объяснял или возражал, Суслов быстрым движением языка облизывал постоянно пересыхающие губы и бросал непререкаемое. Так, о фильме Э. Климова «Агония» Суслов после просмотра сказал всего несколько слов: «Нечего копаться в грязном белье царской фамилии» – и все. Таким же манером он не принял еще десяток фильмов, и они легли в «могильник» Госкино. Суслов знал, что роман Солженицына «Один день Ивана Денисовича» представил на суд Хрущева его помощник Владимир Семенович Лебедев, что Лебедев согласовывал с Хрущевым и ряд других «неугодных» публикаций: книгу Э. Казакевича «Синяя тетрадь», поэму Твардовского «Теркин на том свете» и ряд других. После смещения Хрущева Лебедева изгнали из аппарата ЦК, направили на самую маленькую редакторскую должность в Политиздат и целым рядом придирок довели больного человека до печального конца. Не знаю уж, что остановило Суслова, требовавшего высылки всей моей семьи из Москвы. В отделе пропаганды ЦК, куда меня вызывали в течение многих недель и запугивали страшными карами, если я откажусь, отчетливо чувствовался «приказ Суслова». Но я все-таки отказался.

Полвека этот человек подвизался в верхних и самых верхних эшелонах партийной власти. Конец жизни ему выдался тяжкий.

Перед самой смертью, скоротечной и для многих неожиданной, по-видимому, произошла крупная ссора с Брежневым. Так, во всяком случае, говорили в Москве весьма осведомленные люди. Какому-то кругу лиц необходимо было убрать с политической арены Суслова еще до возможной кончины тяжко больного Генерального секретаря. Эта группа лиц предполагала, что Суслов вполне может оказаться преемником на высоком посту, ведь за ним шла слава старейшего и опытнейшего руководителя, теоретика, он импонировал многим партийным функционерам. Суслов не стал ожидать крупного разговора на Президиуме ЦК и сам уехал в больницу на диспансеризацию. Не пережив стрессовой ситуации, скончался.

И во время освобождения Хрущева, и после давалось немало

заверений в необходимости улучшения руководства делами страны, восстановления коллегиальности. Эти заверения были восприняты с надеждой. Однако становилось все яснее, насколько расходятся слова и дела. По сути, взяли реванш те силы, которые хотели спокойствия, благополучия, «надежного» вождя – защитника интересов бюрократической группы лиц, все больше удалявшейся от народа.

Смещение Хрущева с высоких партийных и государственных постов хоть и было для многих громом среди ясного неба, однако большого сожаления не вызвало. Это событие нашло необычайно бурный отклик за границей. В стране почти во всех социальных группах общества обозначились те или иные претензии к Хрущеву. Военным он срезал пенсии, а также слишком часто проводил сокращения армии. Держатели займов ставили ему в вину прекращение тиражей, забыв о том, что и подписка на займы с 1957 года не проводилась. Вспомнили денежную реформу, вернее, изменение курса рубля, кукурузу, разъединение обкомов партии, ликвидацию министерств, совнархозы. О недовольстве части творческой интеллигенции я уже говорил. Хотя и признавалась всеми заслуга в освобождении миллионов невинных от гнета, репрессий, клеветы, от страха. Для политического деятеля одного этого достаточно, чтобы оставить по себе добрую память. Однако она может быть устойчивой и глубокой только при объективной оценке роли и места личности в историческом процессе.

Прошло почти четверть века, а меня все занимает даже не сам факт происшедших тогда перемен, а до удивления простая «технология» их претворения в жизнь. Фактически ни партия, ни страна не услышали никаких аргументов, никаких серьезных обоснований – ни «про», ни «контра». Никаких дискуссий, горячих речей, никакой информации: в апреле кричали «ура», в октябре «долой». Мы так и не узнали, что хотел сказать Никита Сергеевич в час, когда решалась не только его личная судьба.

Как же все-таки случилось, что люди, поддержавшие Хрущева в 1957-м, организовавшись вновь в 1964 году, свергли его? Поначалу в Хрущеве видели «своего»: партийного работника, прошедшего все ступени партийной лестницы, человека, избавлявшего от страха перед волнами сталинских репрессий, косивших аппарат с непредсказуемой жестокостью. Находила поддержку открытость Хрущева, резкая критика им недостатков, стремление опереться на новые силы.

Однако новаторский стиль принимался и понимался лишь до той поры, пока он шел пусть в обновленных, но сложившихся стереотипах. Чем сложнее становились задачи, чаще срывы,

тяжелее ноша, тем активнее в душе бывших приверженцев Никиты Сергеевича накапливалось раздражение. Иным, не таким, как в начале 50-х, становился и сам Хрущев, и его окружение. С годами верхний аппарат партийного управления разбился на группы и группки. Амбиции и психологическая несовместимость рождали неприязнь друг к другу.

Выйти на открытый спор с Хрущевым, провести демократичный Пленум ЦК, высказать критические замечания, потребовать смещения «Первого» перед лицом партии и народа заварившие кашу не посмели, испугались. И тогда самым надежным вариантом оказался тот знакомый уже сценарий, по которому действовали в 1957 году. С той разницей, что тогда в партии хорошо знали, как и что происходило наверху, за что идет сражение.

Пленум, освобождавший Хрущева, обошелся без единого выступающего. Подал реплику член ЦК Лесечко, в чем-то обвинял Хрущева. Его, по сути, не слушали. Все решилось за день до Пленума. А Пленум молча выслушал короткое выступление Суслова, отметившего, что в последние годы с Хрущевым стало трудно работать, что «культ Хрущева» мешает коллегиальному руководству, и, не вдаваясь в подробности, лишил Хрущева всех его постов.

В ту пору мне часто говорили, что о готовившемся смещении Хрущева было известно «всей Москве» летом, и странно, что я не слышал об этом. Наверное, все-таки не знали и не слышали многие. Хрущев верил в незыблемость своего авторитета, а скорее всего, в неспособность тех, кто был возле него, «поднять руку» на первую персону в партии.

Расчет Игнатова получить за «услугу» повышение и вновь войти в верхнее руководящее ядро оказался неверным. На Пленуме ЦК его положение не изменилось к лучшему – он оставался на посту Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Спустя некоторое время Игнатов возглавил делегацию депутатов Верховного Совета в Бразилию. Там он тяжко заболел. Говорили, что в его организм попал какой-то странный микроб или вирус; спасти Игнатова не удалось.

Я уже писал о том, что на Пленуме Суслов бросил в мой адрес несколько уничижительных реплик, в том числе и о том, что я чуть ли не исполнял при Хрущеве обязанности министра иностранных дел на общественных началах.

Когда сегодня мне приходится отвечать на этот вопрос, я не оправдываюсь, не произношу заклинаний: «Что вы, что вы, это неправда». Отвечаю так: всякий журналист, встречающийся с видными зарубежными политическими и государственными

деятелями, задающий им вопросы, невольно становится и дипломатом тоже. Президент Кеннеди, когда я брал у него интервью, сказал, что наша встреча носит скорее политический характер и не совсем отвечает традиционным представлениям о подобных беседах. Это не смущало президента, да и меня тоже. Я не видел и не вижу тут ничего дурного, тем более что не собирался прощаться со своей профессией журналиста. Во всяком случае, в то время она была куда интересней нашей малоподвижной, угрюмой дипломатии.

Что касается запущенной в оборот версии, то нетрудно было догадаться о ее происхождении. У меня на этот счет есть совершенно точное свидетельство, и, пожалуй, наступило время рассказать о том, как такие небылицы рождаются.

Летом 1964 года небольшая делегация известинцев – международные обозреватели газеты В. Леднев, Н. Полянов, Е. Пральников и я с женой – отправились в ФРГ по приглашению трех западногерманских газет, близких к правящей коалиции ХДС/ХСС.

Ехать очень не хотелось. Страшная жара стояла в то лето в Европе. Горели леса и поля, можно было предположить, что «время отпусков» лишит нас возможности провести интересные встречи. Правда, хозяева газет «Рурнахрихтер», «Райнише пост», «Мюнхен меркур» обещали насыщенную программу. Мы отправились. Уж очень настойчиво советовали в Москве совершить эту важную поездку, намекая при этом, что мы разведываем пути для более важных визитов.

В июле мы вернулись домой, успели выпустить небольшую книгу «Мы видели Западную Германию», получили немало писем из ФРГ, которые свидетельствовали о желании западных немцев развивать с нашей страной дружеские связи. Мы беседовали в ФРГ с канцлером Эрхардом, Вилли Брандтом, крупными промышленниками, рабочими-шахтерами в Руре, спускались с ними в подземные выработки, посещали сталелитейные заводы и фирмы. Генеральный директор фирмы Круппа господин Байте, один из самых важных менеджеров западногерманской промышленности, прервал отпуск, чтобы принять советских журналистов. Состоялось множество дискуссий, интервью брали мы и брали у нас – все как обычно.

В наших газетах мы «крестили» премьера Баварии господина Штрауса самыми грубыми словами, отыскивали в его биографии и речах все негативное, черное. У Штрауса, видно, возникло желание проверить советских журналистов на храбрость: не откажутся ли они от встречи? Он пригласил нас на обед, выставил ряд ледяных бутылочек с разными сортами пива. Я не

очень люблю этот напиток и, сославшись на то, что от пива прибывает вес, не стремился соревноваться с хозяином. Штраус посоветовал бросать в пивной стакан дольку лимона – тогда, дескать, пиво так не полнит.

Когда я смотрел его интервью по телевидению в Москве в 1988 году, я понял, что Штраус явно продолжал пользоваться «лимонным» рецептом. Он прилетел к нам за штурвалом собственного самолета, такой же плотный, энергичный, резкий и точный в суждениях. Его визит в Москву свидетельствовал о понимании им реальностей нового политического мышления и как бы оправдывал нашу давнюю встречу.

Тогда, в Мюнхене, мне передали небольшой подарок Штрауса – карту Германии XVII века. В россыпи городов и городков лежала страна, не обретшая единства. Я хорошо запомнил слова, сказанные мне лейтенантом вермахта Штраусом. Он воевал на восточном фронте и знал, каково пойти с оружием на нашу страну. «Меня всегда поражала и привлекала, – говорил господин Штраус, – ваша любовь к Родине, ваша способность лелеять эту любовь. За века и в нашей, и в вашей истории было немало черных пятен. Согласимся, что каждый народ имеет право не только на исторические воспоминания, но и на то, чтобы исправлять ошибки своими силами».

С этим трудно было не согласиться.

Осенью 1988 года пришло известие о кончине Штрауса. Он не успел осмыслить и реализовать новые возможности советско-западногерманского сотрудничества…

К концу лета 1964 года, когда наша поездка в ФРГ стала уже забываться, отодвинутая другими заботами, раздался звонок из Пицунды. Помощник Хрущева сказал, что сейчас возьмет трубку Никита Сергеевич. Ни разу я не говорил с Хрущевым вот так, по междугородной правительственной связи, и понял, что звонок носит необычный характер. Так и оказалось. «Сегодня же вы должны быть у Подгорного и дать ему ответы по поводу материала, который он мне прислал, и подготовить письменные объяснения».

Хрущев положил трубку.

Подгорный принял меня и сразу же спросил: «Это точно, что именно Хрущев велел прийти ко мне?» Я ответил: «Конечно». Иных причин встречаться с Подгорным у меня не было. Он ведал в ЦК вопросами пищевой промышленности и не имел отношения к идеологии. Просто он в этот месяц был дежурным секретарем ЦК. Подгорный начал зачитывать странную бумагу. Она касалась моей поездки в Западную Германию. Основная мысль сводилась к тому, что некая общественность восприняла этот визит с

возмущением, в особенности мое заявление такого содержания: «Что касается «берлинской стены», как только вернусь домой, скажу папе, и мы ее сломаем…»

В этом месте Подгорный прервал чтение и скорее для себя произнес: «Ну, положим, папой ты его не называешь…»

У меня глаза полезли на лоб не только от «папы». Обвинение было слишком серьезным. (Промелькнула фраза и о министре иностранных дел на общественных началах.) Я сказал Подгорному, что не собираюсь оправдываться по поводу услышанного. Даже если бы я и брякнул что-нибудь о «стене», мои коллеги не перевели бы бред своего редактора. Сам я немецкого языка не знаю, и, по-видимому, требуется разбирательство с Ледневым, Поляновым, Пральниковым, поскольку на всех пресс-конференциях мы выступали вместе…

И вдруг я почувствовал, что у Подгорного пропал всякий интерес к теме нашего разговора. Он свернул бумагу. «Да, тут какая-то ерунда. Разберемся после, я уезжаю в Молдавию…» На вопрос, что мне ответить Хрущеву, Подгорный решительно предостерег: «Не звони ему, я сам все объясню…»

Вернувшись в редакцию, я позвонил Семичастному. Сведения, которые сообщил мне Подгорный, исходили от одного из «доброжелателей», работавших по его ведомству. Семичастный был смущен, говорил что-то невразумительное, а на мой прямой вопрос: отчего эти сведения дошли до Москвы спустя три месяца после моего возвращения из ФРГ, так и не смог ответить. Он сказал, что подобные утверждения получил и Ю. В. Андропов, находившийся в Польше на встрече секретарей ЦК. Андропов тоже разговаривал со мной странно. «Не мог же я, – говорил он, – не сообщить о настроении польских товарищей, тем более что они утверждали, будто располагают пленкой с записью твоих заявлений».

«Надеюсь, можно прослушать эту пленку?» – спросил я Андропова, но он сказал, что не захватил ее с собой: не считал удобным просить ее у польских товарищей.

Помню, я сказал Андропову: «Юрий Владимирович! Дело не шуточное, ведь именно таким образом на нашей памяти творились черные дела…» Андропов не продолжил разговора.

Теперь в самых разных вариантах возникают «версии» той давней истории. Пишут о ней так, будто получили известия из первых рук. Но меня никто никогда не спрашивал, как было на самом деле.

Их подоплеку мне высказал помощник Хрущева Владимир Семенович Лебедев, с которым я как-то встретился уже после смещения Хрущева.

Он спросил, фигурировала ли та записка в числе обвинений, выдвинутых против Хрущева? Я ответил, что на Пленуме об этом разговора не было. «Знаешь, – сказал Лебедев, – странно вел себя фельдъегерь из Москвы. Он требовал, чтобы на пакете расписался сам Хрущев. Никита Сергеевич вскрыл пакет, прочитал бумагу и попросил меня тут же соединить его с «Известиями». Я не понимал, к чему клонил Лебедев. А он закончил свою мысль так: «Представь, что Хрущев не дал бы бумаге спешного хода, не позвонил Подгорному с требованием вызвать тебя, отложил разбирательство до приезда в Москву. Тогда нашелся бы для Пленума еще один аргумент против Хрущева. Спасая зятя, прикрывал его безобразия за границей, да еще прочил его в министры иностранных дел».

Рассказываю это с печалью. Не потому, что жжет меня до сих пор обида: она прошла, как и многие другие. Живы и благоденствуют сочинители и организаторы того доноса. Ничто не поменялось в их натурах. Прикажут – сделают и не такое.

А сплетни живучи. Еще и потому, что ими с легкостью необыкновенной пользуются люди, апломба у которых намного больше, чем интеллигентности. Перефразируя Гамлета, так и хочется сказать: «Знать или не знать – вот в чем вопрос».

Не только меня, но и многих моих товарищей и друзей жег стыд, когда вот так же келейно, как с Хрущевым, решался вопрос об избрании на пост Генерального секретаря ЦК Черненко. Меня, пожалуй, в большей степени, потому что я довольно хорошо знал этого человека. Он работал в Президиуме Верховного Совета СССР в качестве заведующего приемной Брежнева, его главное занятие состояло в обработке почты. Как главный редактор «Известий», я почти еженедельно проводил в его кабинете несколько часов: он зачитывал мне письма, и мы решали их судьбу. Черненко в ту пору был милым, спокойным человеком. Абсолютно далекий от серьезных государственных забот, без яркой жизненной биографии, опыта, он странным стечением обстоятельств с поразительной быстротой взлетел на самый верх партийной лестницы – помощник Брежнева, заведующий отделом ЦК, секретарь ЦК, претендент на пост Генерального секретаря. Почти сразу после его избрания полились восхваления, елей, начали издавать труды, выслушивать поучения и рекомендации. Все это оправдывалось «высшими» соображениями и преемственностью прежнего курса.

И действительно, в новом обличье воссоздавался образ дорогого Леонида Ильича. К. У. Черненко носил уже три звезды Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Ленинской премии. Это награждение, как говорили тогда, прошло по

«закрытому» списку и общественностью не обсуждалось. Черненко был включен в группу архитекторов и строителей, которая занималась «сверхсекретной» работой по переделке и переоборудованию одного из старых зданий Кремля для служебных целей.

Кто же все это делал? Неужели и теперь мы ограничимся безадресным гневом по поводу неких аппаратчиков. Да нет же, имена известны. Это – Романов, Кунаев, Рашидов, Соломенцев, Алиев, Гришин и примыкавшие к ним безликие фигуры, такие как Демичев и Пономарев.

Месяцы тогда текли в стране очень напряженно. В самых широких кругах избрание Черненко на пост Генерального секретаря партии и Председателя Президиума Верховного Совета СССР (в 1984 г.) воспринималось, мягко говоря, с удивлением: до чего мы докатились?! И конечно, многие понимали, что долго так продолжаться не может. Но видели и намерение образовать целую «очередь наверх» из тех политических фигур, которые на многие десятилетия опрокинули бы партию и страну в благие для них годы «стабильности».

Никогда не забуду одну телевизионную передачу. Она велась из больницы, где сникшего, умиравшего Черненко посетил первый секретарь МГК, член Политбюро В. В. Гришин. Он докладывал ему о выполнении Москвой плана товарооборота, будто это был наипервейший вопрос! Вскоре мы узнаем, как выполнялся этот товарооборот московской торговой мафией.

Нет, этот визит состоялся не только для того, чтобы подбодрить больного, а чтобы показать с ним рядом другого человека. Так ненавязчиво был обозначен возможный преемник.

Считались ли эти люди с мнением и престижем 20-миллионной партии коммунистов, с достоинством советских граждан? Апрель 1985 года и та правда, которую мы теперь узнаем, свидетельствуют об обратном.

Нелегкий опыт накопило наше общество. Та буря, которая потрясает его сегодня, – буря очищения, это урок тем, кто думает, что можно избежать ответственности. Рано или поздно, как видим, никто ее не минует. Ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев.

Тихие воды

Местом жительства Хрущева на пенсии был назначен небольшой дачный поселок в Петрово-Дальнем под Москвой, у тихого берега Истры. Прошло немало времени, прежде чем к Никите Сергеевичу вернулось душевное спокойствие. Он

принадлежал к людям, которые все держат в себе, не дают выхода чувствам. За день он мог сказать всего несколько слов. Бродил по заросшим дорожкам парка. Один. А потом собака дочери Никиты Сергеевича Лены, старая матерая овчарка Арбат, признала его хозяином и всегда сопровождала. Я люблю собак и знаю, что преданность их отнюдь не из-за вкусного куска.

К лету следующего за отставкой года Никита Сергеевич начал изредка наезжать в Москву. Побывал на чехословацкой выставке, в театре «Современник» – там после спектакля поговорил с актерами.

Месяц за месяцем проходили годы. Иногда к Никите Сергеевичу наведывались наши друзья, друзья Сергея и Юли – Серго Микоян, Ирина Луначарская с мужем, военным химиком Рафаилом Стерлиным, Роман Кармен, Виктор Суходрев, Владимир Высоцкий, профессор Михаил Жуковский, Эмиль Гилельс, Евгений Евтушенко, Михаил Шатров. Никита Сергеевич увлекался в ту пору фотографией, и его советчиком тут был Петр Михайлович Кримерман, директор магазина фототоваров. Приезжали товарищи Сергея – инженеры, ученые. В их кругу Никита Сергеевич чувствовал себя особенно хорошо. «Технари» были ему понятнее и ближе гуманитариев.

Хрущев внимательно читал газеты, слушал радио, понимал, как далеко уходят его преемники от прежнего курса, но не комментировал. Думаю, не потому, что боялся или был ко всему безразличен. Видимо, не хотел, считал унизительным, недостойным партийца заниматься досужими разговорами. Если кто-нибудь задавал бестактный вопрос, отвечал: «Я на пенсии».

С годами Никита Сергеевич становился мягче, сердечнее, внимательнее к детям. Дочь своего погибшего сына Леонида считал своей дочерью – Юлия воспитывалась в его доме. Мать ее, Любу, арестовали в 1943 году, обвинили в связях с иностранцами и без суда отправили на 15 лет в ссылку. Хрущев об этом с Юлией никогда прежде не заговаривал, а тут во время одной из прогулок стал расспрашивать, как живет сноха, просил передать ей привет. «Можешь гордиться отцом – он был храбрым летчиком, а мама твоя ни в чем не виновата».

Близкие старались навещать Никиту Сергеевича как можно чаще в его уединении, но мы все заняты были своими делами, и многие часы и дни Никита Сергеевич проводил в одиночестве. Ему было тоскливо. Выручали книги. Он запоем читал Толстого, Тургенева, Щедрина… Построил две теплички, завел огород, проводил опыты с помидорами.

В Петрово-Дальнем, кроме Нины Петровны, делила с Никитой Сергеевичем уединение его младшая дочь Лена. Она

тяжело болела, угасала. Умерла вслед за отцом, молодой: ей исполнилось только 35 лет.

В 1965 году в связи с пенсионными делами, пропиской на новой квартире в Староконюшенном переулке и прочим Нина Петровна и Никита Сергеевич обнаружили, что брак их не зарегистрирован. Таким формальностям в пору их молодости не придавалось значения. Позади у них было почти полвека совместной жизни.

Нине Петровне довелось пережить мужа на 13 лет, она умерла в августе 1984-го и похоронена, как того хотела, рядом с Никитой Сергеевичем на Новодевичьем кладбище. В «Вечерней Москве» напечатали извещение в траурной рамочке. Там значилась девичья фамилия Нины Петровны – Кухарчук. Не захотели написать «Хрущева».

Сохранилось несколько листочков записей Нины Петровны о той поре, которые она сделала уже в последние свои годы. При всей их краткости это документальные свидетельства родного человека.

«Не помню точно месяца и года, но Н. С. немного успокоился и решил писать воспоминания о своей работе. Он диктовал на магнитофон. Делал он это регулярно по утрам, иногда и днем. Я переписывала с магнитофонной ленты текст. Когда накопилось много страниц, Н. С. передал пленки Сергею, чтобы перепечатала машинистка. Как-то он сидел рядом со мной и наблюдал, как я печатаю на машинке. Моя работа ему не понравилась: я стучу только четырьмя пальцами, а он привык к профессиональным машинисткам в ЦК, которые писали восемью и десятью пальцами, с большой скоростью. Он даже проговорил разочарованно: «Так-то ты пишешь? И когда закончишь работу?» Так пленки с записями воспоминаний Н. С. и страницы с уже напечатанным текстом оказались у Сергея. Я потом пожалела об этом, может быть, с ними не случилось бы того, что произошло. Их просто отобрали на время болезни Никиты Сергеевича в «государственных интересах» и не вернули.

В связи с этим надо рассказать о встречах Н. С. с бывшими товарищами по работе – встречах, которые укоротили его жизнь. К сожалению, не помню чисел, но последовательность хорошо помню. Первая состоялась с А. П. Кириленко. Н. С. долго не возвращался, наконец, приехал очень возбужденный и сразу пошел гулять к реке. Я тоже пошла с ним. Долго он ходил молча, а потом заговорил. Кириленко вызывал его для того, чтобы запретить ему писать мемуары, и потребовал сдать в ЦК уже написанное. На это Н. С. ответил, что ему могли бы дать стенографистку, и тогда все его воспоминания оказались бы не

только у него, но и в ЦК. Этого сделать не захотели. Отдать материалы он категорически отказался, поскольку они еще нуждались в доработке. Далее Н. С. сказал, что запретить ему писать никто не имеет права, это противоречит Конституции нашего государства. Н. С. напомнил, что царь запрещал Т. Г. Шевченко писать и рисовать, и что из этого получилось? Шевченко читает весь мир, а кто помнит его преследователей? Кроме того, мемуары в нашей стране пишут тысячи людей, им никто не препятствует, а почему ему, Н. С., хотят запретить? Где логика? Н. С. сказал, что он сорвался, повысил голос… На следующий день Н. С. увезли в больницу в машине «скорой помощи» с тяжелым инфарктом. Он долго лечился, а по возвращении оттуда часами лежал на веранде возле спальни, медленно выздоравливал. Доктор Владимир Григорьевич Беззубик приезжал очень часто. А те недели Н. С. внимательно, даже с любовью смотрел на небо, на сосны, на яблони и цветы в саду…

Однажды я задержалась в Москве дольше обычного и не застала Н. С. на даче. Он приехал через два с лишним часа, попросил раскладной стульчик и сел под сиренью у порога. Я ждала, когда заговорит. Позвали ужинать – отказался. Через некоторое время стал рассказывать. Звонили ему по телефону из аппарата Пельше. Пельше сказал, что за рубежом напечатана книга мемуаров Н. С. Хрущева. Как туда попали его мемуары? Кому Н. С. их передавал? Он ответил, что никому свои записи не передавал – ни у нас, ни за рубеж, они еще не приведены в такой вид, чтобы их можно было передавать в печать, он и не передал бы их никогда за рубеж… Пельше спросил, что же это значит? Книга фальшивая? Как нам выйти из этого положения? Надо опубликовать опровержение… Н. С. согласился. Пельше сочинил текст, Н. С. отверг его и написал свой вариант, который и был опубликован в «Правде». Там было сказано, что мемуары не были переданы в печать ни у нас в стране, ни за границу. Пельше настаивал, чтобы Н. С. вставил фразу о том, что он не пишет и не писал никаких мемуаров. Н. С. не согласился, и опровержение пошло в печать без этой фразы. Визит к Пельше также закончился инфарктом.

Н. С. выздоровел, но не оправился от болезни, долго чувствовал слабость. Диктовать он перестал. В один из дней первой недели сентября (1971 г.), 5-го или 6-го числа, Н. С. вернулся от Рады. Пошел гулять после обеда, понес стульчик с собой, но скоро вернулся. Ночью у него болело сердце, я дала ему нужные лекарства, боль прекратилась, он уснул. Утром встал, умылся, и опять заболело сердце. Приехал доктор Беззубик с

сестрой, сделали укол, увезли в больницу с третьим инфарктом. Н. С. настоял, чтобы ехать сидя, может быть, это ухудшило его состояние. В больнице сам шел по коридору, в палате долго разговаривал с персоналом, а ночью стало ему плохо, и 11 сентября Н. С. ушел из жизни».

Никита Сергеевич несколько раз приезжал к нам в дачный поселок в районе Икши. Здесь Никиту Сергеевича встречали приветливо, с почтением. Он становился общительным, как прежде. Любил ходить за грибами, поговорить с соседями – летчиками-ветеранами. В тот день, о котором пишет Нина Петровна, он дошел до опушки леса, попросил моего сына Алешу принести ему складную трость-стульчик. Долго сидел грустный. Сказал, что ему неможется, и уехал. Рада словно почувствовала что-то, поехала вслед. Вскоре он был уже в больнице.

Хрущев умирал. Перед смертью попросил Раду принести ему соленый огурец. Рада успела съездить на рынок. Никита Сергеевич поглаживал руку дочери и с трудом говорил: «Ну, где твоя мама, она так нужна мне сейчас…» Быть может, он хотел что-то сказать на прощанье?

Через два дня после смерти Никиты Сергеевича Нине Петровне было передано, что похороны должны носить сугубо семейный характер, никаких официальных церемоний. «Хороните как обычного гражданина…»

Больница, в которой скончался Хрущев, находится в центре города, в двухстах шагах от дома на улице Грановского, где Никита Сергеевич поселился в 1940 году и куда вернулся в 1949-м, став секретарем ЦК и МК партии. Никакого зала в городе для прощания с Никитой Сергеевичем не нашлось, и гражданская панихида состоялась в морге загородной больницы.

Морг – печальное место, а этот, в Кунцево, не очень был приспособлен для изъявлений скорби и сочувствия. Унылый зал, где едва поместились несколько десятков самых близких семье людей. Они приехали несмотря на то, что о месте и времени панихиды никаких сообщений не было.

Члены семьи не ждали пышных церемоний, однако уровень происходящего подчеркивал неприязнь к покойному в высоких сферах.

В последние годы жизни Никита Сергеевич, конечно, понимал, что судьба не уготовила ему места ни в Кремлевской стене, ни тем более рядом с Мавзолеем, где покоятся теперь друзья-соратники – Брежнев и Черненко. Думаю, это его не печалило. Он не раз говорил, что настало время прекратить захоронения на Красной площади, ибо она может превратиться в кладбище, а предавать земле тех, кто достоин памяти народа, в

специальном Пантеоне. Был даже соответствующий проект, но его так и не реализовали.

Хоронили Никиту Сергеевича на Новодевичьем кладбище, которое издавна, с дореволюционных времен, считалось в городе самым престижным. Сталин похоронил здесь Надежду Сергеевну Аллилуеву и в первые годы после ее смерти приезжал на могилу.

Немало на Новодевичьем и других «знаменитых могил». Людские судьбы в перекрестье времени напоминают о тщете жизни. «Великие живые» становятся безвестными, и могилы их стоят неприбранными, а в историю возвращаются имена забытых и непризнанных…

…Мы подъехали к кладбищу. Около железных ворот стояли уже около двухсот человек. На противоположной стороне улицы толпились случайные прохожие. Оттуда раздались голоса: «Почему не пускают?»

Место для могилы было выделено на дальнем участке новой территории кладбища, в трех метрах от красной кирпичной стены, ограждавшей город мертвых. Позже часть стены разобрали, прирезали к кладбищу несколько сот квадратных метров, и могила Хрущева теперь не крайняя.

Шел мелкий осенний дождь, как говорят в таких случаях, «плакало небо». Каждый человек сугубо индивидуально воспринимает и смерть близких, и тот обряд, которым сопровождаются похороны. Соответственно вели себя те, кто стоял у гроба Никиты Сергеевича. Мне запомнилось мельтешение каких-то лиц, взвинченная, нервозная атмосфера, спешка, с какой действовали те, кто пришел на кладбище по служебным обязанностям и поторапливал собравшихся: «Прощайтесь, не задерживайтесь».

Только уже дома, где за поминальным столом собрались друзья семьи Никиты Сергеевича, каждый сказал то, что хотел…

Мы с женой часто возвращались к тяжкому дню, но все, что оставалось в нашей памяти, носило скорее эмоциональный характер. Подробности для нас тоже были важны. Историк Георгий Борисович Федоров, давний знакомый Рады, сказал ей как-то, что у него есть запись событий того дня, и с его разрешения я привожу ее: «Хмурым сентябрьским утром 1971 года мы с женой Марианной Григорьевной отправились на Новодевичье кладбище на похороны Никиты Сергеевича Хрущева. Никакого официального объявления о дне, месте и времени похорон не публиковалось, но мы узнали, когда и где они будут. Когда подходили к Новодевичьему кладбищу, то уже задолго до подступов к нему были поражены огромным количеством войск. Грузовики, крытые брезентом и битком набитые солдатами-

автоматчиками, стояли вокруг Новодевичьего кладбища. Бегали офицеры, кричали по рации: «Тринадцатый, ты слышишь? Говорит первый, прием», – и так далее. Было такое ощущение, что этот район Москвы не то оккупирован какими-то воинскими частями, не то эти войска собираются выступить в поход. А дальше располагались кольцом вокруг кладбища пять цепей. Четыре из них состояли из различных милицейских чинов, а пятая, расположенная ближе всего к кладбищу, в основном состояла из людей в штатском, но встречалось и некоторое количество военных с голубыми кантами на погонах. На внешнем кольце милицейской цепи жались кучки людей, которых не пропускали к кладбищу. Время от времени кто-нибудь из них тщетно пытался пройти, но их довольно грубо отбрасывали назад. Я подошел к той цепи и спросил у ближайшего милицейского офицера: «Кто у вас здесь главный?» Он показал мне на немолодого уже полковника милиции. Я подошел к нему: «Товарищ, мы с моей женой знакомы с дочерью покойного, и было бы странно, чтобы в такой день мы не оказались там, возле нее. Пропустите нас, пожалуйста». Он спросил меня: «Вы действительно знакомы с ней?» Я ответил: «Да, действительно». Полковник махнул рукой: «Проходите!» Мы прошли, причем – неожиданная удача – сразу через четыре цепи. Я решил использовать этот, уже оправдавший себя прием и в пятой цепи. Обратился к ближайшему человеку, который в этой цепи стоял. Он был в плаще типа «болонья», лет тридцати, и я сказал ему: «Пропустите меня, пожалуйста…» Тут он прервал меня и отрезал: «Нет, не пропущу». Я рассердился: «Ну как же так, вы не знаете, кто я, почему мне нужно пройти. Вы даже не выслушали меня», – на что он ответил: «Мне это безразлично. Я все равно вас не пропущу». Я сказал: «Ну вот, вы не знаете, кто я, а я теперь уже имею отчетливое представление о том, кто вы такой». Неожиданно он улыбнулся и пробурчал: «Ну что ж, проходите». Мы прошли и оказались перед наглухо закрытыми железными воротами кладбища.

Оказалось, что и там стоит заграждение из работников госбезопасности. Справа сбоку на стене висела бумажка, на которой красным карандашом было написано: «Кладбище закрыто. Санитарный день».

Время от времени кто-нибудь из иностранных корреспондентов стучал в железную калитку, кричал, от какой он газеты или журнала. Калитка приоткрывалась. Я предложил собравшимся у ворот: «Давайте не будем пропускать корреспондентов. Что, им больше нашего надо быть там?» Мы перестали даже пропускать корреспондентов к калитке. Они

кричали, шумели, но мы их не пускали. Вдруг прибежал какой-то генерал КГБ, который спросил, в чем дело, что за шум. Кто-то из нас сказал: «Как в чем дело? Мы на похороны пришли, а нас не пропускают». Генерал постучал в калитку и назвался. Калитка открылась, и он приказал: «Немедленно всех пропустить».

Мы прошли. Народу было не очень много. Человек 60 корреспондентов, кажется, только иностранных. Как все корреспонденты в мире, они были озабочены только тем, чтобы раздобыть побольше информации, побольше снять своими кинокамерами, фотоаппаратами и записать на свои магнитофоны. Стрекотали камеры, щелкали затворы фотоаппаратов, раздавался разноязыкий и разноголосый, странный для кладбища гул. Кроме того, здесь находилось еще человек двести. В толпе оказалось несколько наших друзей и знакомых. Среди них мы заметили, например, сестру командарма Якира – Бэллу Эммануиловну.

Семидесятисемилетний Никита Сергеевич лежал в гробу на возвышении, окруженном венками и цветами. Лицо его было значительным, таким значительным и спокойным, каким мне не доводилось видеть его на страницах газет и журналов, на экранах кино и телевидения. Высокий мощный лоб мыслителя, волевые скулы. Казалось, на лице его запечатлелась какая-то важная дума. Жена Хрущева Нина Петровна была в сером пальто с черной кружевной накидкой. Лицо ее, очень простое, открытое, бесхитростное, было залито слезами.

Началась панихида. Выступил какой-то человек. Из-за стрекотания кинокамер, которые репортеры поднимали над головами, из-за их бесцеремонных разговоров слов его я не расслышал и постарался пробраться поближе, что мне в какой-то мере и удалось. Потом выступил Сергей Никитич. Его речь из-за общего шума я слушал только обрывками. Он сказал, что отец его в течение длительного времени занимал ответственные партийные и государственные посты и что оценка его деятельности принадлежит суду истории. Он может только сказать, что отец его желал добра людям.

Слово взяла старая уже женщина, и, хотя она говорила очень тихо, слова ее были отчетливо слышны. Она сказала: «Я работала с Никитой Сергеевичем с 1926 года, и мне очень хорошо с ним работалось. В 1937 году я была арестована и заключена сперва в тюрьму, а потом в лагерь, и только после XX съезда освобождена и реабилитирована. От имени миллионов людей, замученных безвинно в лагерях и тюрьмах, которым ты, Никита Сергеевич, вернул доброе имя, от имени их близких и друзей, от сотен тысяч, которых ты освободил из страшных мест заключения, прими нашу благодарность и низкий тебе поклон. Я понимаю,

сколько мужества, смелости и желания тебе, Никита Сергеевич, понадобилось. Мы будем помнить об этом до конца жизни, расскажем нашим детям и внукам».

Распоряжавшийся похоронами человек в штатском, но с явно военной выправкой сказал: «Прошу прощаться с покойным. Только быстро, товарищи, не задерживайтесь». Присутствующие прошли вокруг гроба, подгоняемые замечаниями штатских стражей порядка, выстроившихся вокруг. Я увидел среди венков и цветов только венок с надписью: «Никите Сергеевичу Хрущеву от А. И. Микояна». Тут нас снова оттеснили корреспонденты. Через короткое время гроб стали поспешно опускать в могилу. Не успели еще закидать ее землей, как оркестр сыграл гимн Советского Союза и распорядитель не то предложил, не то приказал: «А теперь расходитесь, товарищи».

Но никто не уходил. Все продолжали стоять либо молча, либо переговариваясь вполголоса. Наступила тишина, в воздухе ощущалось какое-то напряжение. Мы с женой стояли рядом с биологом Жоресом Медведевым, историком Александром Некричем и одним известным диссидентом. Тут к нам подошел генерал КГБ кавказского вида и сказал с явным акцентом, обращаясь к диссиденту:

– Ми вас просым нэ дэлать того, что ви задумалы.

– А что я задумал? – с легким недоумением спросил диссидент.

– Это нам хорошо известно, – ответил генерал и отошел в сторону.

– В самом деле, Володя, – обратился я к диссиденту, – что же вы задумали?

– Да ровным счетом ничего, – пожал тот плечами, – просто у них от страха мальчики кровавые в глазах.

Мы продолжали стоять под моросящим дождем. Через некоторое время Нине Петровне, видимо, стало дурно. Она пошатнулась. Сергей Никитич подхватил ее. Вызвали машину, которая подошла почти к самой могиле. Нину Петровну усадили в машину, и она уехала. Мы подошли к Раде Никитичне. Выразили ей свое глубокое сочувствие. Она как-то отрешенно поблагодарила нас и пошла почему-то совсем одна.

После того как увезли Нину Петровну, напряжение, которое было среди собравшихся на кладбище, спало. Мы пошли к выходу. Когда вышли за ворота, увидели, что все пять цепей на месте, а толпа на их внешнем обводе увеличилась. На месте оставались и грузовики с автоматчиками.

Уж очень кто-то, видно, боялся беспорядков в связи с похоронами персонального пенсионера союзного значения.

Эти люди явно ставили своей целью показать, что Н. С. Хрущев не достоин лежать рядом с выдающимися партийными и государственными деятелями, ну, скажем, с блаженной памяти прокурором-убийцей Вышинским или тем же Сталиным, что он, так сказать, проштрафился. Но результат-то получился прямо противоположный тому, что было задумано. Ведь у Кремлевской стены, охраняемой и вполне официальной, редко кто бывает, главным образом делегации. А вот могилу Н. С. Хрущева оставили народу, для которого он так много сделал. И народ всегда толпился возле его могилы. Тут спорили и вспоминали. Случалось, и поругивали, но чаще вспоминали с благодарностью…

Над могилой высится теперь памятник, созданный Эрнстом Неизвестным. Неизвестный, с которым Н. С. Хрущев имел в свое время столкновение на выставке в Манеже, принял заказ на памятник от семьи Н. С. Хрущева. Эрнст говорил мне в пору работы над памятником: «Покойный испортил мне несколько лет жизни, теперь сделает это и после своей смерти, но заказ я выполню, я сам этого хочу. Он стоит того».

Кончилось тем, что новые властители поняли, что дали маху, похоронив Н. С. Хрущева в доступном для народа месте. Тогда и было принято решение закрыть кладбище для посетителей, для всех, кроме имеющих специальные пропуска…»

Так увидел похороны Никиты Сергеевича профессор Федоров. Почти двадцать лет хранил он эту запись втайне.

Позже снесли еще крепкий деревянный дом в Петрово-Дальнем, чтобы никто не вспоминал, где провел Хрущев свои последние годы.

Навещая могилу Никиты Сергеевича, мы с женой и детьми проходим по возникшей за эти годы на наших глазах новой аллее, на которой почти вплотную, как в строю, высятся самые разные надгробья. Очень помпезные – из мрамора, гранита, бронзы. И за всем этим – странное соседство, возможное только у мертвых: многие не любили друг друга, даже ненавидели, а лежат рядом. Близким приходится с этим мириться.

Смерть всех равняет.

Куда важнее право человека выбирать свое место в жизни.

Москва, 1986–1987 гг.